

Мышеловка



**Сайра Шах**

# *Мышеловка*

УДК 821.111  
ББК 84.4ВЕЛ  
ШЗ1



Никакая часть данного издания не может быть  
скопирована или воспроизведена в любой форме  
без письменного разрешения издательства

Публикуется с разрешения Conville & Walsh Ltd  
при содействии Synopsis Literary Agency

Переведено по изданию:  
Shah S. The Mouseproof Kitchen : A Novel / Saira Shah. —  
London : Harvill Secker, 2013. — 384 p.

Перевод с английского *Игоря Толока*

Дизайнер обложки *Сергей Ткачев*

ISBN 978-966-14-5989-1 (PDF)

- © Saira Shah, 2013
- © DepositPhotos.com / Kevin Carden, alphaspirit, Michele Piacquadio, обложка, 2013
- © Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2013
- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2013

# Предисловие

Эта книга может растрогать до слез, вызвать жалость, осуждение, гнев, сострадание. Но равнодушным она не оставит никого. Перед вами полная трагизма и самоотверженности история любви. Любви к ребенку, который никогда не сможет обнять близких и сказать: «Мама. Папа...» Все родители знают, как тяжело бывает, когда малыш болеет. Кажется, готов отдать все на свете, чтобы ему стало легче. А каково узнать, что болезнь ребенка неизлечима, что он останется беспомощным до конца жизни? Да и вообще его жизнь может оборваться в любой миг. Этот роман вовсе не об идеальных родителях. Узнав о том, что их дочь Фрея родилась с серьезными физическими и психическими дефектами, Анна и Тобиас приходят в отчаяние, сомневаются, совершают ошибки. Но искорка любви к этому крошечному созданию уже зажглась в их сердцах...

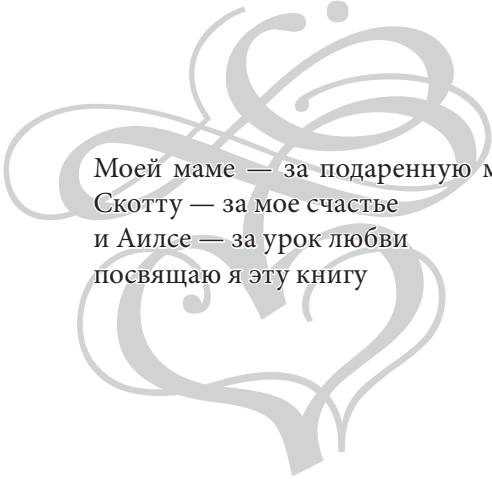
Еще совсем недавно Анна была уверена, что сможет легко достичь всего, чего захочет. Главное — все правильно спланировать. Она мечтала о том, как на свет появится ее идеальный ребенок, как он будет расти в уютном домике в Провансе, как она и ее обожаемый муж Тобиас будут любить и баловать малыша. Но все мечты и надежды разлетелись вдребезги, когда врач поставил их маленькой Фрее страшный диагноз. Сказка обернулась кошмаром. Тобиас, который любит всех вокруг, заявляет, что ребенка надо оставить на попечение государства. Он не хочет, чтобы больная дочурка сломала его жизнь. Анна страдает. Ведь на одной чаше весов здравый смысл, советы медиков, надежды на будущую счастливую жизнь и рождение здорового ребенка, а на другой — вечный страх за жизнь дочери, конец



карьеры и, возможно, конец любви. Но пока разум молодой женщины ищет выход из тупика, ее сердце делает выбор. Анна не может бросить это крохотное существо, не может отказаться от любви к нему. По крайней мере пока...

Она убеждает Тобиаса сделать то, что они и собирались, — переехать во Францию и взять Фрею с собой. Так через несколько недель семья оказывается в полуразрушенном доме в Лангедоке, где кухня кишмя кишит мышами, до ближайшего городка почти час пути, а по соседству живут очень странные люди. Иногда Анне начинает казаться, что она сама попала в мышеловку. Но постепенно в этот неуютный дом находят дорогу люди, такие же несчастные и отчаявшиеся, как Анна. Это Лиззи, сирота, единственное желание которой — чтобы ее любили... Это мать Анны, которая за эксцентричными манерами старательно прячет тоску по умершему мужу, страх остаться одной и боль, которую ей причиняет несчастье дочери... Это Керим, юноша, похожий на древнегреческого бога, для которого нет невыполнимой работы. Но ни одна девушка не сможет быть с ним счастлива... Это сосед Людвиг, в спину которому летят обвинения в смерти матери... Это Жюльен, сердце которого разрывается между любовью к девушке и стремлением сохранить свою свободу... Центром внимания, заботы, нежности всех этих, таких разных, людей становится маленькая Фрея. Крошечная больная девочка смогла изменить их судьбы, научила ценить каждый день жизни, каждую улыбку, каждый солнечный луч...

Глубокая, пронизанная грустью и любовью книга создана Сайрой Шах не случайно. Три года назад успешная журналистка, ведущая, кинорежиссер, обладательница трех премий «Эмми» стала матерью. Однако оказалось, что ее новорожденная дочь страдает тяжелой формой церебрального паралича. Именно это событие подтолкнуло Сайру к написанию романа, в котором нашли отражение ее собственные переживания. Автору удалось сделать произведение на такую сложную и волнующую тему удивительно теплым, искренним, полным света и доброты. Прочтите книгу и убедитесь в этом сами.



Моей маме — за подаренную мне жизнь,  
Скотту — за мое счастье  
и Аилсе — за урок любви  
посвящаю я эту книгу





# Декабрь



Боль то накатывала, то отпускала, и я скользила по этим волнам то вверх, то вниз. Эти приступы не имели ничего общего с теми чуть ли не оргазмическими всплесками, о которых рассказывала нам инструктор на курсах будущих мам «Новая эра», но зато они не были и так ужасны, как рассказы моей мамы о расходящихся костях таза и женщинах, сходящих с ума от боли в родовой агонии.

Я втягиваю в себя кислород и ужасно хочу увидеть лицо Тобиаса, полное такого плутовского очарования, как будто он приглашает весь мир послушать какую-то его шутку. Когда моя мама впервые увидела его, она сказала, что он похож на дружественную лошадку. Его бесит такое сравнение, а мне оно дорого.

Но вот наконец и он: темные кудри взъерошены еще больше, чем обычно, опоздал на рождение своего первенца — как это на него похоже! Его изможденный вид, я уверена, объясняется всего лишь тем, что он допоздна шатался где-то в городе. По своей натуре Тобиас явно не воин.

Я еще успеваю удивиться, вспомнив, как увидела его в первый раз, идущего, пошатываясь, среди танцующих, и сразу поняла, что он будет мне хорошим супругом и отцом моих детей... Но тут раздается крик акушерки: ребенок перестал дышать. Внезапно комнату со всех сторон заливают яркий свет, ко мне бросаются люди в голубых операционных халатах и масках, а Тобиас, потный и небритый, плачет и все приговаривает:

— Да, да, сделайте что-нибудь, что угодно, только чтобы с ними все было в порядке!



После этого мне делают эпидуральную анестезию и срочно назначают кесарево сечение.

У меня перед лицом устанавливают ширму, и я ощущаю какую-то странную возню, как будто кто-то двигает мебель у меня во внутренностях. Я плаваю на грани, то приходя в сознание, то снова теряя его. Лекарства — и обычно используемые при родах, и те, более мощные, которые мне только что дали доктора, — действуют, должно быть, очень здорово, потому что, несмотря на девять месяцев маниакального раздражения, сейчас я абсолютно спокойна и созерцательна, как адепт дзен-буддизма.

Они снова что-то тянут... Кто-то кричит:

— Это девочка!

Раздается громкий вопль: это моя дочь — она здесь, за ширмой. Они не показывают ее мне. Секунды тянутся часами. Я вне себя от желания поскорее увидеть ее.

Наконец, наконец-то они приносят ее мне!

У нее большие серые глаза — один немного больше другого. В сознании на секунду проносится мысль: она не красавица. Но затем в голове срабатывает какой-то переключатель, и это личико — слегка перекошенное, с неодинаковыми серыми глазками — становится для меня самым красивым и самым лучшим из всех возможных вариантов. Рядом возникает Тобиас, который без удержу плачет, не в силах сдержать слез счастья, гордости и любви.

Это потрясающий момент. Один из тех редких случаев, когда никто точно не хотел бы оказаться в другом месте и заниматься чем-то еще. Прошлое и будущее растаяли и исчезли: существует только «здесь и сейчас».

Меня вместе с ребенком, который приткнулся рядом, куда-то везут, я лежу на каталке и думаю: это только самое начало. Теперь она моя, моя навсегда, чтобы любить ее и беречь. У нас есть целая жизнь, чтобы узнать друг друга. Я чувствую, как меня накрывает волной любви — ничего подобного я никогда в жизни не испытывала; любовь эта охватывает мое дитя, Тобиаса, я буквально излучаю ее, и ее хватит, чтобы осветить весь мир.



Раньше мне доводилось видеть нескольких новорожденных младенцев, и все они дрожали, как будто в благоговейном трепете перед великолепием этого мира и необъятностью расстояния, которое пришлось преодолеть, чтобы попасть сюда. Но это не тот случай. Мой собственный космический путешественник идеально безмятежен.

Затем она начинает дергаться. Я краем глаза вижу ее стиснутый дрожащий кулачок. Тобиас кричит:

— У нее судороги!

Меня на мгновение охватывает инстинктивный животный страх: для этого ребенка уже все кончено, наша нормальная жизнь оборвалась.

И снова, когда ко мне бегут врачи в хирургических халатах, это выглядит, словно сцена из сериала «Скорая помощь».

\* \* \*

Если вы хотите что-то сделать, свои действия нужно спланировать. Мне это хорошо известно: я — шеф-повар. Например, чтобы приготовить соус бешамель, вам нужно правильные ингредиенты в правильных пропорциях смешать в правильное время. Отмерить, выбрать момент, проследить. По обыкновению эти вещи у меня получаются хорошо. Тобиас этого не понимает: он музыкант, пишет музыку для телевизионных передач и коротких документальных фильмов. Он редко встает раньше полудня и оставляет бумаги, одежду и прочие следы своей жизнедеятельности разбросанными где попало. Он всегда и везде хронически опаздывает. Он постоянно повторяет, что любит оставаться открытым для судьбы и называет это креативностью. Но я тоже креативна, тоже занимаюсь творчеством. Однако с соусом нельзя быть небрежным — это просто не сработает.

С самого первого раза, когда мы только начали пытаться завести ребенка, я спланировала все до мельчайших деталей.

Я уже тогда знала:

Что нашу девочку будут звать Фрейя (хорошее старомодное имя, в значении которого присутствует легкий эзотерический



оттенков: скандинавская богиня любви и деторождения), — даже несмотря на заявление Тобиаса, что я смогу сделать это только через его труп.

Что у нашего ребенка будут широкие плечи и очаровательные длинные ноги, как у папы, а также прямые светло-каштановые волосы и большие серьезные глаза, как у меня.

Что у нее будет его *joie de vivre*<sup>1</sup> и мой талант организатора.

Что, как только мы выйдем из роддома, все продадим и переедем на юг Франции.

Так что сейчас, пока я лежу с затуманенным от морфия сознанием, все эти доктора, которые увели Тобиаса и унесли ребенка, никак не могут потревожить меня. Мои планы уже утверждены. И все будет хорошо.

На юге Франции на нас будет ласково светить солнышко, люди там будут дружелюбны и приветливы. Дочка наша будет расти в двуязычной среде, она будет утонченным ребенком, защищенным от всяких педофилов. Она не будет требовать себе кроссовки «Найк» последней модели. Она не будет употреблять наркотиков...

Я вижу дом, который мы купим там: коттедж в Провансе, двери увиты розами и мальвами, поле лаванды с редко стоящими оливковыми деревьями, насыщенная голубизна моря сливается с лазурным небом...

Я парю над этим морем, полями и домом, а где-то там, внизу, мы с Тобиасом и нашим ребенком живем нашей замечательной счастливой жизнью...

\* \* \*

Просыпаюсь я рано.

Я хочу быть с моим ребенком.

Пока трудно сказать, закончилось ли действие морфия. Голова по-прежнему одурманена, мысли путаются, но при этом я чувствую жуткую боль.

---

<sup>1</sup> Жизнерадостность, избыток чувств (фр.). (Здесь и далее примеч. пер, если не указано иное.)



Громадных усилий стоит мне вспомнить, где я нахожусь: это маленькая изолированная палата, которую в больнице используют для так называемых «особых случаев». Рядом кто-то храпит, словно напоминая мне, что Тобиасу разрешили спать здесь на раскладушке. На столике возле меня звонит мой мобильный. Я нащупываю его и сбрасываю вызов. Через пару секунд приходит СМС: «ЕСТЬ НОВАСТИ?» Это моя лучшая подруга Марта. Архитектор. Не замужем. Слишком занятой человек, чтобы заботиться о правописании. Я понятия не имею, что ей ответить, и поэтому отодвигаю телефон в сторону.

Приходит медсестра, чтобы снять катетер. Я и не знала, что мне его поставили: все это время мне вообще казалось, что я развелась с собственным телом в некий давно забытый момент в прошлом — где-то часов восемь назад или около того. Вытаскивать эту штуку чертовски больно. Меня стошнило, то ли от боли, то ли от морфия — сама не пойму.

— С вами все в порядке? — спрашивает нянечка.

Я не знаю, что ей на это ответить, но мне нужно встать, так что вру, что все хорошо, и спрашиваю:

— Можно мне сейчас встать, чтобы увидеть своего ребенка?

Моя дочь находится в затемненной комнате, где полно всяких мерно урчащих хитрых машин — чух-чух-чух, чух-чух-чух, — и крошечных деток, размером с кулак, которые лежат в прозрачных инкубаторах под светом странных цветных ламп. Я мгновенно узнаю ее: она вдвое больше любого из младенцев в этой комнате. Она лежит в открытой кровати в позе эмбриона; из ее носика тянется трубочка, а к ноге пластырем приклеен какой-то проводок. Над головкой расположен блок мониторов, расшифровывающих ее состояние с помощью набора показателей жизнедеятельности: сердцебиение, насыщение крови кислородом, дыхание.

Медсестра объясняет мне, что это ПНИТ — прибор неонатальной интенсивной терапии, — и показывает, как взять ее, чтобы не потревожить все эти датчики.

Я впервые держу на руках своего ребенка. Она — само совершенство: губки — как бутон розы, ушики — как у эльфа,



глазки плотно закрыты. Я могу посчитать ее реснички: четыре на правом веке и пять на левом. Я представляю себе, как они незаметно росли у меня в животе, словно семена растений, прорастающие под землей.

— Она замечательная, — говорит доктор, и я чувствую, как меня захлестывает волна удовольствия и гордости.

— Если вы, мамочка, не возражаете, я хочу использовать кое-какие специальные инструменты, чтобы посмотреть глазное дно вашего ребенка.

Он бережно берет ее из моих рук, и я, полностью поглощенная видом моей девочки, продолжаю следить за ней, пока они ее осматривают. Я вслушиваюсь, как врач обсуждает ее со своим помощником. Сплошные технические термины — ничего не понятно. Похоже, они обнаруживают кучу всяких вещей, которые искали. И я радуюсь за них, радуюсь за своего ребенка.

Прошло много времени, прежде чем он обращается ко мне:

— На левом глазу у нее колобома. Сетчатка сформировалась неправильно, и формирование радужной оболочки на этом же глазу также полностью не завершено.

Я непонимающе смотрю на него, потому что любому понятно, что у этого маленького создания все так, как и должно быть.

— Ваш ребенок не будет слепым, — говорит он. — Возможно, у нее будет небольшая дальность зрения.

В голове снова щелкает переключатель, и несимметричное личико ребенка снова трансформируется: со школьной фотографии, щурясь от дальности зрения, на меня смотрит славная дефективная маленькая девочка в громадных очках. И этот образ, в свою очередь, сразу же превращается в самое замечательное и самое лучшее лицо для меня.

— Для полной уверенности нам нужно провести МРТ-сканирование, — говорит доктор, — но складывается впечатление, что эти проблемы могут быть связаны с мозгом.

Я не обращаю внимания на его слова, потому что, когда он передает мне на руки моего ребенка, меня захлестывают и переполняют гормоны счастливого материнства. Они никак не

согласуются с его ужасными словами и гораздо могущественнее, чем любой из этих доводов.

— У меня такое чувство, что я сейчас провалюсь сквозь пол, — говорит Тобиас.

Я жалею, что он не разделяет моих убеждений насчет того, что все непременно будет хорошо. Я улыбаюсь ему. Но он только раздраженно фыркает и обращается к доктору.

— У меня есть к вам несколько вопросов. — Он покосился на меня. — Не могли бы мы с вами поговорить наедине?

Я смотрю, как за ними закрывается дверь, и думаю, что ведут они себя очень странно. Мне же достаточно только держать на руках свою дочь и сознавать, что она у меня идеальная.

Девочка открывает глаза. Зрачок на левом глазу вытянутый, как слезинка, как будто он был нарисован черными чернилами, которые расплылись. Я никогда не видела детей с такими зрачками. Мы с ней серьезно смотрим друг на друга, а потом ее веки снова опускаются.

Я пробую пристроить ее к своей груди. Она немного морщится и осторожно берет в свои губки самый кончик моего соска. Я чувствую, как она нежно тянет — поклевка моей золотой рыбки.

— Так она не сможет добраться до молока, мамочка, — замечает шустрая медсестра. — Ей нужно широко раскрывать ротик, как маленькому птенчику.

Теперь мы с моей девочкой стараемся над этим вместе. Время от времени она неожиданно зевает, раскрывая рот, как акула, и смешно набрасывается на мою грудь — в стиле шоу Бени Хилла. Но иногда что-то идет не так: извиваясь всем телом, она отталкивается от меня, личико ее кривится от злости, и она колотит меня своими кулачками. Потом ее теплое тельце опять прижимается к моей груди, и меня снова обволакивает наркотический дурман.

— Осторожно, мамочка, вы засыпаете, — предупреждает нянечка. — Вы можете уронить ребенка.

— Я не устала.

— Все равно вам лучше вернуться в постель.



Но как я могу хотеть чего-то другого, кроме как быть здесь, с ней?!

И я остаюсь в этой комнате с мерцающими огоньками и детскими кроватками из плексигласа; я крепко держу своего ребенка и думаю: как странно, что никто из всех этих деток даже не думает плакать, как будто эти медицинские аппараты забрали их голоса.

\* \* \*

— Как прошли роды, дорогая? — Мамин голос по телефону звучит откуда-то очень издалека.

— Не так уж плохо. Кесарево сделали удачно. Ребенок...

— Тебя я рожала сорок восемь часов. В те времена они делали кесарево, только если человек уже практически умер.

— Ребенок... — начинаю я.

— Сама не знаю, как я все это вынесла. С другой стороны, в те времена они по крайней мере давали покурить в паузах между схватками.

Я чувствую, как сквозь дурман наркоза ко мне украдкой прокрадывается знакомое смутное чувство раздражения: моя мама еще ни разу в жизни не сказала и не сделала чего-то такого, что на ее месте сделали бы все остальные матери.

Возможно, из-за того, что, как в ее время считалось, она родила меня поздно (мне тридцать восемь, а ей шестьдесят девять), у нас с ней нет ничего общего. Она вышла замуж в двадцать и никогда в своей жизни не работала — я же откладывала свою семейную жизнь ради карьеры. В то время как простые смертные вынуждены подстраиваться под этот постоянно меняющийся мир, моя мама требует, чтобы все вокруг подстраивались под нее. Долгие годы она, можно сказать, жила в башне из слоновой кости — своего рода идилия образца 50-х годов — и оттуда раздавала свои распоряжения. Любая неудобная ей реальность просто игнорировалась. В течение сорока восьми лет супружеской жизни мой святой отец, ныне покойный, помогал ей удерживаться на этом пьедестале, мирясь с ее капризным поведением и пытаясь выполнять все ее безумные коман-





ды. Курить она бросила резко и без комментариев, когда он девять месяцев назад умер от рака горла. Во всех остальных отношениях она стала хуже, чем когда-либо.

— Мама, я должна сказать тебе кое-что очень важное.

— Я знаю, дорогая, знаю. Тобиас звонил мне, когда они тебя зашивали. Маленькая девочка! Очаровательно! Но очень изнурительно. В наше время они сразу же уносили деток от мам в специальную комнату. Это было намного лучше. А сейчас, похоже, они настаивают, чтобы ребенок постоянно был с тобой.

Я пробую еще раз:

— Ребенок...

— Ты по-прежнему собираешься взять ее с собой сюда на Рождество?

— Не думаю, мама.

— Вероятно, вместо этого мне нужно будет самой приехать и побыть на Рождество у вас.

— Я не уверена, что это удачная мысль. Мама, все дело в том, что ребенок...

— Собственно говоря, мне все равно нужно быть здесь.

По ее тону я понимаю, что все-таки что-то в моих словах задело ее чувства, но не могу сконцентрироваться: мысли расплываются.

— Я в любом случае не могу оставить свою кормушку для птиц. Детка, мне очень жаль говорить об этом в такой момент, но не могла бы ты позвонить в КОЗП<sup>1</sup> и попросить их убрать скворцов из моего сада? После смерти твоего отца мне больше просто не к кому обратиться, и я боюсь, что бедные пташки умрут с голоду.

Ее голос звучит плавно, и мое сознание снова плывет, но я успеваю подумать: как много в моей личности является просто реакцией на мою маму. Может быть, я такая дисциплинированная, тактичная, предсказуемая и контролируемая лишь потому, что она этих качеств начисто лишена?

---

<sup>1</sup> Королевское общество защиты птиц — британская благотворительная организация, занимающаяся сохранением и защитой птиц в дикой природе.



— Я приеду завтра на один день, — слышу я ее слова, — просто, чтобы взглянуть на нее одним глазком, и все. Не волнуйся, я не буду ни во что вмешиваться. Оставайся в больнице как можно дольше и хорошенько там отдохни. И пальцем не шевели сама — пусть все делает персонал.

\* \* \*

Время в отделении интенсивной терапии течет в обстановке мерного урчания приборов в мягком свете цветных мерцающих мониторов. Здесь все приглушено, как в аквариуме. Мы с моим ребенком прижимаемся друг к другу, а время просто течет мимо.

Приходит нянечка, чтобы сказать, что нас ждут. Мы стоим в очереди на магнито-резонансную томографию.

Ребенок по-прежнему не может хорошо сосать. Молока у меня пока нет — только минимальное количество молозива. Мне удастся с трудом выдавить одну-единственную крупную каплю этой жидкости. Она похожа на сгущенку.

Я смазываю ею палец и прижимаю его к губам дочери. На ее лице появляется выражение эпикурейского экстаза. Это ее право по рождению — пища, которую она и должна получать, а не какой-то раствор глюкозы через трубочку в нос.

Тобиасу не нравится это отделение. Он отсутствует все дольше и дольше, выскальзывая отсюда, чтобы отвечать на голосовые сообщения и всякие важные эсэмэски, которые просачиваются сюда из окружающего мира. Наши друзья начинают интересоваться, почему мы еще не всплыли на поверхность с нашим здоровеньким ребеночком.

— Мне все время звонит Марта, — говорит он. — Хочешь с ней пообщаться?

— Скажи ей, что я перезвоню позже.

Я не хочу ни с кем разговаривать. Даже с Тобиасом. Но он настаивает, чтобы мы хотя бы немного времени посвятили себе, и толкает мое кресло-каталку по коридору роддома.

Мой ребенок зовет меня из своей плексигласовой кровати тремя этажами выше.



— Мы должны немедленно подняться и посмотреть, как она, — говорю я.

— О'кей. Через минуту. Я только газету куплю.

Тобиас большой мастак все откладывать. Он целую вечность болтает с женщиной из книжного киоска.

Ребенок зовет опять. *Где ты?*

Тобиас толкает меня по коридору со скоростью черепахи. Каждую минуту он бросает мое кресло-каталку, чтобы почитать висящий на стене плакат: «Если ты куришь, курить будет и твой ребенок». «Диабет убивает. Попроси своего доктора провести тест сегодня же». Эта наглядная агитация, засиженная мухами и выцветшая, буквально зачаровывает его.

*Приди ко мне. Ты мне нужна.*

Он вдруг замечает столик на козлах, украшенный мишурой и уставленный игрушками ручной вязки. На стоящей здесь же табличке написано: «Рождественская ярмарка друзей Святой Этели. Не скупитесь, пожалуйста». Рядом стоят две пожилые дамы. Сердце у меня обрывается: Тобиас обожает пожилых дам, и те его тоже.

Вскоре они уже кудахчут вокруг него:

— Ваш ребенок в интенсивной терапии? О, не переживайте так, бедняжка! Это прекрасная больница. Говорят, что здесь лучшее неонатальное отделение во всей стране. Сюда везут деток со всей Англии.

— У вас тут продаются очаровательные вещицы, — говорит Тобиас.

— Мы также делаем все детские одеяльца для отделения интенсивной терапии. И еще вязанные пинетки для недоношенных деток. И шапочки. Знаете, такие, которые могут регулировать их температуру.

— Как вы думаете, нашему ребенку что больше понравится — кролик или тигр?

Ребенок снова зовет меня, уже более настойчиво.

*Я вообще ничего такого не хочу. Я хочу тебя.*

— Тобиас, прошу тебя, давай уже пойдем!



Его лицо, всегда такое открытое, становится замкнутым и напряженным.

— Мне нужно выпить кофе. Пойдешь со мной? Мы можем еще какое-то время побыть вместе.

Но мой ребенок обладает своим гравитационным полем. Он притягивает меня к себе.

— Кофе мне не хочется, — отвечаю я. — Думаю, мне нужно поскорее идти к ней. Я уверена, что смогу потихоньку дойти туда сама.

Тобиас смотрит на меня так, как будто хочет что-то сказать. Затем сует мне в руку вязаного кролика.

— Отнеси это ей. Я присоединюсь к тебе чуть позже.

Я медленно ковыляю по коридору. А потом в болезненном нетерпении ожидаю приезда лифта.

Дверь со скрежетом открывается. Лифт забит. Я с трудом втискиваюсь в узенькое пространство, стараясь уберечь свои швы от толпы. Дверь захлопывается. Я чувствую, как мой ребенок просто тащит меня к себе вверх по шахте.

\* \* \*

— На МРТ кто-то не пришел, и у них появилось окно, — говорит мне медсестра. — Вы можете пройти сканирование в течение ближайших сорока минут.

— Поторопись, Анна, — говорит Тобиас. — Если мы пропустим свою очередь, то никогда не узнаем, что именно с ней не так.

Но сначала ребенка нужно переодеть в одежду без каких бы то ни было металлических деталей, потому что в томографе гигантское магнитное поле. Потом еще нужно заполнить пятнадцать страниц формуляра. И наконец, все трубочки и мониторы нужно переставить на больничную тележку, напоминающую тачку на каком-нибудь заводе.

Молоденькая нянечка, которая работает в больнице первый день, везет ребенка, а Тобиас толкает мое кресло-каталку. Причем очень быстро. Каждый раз, когда оно бьется о стену, я вскрикиваю от боли, которая постоянно напоминает мне,



что менее двадцати четырех часов назад я перенесла хирургическую операцию на брюшной полости.

Где-то посреди бесконечных коридоров, после того как мы много раз сбивались с пути и ехали не в ту сторону, Тобиас вдруг говорит:

— Я тут подумал. Фрейя, в конце концов, хорошее имя. Она действительно похожа на маленькую богиню, и мне кажется, что ее рождения является триумфом, вопреки всему.

И только теперь я понимаю, что он на самом деле очень и очень встревожен и надеется, что, если дать ей то имя, которое так хочу я и так ненавидит он, это может как-то убажить богов, чтобы в конце концов все уладилось и было хорошо.

Нам и так пришлось преодолеть немало преград, чтобы появился этот ребенок.

Я хотела ее еще в прошлом марте. Это означало, что зачать ребенка нужно в июне, так что я взяла отгул в подходящий для этого дела день (я шесть вечеров в неделю работаю в Вест-Энде в ресторане «Кри де ля фуршетт», отмеченном звездочками французского гастрономического справочника «Гид Мишлен»), спланировала меню для идиллического ужина дома (суп из лобстера под бутылочку бургундского «Мёрсо») и стала ждать результатов.

Ничего.

Я не тот человек, которого может отпугнуть небольшая отсрочка, так что я просто решила передвинуть эту дату. Но прежде чем я узнала о неудаче, прошло несколько месяцев. В конце концов я не выдержала и расплакалась на плече у Тобиаса:

— Я не хочу умирать бездетной, и, конечно же, это твоя вина, потому что это ты так долго боялся иметь детей, и что, возможно, права моя мама, которая говорит, что я в погоне за карьерой в итоге растянула себе матку.

Тобиас обнял меня и сказал все правильные слова, после чего мы занялись любовью; а когда я была уже на грани отчаяния, случилось это чудо.

Жизнь моя легче не стала. Мой босс, знаменитый шеф-повар Николя Шевалье ясно дал понять, что не считает,



будто беременность и материнство могут быть совместимы с четырнадцатичасовой работой по шесть дней в неделю, какой он требует от своих подчиненных. К счастью, Тобиас тогда хорошо зарабатывал как композитор, так что я спокойно написала заявление об уходе, выперла жильцов из своей однокомнатной квартирки, которую купила несколько лет назад, и продала ее. Это означает, что после выплат по закладной у меня в банке есть приличная сумма для обустройства на новом месте во Франции.

У меня ушло несколько месяцев на то, чтобы убедить Тобиаса отказаться от комфортной жизни в Лондоне и переехать в Прованс. Не стану углубляться в описание этого болезненного процесса. Но в сочинении музыки есть одно важное преимущество: этим можно заниматься где угодно. Что касается меня, то я стажировалась в Институте кулинарного искусства Лекомта в Экс-ан-Провансе, где выступала в роли такой себе звездной ученицы. Я совершенно убеждена, что смогу убедить Рене Лекомта взять меня в свою команду. Я работаю на него.

А тем временем я прорабатывала варианты в интернет-сайте по продаже недвижимости и бесконечно пересматривала сцены из «Места под солнцем»<sup>1</sup>, пока всем этим чуть не свела Тобиаса с ума. Я даже умудрилась нанять агента по недвижимости. Зовут ее Сандрин, и она работает себе потихоньку. Все, что она предлагала до сих пор, было безумно дорого, но я верю, что однажды она подберет нам чудесный домик, не выходящий за рамки нашего скудного бюджета.

Пока Фрейю сканируют на томографе, мы идем в кафе. Меня по-прежнему не оставляет ощущение, что все это происходит не с нами. Как будто бы перед нами на экране прокручивается какой-то художественный фильм.

Конечно, через несколько часов мы получим отбой тревоги, вздохнем с громадным облегчением, возьмем телефонную трубку и известим весь мир о рождении нашего первенца.

---

<sup>1</sup> Фильм Дж. Стивенса по роману Теодора Драйзера «Американская трагедия» (1951).

Позже мы будем смеяться, рассказывая друзьям о нелепом и беспочвенном беспокойстве, которое имело место в первые несколько дней ее жизни. «Должна вам сказать, что вначале мы были просто в шоке». А потом мы обязательно найдем время, чтобы вспомнить тех бедных деток и их родителей, которым не так повезло.

За соседним столиком сидит маленькая девочка с церебральным параличом. Она хорошенькая, но очень худенькая и странноватая, на шее у нее воротник-бандаж. Движения девочки резкие и угловатые. Они с папой играют: она резко бросается к нему, а он ловит ее на вытянутые вперед руки и каждый раз целует в лоб.

Каково оно — ухаживать и заботиться о таком ребенке? Но оба они не выглядят особо несчастными. Для них это, похоже, обычный день, который — так уж случилось — они проводят в больничном кафе.

Тобиас замечает, как я смотрю на нее.

— Я согласился на ребенка, но на такие вещи не подписывался, — говорит он.

— О нет, конечно, — говорю я. — Но Фрейя такая славная! У меня хорошее предчувствие. Я не верю, что с ней может быть что-то не так. Я уверена: МРТ покажет, что все это было просто какой-то ошибкой.

\* \* \*

— Ваша дочь страдает от... В общем, у нее в мозгу есть много всяких нарушений, но главное из них называется полимикрогирия.

Консультант, который принес результаты томографии, пришел в отделение в сопровождении двух медсестер. Плохой знак.

— «Гирия» — это складки головного мозга. «Поли» — значит «много». Можно было бы подумать, что это хорошо, когда в мозгу много извилин, но в случае с вашей дочерью эти извилины очень неглубокие.

Он так торопится с объяснениями, словно надеется, что нам этого будет достаточно, и он сможет поскорее убраться отсюда.



— Пока она маленькая, ей не требуется особо что-то делать. Мы считаем, что двигательная координация у нее будет очень хорошая. Но когда она подрастет, появятся новые требования. Скорее всего, она будет в какой-то степени умственно и физически неполноценной.

Последние остатки морфия и гормоны материнского счастья исчезают в невидимом сливном отверстии, и на их место приходит всплеск адреналина.

— Умственно и физически неполноценная... Это что значит? — спрашиваю я.

— На этой стадии сказать невозможно. Некоторые дети с очень плохими томограммами чувствуют себя вполне нормально, а с другими, у которых результаты были вроде бы неплохие, на самом деле все оказывается гораздо хуже.

— А что это, собственно, означает «чувствуют себя вполне нормально»?

— Ну, тут может быть целый спектр состояний.

— Хорошо, тогда чем этот спектр начинается и где заканчивается?

— Предсказать такие вещи очень сложно.

— А чем это могло быть вызвано? — спрашивает Тобиас.

— Мы проведем кое-какие генетические тесты и, возможно, найдем поврежденный ген. Это может быть спонтанная мутация или какой-то рецессивный ген, носителем которого может быть любой из вас. Или же причина в инфекции на ранней стадии беременности, которая не была вовремя выявлена.

— Но я не пропустила ни одного УЗИ, — говорю я.

— Такие вещи сложно заметить с помощью ультразвука. Послушайте, это вовсе не означает, что у нее не может быть долгой или счастливой жизни, которой она может быть очень довольна. Не стоит пытаться загадывать наперед.

Одна из нянечек сжимает мне руку.

— Тут рядом есть пустая тихая палата. Если хотите, мы можем привезти ее туда, чтобы вы могли немного времени быть наедине со своим ребенком.



Они показывают нам маленькую комнатку — пародию на гостиную: два кресла и стол с бросающейся в глаза коробкой салфеток «Клинекс». В углу стоит увешанная мишурой рождественская елка, ветки которой уже начали отвисать.

Мы с Тобиасом сидим вместе с нашим ребенком и плачем. Когда я смотрю на ее помятое перекошенное личико, я думаю о том, что она проделала такое долгое путешествие, чтобы оказаться на месте такой поврежденной, такой неполноценной. Она отводит от меня свои широко расставленные глаза, но, в отличие от моих, они смотрят вниз. Сейчас она похожа на тибетского монаха.

Возможно, она и была очень старым монахом, который наблюдал закат над Тибетскими горами, когда его призвали в нирвану. Но она попросила еще одну жизнь здесь, на земле, и так получилось, что большая часть ее души ринулась ко мне, тогда как там, позади, осталась часть ее мозга, такого же разрозненного и рассеянного, как лучи закатного солнца на облаках.

\* \* \*

Тобиас хочет, чтобы я поужинала.

— Я знаю, что ты заботаешься о ребенке, но я хочу позаботиться о тебе.

Он так энергично пытается меня защитить — я к этому не привыкла. Но от чего он меня защищает? От меня самой? От нее?

Мы сидим в больничной столовой и ковыряем странное жаркое коричневого цвета. Адреналин пропал, и теперь мы чувствуем себя уставшими и обессиленными. В ушах у меня звенит, будто я много дней находилась возле отбойного молотка на стройплощадке, и эхо этого грохота до сих пор живет во мне.

Жаркое наше давно остыло, пока мы сидим, держась за руки и заглядывая друг другу в глаза. Так мы вели себя, когда были просто влюбленными.

Мой телефон на пластиковой поверхности столика начинает вибрировать: звонок я отключила. На мониторе шесть



пропущенных звонков от Марты и еще одна СМС: «*НОВВОС-СТИ???*» Я даже не пытаюсь ей ответить.

Мы плетемся обратно в нашу палату.

— Могу предложить тебе шикарную медицинскую раскладушку, если хочешь, — говорит Тобиас.

Мы вдвоем ложимся на его раскладушку и несколько минут держимся друг за друга так, как будто боимся, что нас разметет невидимая сила и мы разлетимся в разные стороны. Я всхлипываю у него на плече и потихоньку подпитываюсь его энергией. Стук в моей голове понемногу стихает.

— Мы не должны позволить, чтобы это сломало нас, — шепчу я и чувствую, как его руки крепче сжимают меня.

— Я хочу, чтобы ты сразу кое-что поняла, — говорит Тобиас. — Я буду не в состоянии полюбить этого ребенка.

— Боже мой, какие ужасные вещи ты говоришь! — Несмотря на всю горячность моего упрека, где-то в душе я чувствую болезненную благодарность к нему за то, что он озвучил страхи, в которых я не смела признаться даже себе самой.

— Мы пока что не знаем, насколько все плохо, — говорю я. — Все еще может быть очень... умеренно. Помнишь ту женщину, которая жила напротив? У ее мальчика была болезнь Дауна. Ей, конечно, пришлось немного побороться за него, но он блестяще выпутался. И даже смог получить работу в «Теско»<sup>1</sup>.

— Я не собираюсь принести жизнь в жертву своей дочери, чтобы она смогла получить работу в «Теско».

— Но она такая славная...

— Она славная, — твердым голосом говорит Тобиас. — Но она — наш приговор на пожизненное заключение.

\* \* \*

Ранним утром раздается стук в дверь, и она распаивается. Зажигается свет, входят двое или трое людей в халатах, кто-то кричит:

— У вашего ребенка еще один приступ!

---

<sup>1</sup> Сеть фирменных продовольственных магазинов.



На мгновение я пугаюсь, что она умерла... А может быть, на самом деле я надеялась на это?

— Вы даете нам разрешение лечить ее детским препаратом?

Все как в тумане; мы соглашаемся, и я спрашиваю, могу ли пойти с ними. Когда мне отказывают, я чувствую огромное облегчение.

Мы снова погружаемся в сон. Мне снится, что я на пределе своих легких кричу: «Я не хочу быть матерью ущербного ребенка!» Но меня никто не слышит.

\* \* \*

Этим утром Фрейя совсем сонная. Я сижу с нею на руках, чувствую ее маленькое свернувшееся тельце и наслаждаюсь нежным, как у золотой рыбки, прикосновением ее губ к своей груди. Как будто наши с ней тела по-прежнему соединены, как будто они никак не могут отвыкнуть быть единым целым. Мое тело реагирует на нее: меняется дыхание, возвращаются мои гормоны счастья, а страхи, связанные с этим больничным отделением, улетучиваются. Оно превращается в самое замечательное место в мире, потому что здесь мы с ней вместе.

Мы с моим ребенком уезжаем во Францию...

Наш коттедж наполнен радостью, он красивый и опрятный. Она учится ползать на чистых каменных плитах под лучами льющегося в дверной проем солнца, пока я делаю салат из свежего хрустящего латука и наших собственных помидоров. Из сада приходит Тобиас, и она ползет в его сторону. Он подхватывает ее на руки и целует. Она смотрит на наши смеющиеся лица и визжит от восторга. Я усаживаю ее на высокий детский стульчик для кормления, надеваю слюнявчик и ловко кормлю овощным пюре, которое только что приготовила. В один прекрасный день она начинает ходить на своих толстеньких ножках и, прежде чем мы успеваем что-то сообразить, умудряется добраться буквально до всего. Мы с Тобиасом попиваем молодое белое вино и устраиваем для наших друзей обеды, за которыми повторяем всякие смешные слова, которые



говорит наша дочь; когда внезапно она уже идет в школу, тут только мы наконец понимаем, что эти доктора с их пророчествами все совершенно перепутали...

— С вами все в порядке?

На меня с материнским участием в упор смотрит какая-то полная женщина.

— Мамочка, с вами все в порядке?

— Я не уверена, что со мной все в порядке, — отвечаю я. — Мне сказали, что моя дочь будет инвалидом, но никто не сказал мне, в какой степени, и еще никто из докторов не говорит простым английским языком — сплошная тарабарщина из специальных терминов, и вообще никто не называет меня иначе, как мамочка.

Женщина улыбается:

— Что ж, я одна из этих самых докторов. Я постараюсь говорить нормально, без тарабарщины.

Я киваю. Она такая добрая и участливая на вид и производит впечатление человека, которому можно довериться. Она как мама, которую мне хотелось бы иметь вместо своей — чудной и заиклившей исключительно на себе самой.

— Как вы уже знаете, у Фрейи сегодня рано утром был еще один приступ. Мы дали ей большую дозу лекарства под названием фенobarбитон. Этот приступ немного напоминает электрическую бурю в мозгу, и в таких случаях мы просто погружаем пациента в состояние сна. Чтобы дать системе перезагрузиться, если хотите.

— Мне кажется, я слышал про этот фенobarбитон, — говорит появившийся Тобиас. — Не от передозировки ли этого наркотика умерла Мэрилин Монро?

— Да. Фено — это барбитурат еще из 50-х годов прошлого века. Боюсь, что у нас нет достаточно хороших препаратов такого рода для совсем маленьких. Компании, производящие наркотические вещества, не хотят проводить клинические испытания на новорожденных по этическим соображениям. Но фено работает, и мы уже много лет успешно и безопасно используем его. Поэтому-то Фрейя сейчас такая сонная.



— Мы собираемся переехать во Францию, — вырывается у меня.

Тобиас смотрит на меня с удивлением: после рождения Фрейи мы с ним это не обсуждали.

Если доктор Фернандес и удивлена, она этого не показывает.

— Я посмотрю, как это можно сделать. Мы должны будем координировать наши усилия с французской системой здравоохранения, если вы это имели в виду, — говорит она с таким видом, будто это самое разумное требование в мире. Наступает короткая пауза. — Мы также сможем организовать встречу с психотерапевтом, если он вам понадобится.

— Нет, спасибо, — быстро отвечает Тобиас, и я тоже отрицательно качаю головой.

Ужасно даже думать, не то чтобы начать копаться в том, что мы сейчас испытываем.

— Нам бы только узнать, насколько плохо все может обернуться, — говорю я. — Но никто, похоже, не берет на себя смелость делать такие прогнозы.

— Вам придется еще много раз общаться с самыми разными специалистами, которые разговаривают на своем жаргоне, — говорит она. — И все они захотят прикрыть свою спину. Вот что я могу вам обещать: я выясню, что они на самом деле думают по этому поводу, и дам вам абсолютно честный ответ.

— Спасибо.

— А на сейчас пока все?

— Мы не уверены, что сможем справиться со всем этим, — прямо говорит Тобиас, косясь на меня.

— Это совершенно нормально. По закону вы и не обязаны с этим справляться.

Хоть я и не считаю себя человеком бедствующим, я хватаюсь за слова доктора Фернандес с тем же неистовством, с каким утопающий в бурном море готов вцепиться в успокаивающе надежное бревно.

До сих пор я считала, что мы обязаны с этим справляться сами.



\* \* \*

— Знаешь что, — говорит Тобиас. — Давай рванем в аэропорт, возьмем билеты до Бразилии и никому не оставим адреса, где нас искать.

Мы живо представляем себе эту картину, и вызванное ею облегчение вызывает у нас обоих смех.

— Но если мы поступим так, — говорю я, — то закончим, как герои Грэма Грина, которые открывают свой бар на Таити или еще где-то.

— Этот вариант очень привлекателен для меня. — говорит Тобиас.

— Жаль, что мы не можем этого сделать. В любую минуту может приехать моя мама.

— Этого мне только не хватало: твоей мамы.

— Беда в том, что я хочу, чтобы встреча наша прошла хорошо, но знаю, что она в конце концов брякнет какую-нибудь грубость, а я не выдержу и сорвусь.

— Анна, — говорит Тобиас. — Видит Бог, я не фанат твоей мамы, но вы с ней напоминаете двух кошек в одном мешке. Ты должна понимать, что она перевозбуждена по поводу рождения своей первой внучки и будет говорить и делать все, лишь бы привлечь твое внимание.

Я фыркаю:

— Перевозбуждена? Да она меньше всего сейчас думает о Фрейе! Все печется о своей кормушке для птиц.

— Можешь даже не вслушиваться в то, что твоя мама *говорит*, — советует мне Тобиас. — Думай о том, что она при этом имеет в виду.

\* \* \*

Моя мама появляется в роддоме в длинном зеленом палантине, меховой горжетке, застегнутой на шее, и шапке из лисичы. Она прекрасно знает, что я против того, чтобы животных убивали ради меха. Иногда мне кажется, что она все делает, чтобы позлить меня.



— Мама, ради бога! Нельзя сейчас в Лондоне носить такие вещи!

— Чушь! Что такого в меховой шапке? Должна тебе сказать, что это подарок твоего драгоценного отца, которого ты всегда любила больше, чем меня.

Ну вот, пошло-поехало, шашки снова наголо.

Я делаю над собой громадное усилие:

— Я рада, что ты приехала.

— Конечно, я приехала, как же иначе? С чего ты взяла, что я могу не приехать? Посмотри, я привезла ей подарок. — По коридору разносится аромат «Шанель № 19», когда она лезет в свою сумочку из «Харродз»<sup>1</sup> и извлекает оттуда потрепанного плюшевого мишку. — Узнаешь?

— Это мой мишка.

— Да, дорогая, и я все эти годы хранила его до того момента, когда у тебя будет своя дочь.

— Мама, я должна тебе кое-что сказать.

— Что такое, дорогая? Когда я могу увидеть нашу малышку?

— Мама, хоть раз в жизни, пожалуйста, выслушай меня! Ее мозг развивался неправильно. Очевидно, это очень редкий случай. Никто не знает, почему это произошло. Ни на одном из сеансов УЗИ они не заметили никаких отклонений. Она будет физически и умственно ущербной.

На какое-то мгновение лицо ее вытягивается. Но затем на нем появляется так хорошо знакомая мне неумолимая маска человека, отмечающего любые плохие новости.

— Эти доктора, дорогая, все всегда преувеличивают, — говорит она. — Я уверена, что вскоре они выяснят, что это была какая-то нелепая ошибка.

Ну почему меня так злит эта ее «Шанель», эта сумочка из «Харродз», ее удобная жизнь, в которой нет никаких проблем?

— Нет никакой ошибки. Они провели уже кучу всяких тестов. — Голос мой звучит жестче, чем я рассчитывала.

---

<sup>1</sup> Один из самых дорогих магазинов Лондона.



А затем вдруг происходит неслыханное: моя железная, негибкая мама начинает рыдать. Я уже привыкла к тому, что она использует свои слезы в качестве оружия, но никогда еще — даже тогда, когда умер мой отец, — я не видела, чтобы она так искренне и безудержно давала волю своему горю. Почему-то вид такой ее глубокой печали шокирует меня больше, чем все остальное до сих пор, как будто это главное внешнее доказательство того, что на нас действительно обрушилась беда. Я пытаюсь обнять ее, но она отталкивает меня, злясь, что я считаю ее уязвимой.

У меня проскакивает мысль, что Тобиас, возможно, прав. Этот макияж, «Шанель № 19», меховая шапка, горжетка — все это может быть вовсе не для больницы и даже не для меня, а для ее внучки. И кто его знает, возможно, все эти ее разговоры о кормушке для птиц могут попросту быть голыми нервами, поскольку, раз ее отношения со мной безвозвратно испорчены, теперь у нее появился шанс начать все по новой с Фрейей.

— Я отведу тебя посмотреть на нее, — мягко говорю я.

Мама шмыгает носом:

— Да, хорошо. Я не возражаю пойти посмотреть на нее, конечно же нет. — Она вытирает слезы с глаз и поспешно сует плюшевого мишку обратно в свою дорожную сумочку.

\* \* \*

Фрейя закрывает лицо скрученными, как побеги папоротника, кулачками и издает очаровательные скрипучие возгласы протеста, когда я беру ее на руки. Так и не проснувшись, она утыкается в мое плечо.

— Вот, возьми ее.

Она прилипла ко мне, как мягкий пушистый мох. Моя мама зачарованно смотрит в какую-то точку у меня над плечом. Я не могу сказать, избегает она смотреть на ребенка или просто не знает, куда и как смотреть.

— Я хотела бы, чтобы ты побыла со мной, когда я в первый раз буду купать Фрейю, — говорю я.





— Ладно-ладно, — отвечает моя мама, бросая быстрый, почти голодный взгляд на свою внучку и тут же отводя глаза в сторону. — Это очень современная больница. Все по последнему слову.

Купание в нашем отделении, как оказалось, включает в себя сложный медицинский ритуал, полный своих правил. Помощница медсестры должна принести вам ванночку. Она также дает два ведерка: желтое для использованной воды и белое для чистой. Нам позволяют самим наполнить ванночку. Моя мама стоит неподвижно и смотрит, как я все это делаю.

— Я никогда раньше не купала деток, — признаюсь я. — Не могла бы ты показать мне, как это делается?

Моя мама начинает бесконечно медленно двигаться в сторону Фрейи. Как раз, когда она доходит до нее, появляется нянечка.

— Не так, мамочка, — говорит она мне, не обращая внимания на мою мать. — Вот как мы купаем деток.

Я могла бы догадаться, что в Национальной системе здравоохранения Великобритании этому учат тоже. Но сейчас я только восторженно наблюдаю. Совершенно очевидно, что Фрейю это заинтересовало и ей нравятся новые ощущения. Она вытягивает свои лягушачьи ножки, шею и совершенно успокаивается. Я плещу на нее теплой водой, и она в ответ несколько раз дрыгает ножками.

— Этого пока достаточно, мамочка, нельзя оставлять ребенка в остывшей воде, — говорит нянечка.

Я заворачиваю дочь в полотенце и спрашиваю у мамы, не хочет ли она поддержать ее.

— Да. Я не возражаю против того, чтобы поддержать ее, — говорит моя мама, а затем проникновенным голосом добавляет: — Даже несмотря на то, что она такая, какая она есть.

Я вручаю ей Фрейю.

— Она просто замечательная малышка, тебе так не кажется? — говорю я.

Моя мама не готова заходить настолько далеко.



— Так что, — спрашивает она, — она действительно тупоумная, с мертвым мозгом?

— Никакая она не тупоумная! На самом деле мы пока не знаем, как нарушения в ее мозге повлияют на нее. Ее должны посмотреть все специалисты, а потом мы проведем совещание и попытаемся сложить общую картину.

— Но она будет неполноценной?

— Они, похоже, в этом почти уверены.

— И ты все равно планируешь воспитывать ее сама?

— Я не уверена, что у нас есть какой-то другой выход.

— А как Тобиас?

— Он говорит, что не хочет забирать ее домой.

Наступает долгое молчание.

— Я на днях прочла в газете об одной матери-одиночке, которая бросилась с моста Воксхолл вместе со своим умственно неполноценным ребенком, — медленно произносит моя мать. — Она не смогла выдержать такого напряжения.

— Нам до этого еще очень далеко.

Она, прищурившись, смотрит на Фрейю и морщит губы.

— Этому ребенку нужно бы понять, что она не сможет получить все, что положено, — говорит она.

\* \* \*

К нам по очереди приходит целая процессия докторов, чтобы обследовать Фрейю. Такое впечатление, будто прошел слух насчет того, что в больнице появился интересный случай, и теперь специалисты всех возможных профилей хотят приобщиться к этому делу.

Они подсоединили электроды к ее голове и измерили волны, излучаемые ее мозгом. Они заглядывали в ее глаза. Они слушали ее сердце. Они взяли кровь у нее из ступней, а когда вены там иссякли, взяли кровь и из ножек.

— ...У вашей дочери наблюдается целый набор пороков развития мозга. Вдобавок к полимикрогирии мозолистое тело, которое соединяет два полушария мозга, у нее полностью отсутствует, а мозжечок чрезвычайно маленький...

— ...Случаи такого рода обычно связаны с генетическими нарушениями либо повреждениями в первые три месяца беременности. Бывало ли в вашей семье, что новорожденные младенцы умирали?

— ...Левая сильвиева борозда ненормально глубокая, и имеется выраженный недостаток серого и белого вещества...

— ...Ее симптомы не подходят ни под один известный тип генетических нарушений. Но всегда существует вероятность присутствия рецессивного гена — какого-то сбоя кодирования, который мог привести любой из вас...

— ...Я проводил специально изучение таких случаев в течение семнадцати лет. И это самый обширный пример нарушения миграции нейронов, с каким мне приходилось сталкиваться...

Не то, чтобы мы радовались каждой очередной плохой новости — просто уже перестали так ужасаться. Как будто где-то в глубине нас какой-то примитивный инстинкт, ответственный за выживание, твердил: «Этот ребенок уже по-любому дефективный. Так пусть уж он будет дефективный полностью, чтобы никто — вообще никто — не мог упрекнуть нас в том, что мы бросили его».

— Она превратилась из драгоценного ребенка в совершенно особенного ребенка, — горько шутит Тобиас, и мы с ним виновато смеемся, когда доктора не могут нас услышать.

\* \* \*

Дни и ночи сменяются, плавно перетекая друг в друга. Я уже совершенно потеряла чувство времени и представление, как долго мы здесь находимся. С момента рождения Фрейи я еще не покидала территорию больницы. Хотя я уже и родила, нам позволили остаться в комнате для родителей рядом с отделением. Я знаю, что тем временем наступило и прошло Рождество, но это не имеет для меня никакого значения. У меня такое ощущение, будто весь мой мир вдруг сжался и мою семью, друзей, мой дом, работу и даже Тобиаса высосало из моей жизни каким-то гигантским пылесосом. И в ней осталось только вот это.



Посреди всего этого вдруг без приглашения приезжает Марта. Она напугана и вне себя от злости.

— Какого черта ты не отзывалась на мои звонки? Почему ты не хотела, чтобы я к тебе приехала? Такие вещи нельзя делать в одиночку.

— Я просто не знала, что тебе сказать. Я и сама до сих пор не знаю, насколько все может быть плохо.

Мы с Мартой неразлучны еще с начальной школы. Она всегда приглядывала за мной и всегда в лоб высказывает свое мнение.

— Выглядишь хреново, — говорит она. — Как твое кесарево?

— Да ничего, собственно говоря, — отвечаю я, удивленная тем, что мне о нем напомнили.

— Правда? Что, совсем не болит?

— Сначала болело жутко. А сейчас все полностью онемело. А может, это потому, что в данный момент я вся такая.

— Хм.

Я предпринимаю жалкую попытку обернуть все в шутку:

— Всем женщинам, которые жалуются на последствия хирургических операций, следует попробовать на себе программу реабилитации под названием: «У моего ребенка нет мозга».

Но Марта, похоже, не видит в этом ничего смешного и бросает на меня строгий взгляд.

Она привезла с собой подарок практического толка — упаковку из пяти детских комбинезончиков и акриловое одеяльце, которое легко стирается, — и я немедленно нахожу этому применение. Тобиас с шумом открывает бутылку шампанского, которую я припрятала в сумке, когда собиралась в роддом. Я воображала, как мы с ним сразу после рождения ребенка выпьем эту бутылку вдвоем, переполненные счастьем и любовью. Он разливает ее в три пластиковых стаканчика, взятых у бутыли с питьевой водой в коридоре.

— Дай мне ее подержать, — говорит Марта.

Я вынимаю сонную Фрейю из ее кровати. Когда она уютно прижимается к груди Марты, я вдруг чувствую укол ревности: мой ребенок на руках у другой женщины.

Звонит мой мобильный. Я до сих пор не отвечала на звонки. Мне не хочется рассказывать людям о Фрейе: я понятия не имею, что им сказать. Но это Сандрин, которая вряд ли звонит просто для того, чтобы справиться, как мы тут. Поддавшись импульсу, я отвечаю на звонок и, многозначительно кивнув Тобиасу, включаю громкую связь.

— Вы что-то нашли? Какую-то недвижимость? — быстро спрашиваю я, чтобы упредить ее возможные расспросы.

— Ну да... несколько больше, чем вы просили, но думаю, что этот вариант стоит рассмотреть... фермерский домик на вершине холма. И по деньгам укладывается в ваш бюджет.

Как приятно снова говорить о нормальных человеческих проблемах! О чем-то, не имеющем никакого отношения к моему ребенку.

— Это не совсем там, где вы хотели, — говорит она.

— Но это, по крайней мере, не слишком далеко от Экса? Голос ее звучит растерянно:

— Э-э-э... это не в Провансе. В Лангедоке. В той части, которая ближе к Испании. Послушайте, Анна, купить то, что вы хотите за такие деньги, в Провансе нереально. А в Лангедоке цены намного меньше. Я думаю, что вам, возможно, стоит посмотреть это место. Вы могли бы съездить туда в новом году.

— Мы хотим поселиться поближе к Экс-ан-Прованс. Я рассчитываю получить там работу преподавателя. К тому же я не уверена, что в данный момент мы вообще сможем куда-то поехать.

— Ребенок? — спрашивает Сандрин.

— Да.

— Он уже родился! О, ваше маленькое сокровище!

Я знаю ее уже шесть месяцев, но до сих пор видела исключительно в строгом деловом костюме с планшетом для бумаг наперевес. Я не узнаю этот мягкий воркующий голосок. Дети являются пропуском в тайный клуб. Они раскрывают в людях такие аспекты, которые в обычной жизни скрытаны.

— Мы все еще находимся в больнице, — говорю я.

— Какие-то сложности?



— Сандрин, она... не совсем в порядке. По правде говоря, она будет инвалидом.

На том конце линии повисает долгая, очень долгая пауза. Когда она говорит снова, воркующие нотки уже исчезли, и это опять все та же деловая Сандрин:

— Разумеется, вы не сможете поехать во Францию прямо сейчас. И эта недвижимость вам не подойдет.

Я уже не слушаю ее, а думаю о том, как мне подобрать правильные слова, чтобы все объяснить о Фрейе, потому что от этого разговора очень многое зависит. Я отключаю телефон.

— Не расстраивайся, — говорит Марта.

Она всегда решительно выступала против моих планов переезда во Францию. Она ведет меня в столовую вниз и настаивает, чтобы самой заплатить за бутерброды и кофе. Я вижу, что она чувствует свою беспомощность и неспособность сделать жест, соответствующий драматизму ситуации, несмотря на нашу многолетнюю дружбу: ничего подобного раньше не было, и каких-то накатанных шаблонов поведения тут нет. Это раскрывает нас с другой стороны, и мы должны заново пересмотреть правила взаимных обязательств.

— Что ты собираешься делать? — спрашивает она.

— Ох, Марта, ну что я могу делать? Материнская любовь, по идее, должна быть безусловной, но сколько родителей проверили это на себе? Три недели назад в моей жизни было все. А теперь... теперь я могу потерять все ради нее. Я могу потерять Тобиаса. А что, если я откажусь ради нее от всего, а она потом возьмет и умрет у меня... С чем я тогда останусь? Послушай, я понимаю, что звучит это жутко эгоистично...

— Вовсе нет, — перебивает меня Марта.

Но по ее тону я понимаю, что зашла слишком далеко. Я переступила какую-то запретную черту. Внезапно между нами возникает необъявленное противостояние или даже столкновение, как будто я ее каким-то неопределенным образом предаю.

— Марта, я даже сама еще не знаю, смогу ли полюбить этого ребенка. В данный момент мне кажется, что я чувствую себя связанной с ней физически, но буду ли я в состоянии по-



любить ее? И смогу ли я позволить себе любить ее, если могла от нее отказаться?

— Я не могу вмешиваться в такое, — говорит она.

Это не ее подход — раньше она никогда себя так не вела. Начиная с того момента, когда в пять лет меня попробовал поцеловать Томми Макмэхон, Марта всегда осуществляла руководство мною в отношении всех моих мальчиков, каждого продвижения по службе и каждого важного жизненного решения, всегда помогала мне выпутываться из неприятностей, произошедших из-за того, что я игнорировала ее советы. Но на этот раз она отошла от своих принципов.

— Я должна идти, — вдруг говорит она, пожалуй, слишком поспешно, и по ее легкой скованности я чувствую, что моя лучшая подруга постепенно отстраняется от меня.

\* \* \*

Доктор Фернандес опоздала на наш большой консилиум. Тот самый, на котором мы должны окончательно решить, насколько тяжелым является состояние Фрейи.

Я мысленно снова и снова возвращаюсь к ее словам, что все доктора склонны к тому, чтобы в первую очередь прикрыть свою задницу. Какая-то моя часть по-прежнему, как и моя мать, питает надежду, что здесь имеет место некая ошибка или по крайней мере преувеличение. Я ничего не могу с этим поделать, но все откладываю окончательное суждение до тех пор, когда доктор честно вынесет свой вердикт, как она это обещала.

Пока мы с Тобиасом ждем в напряженном молчании, в голове моей всплывает воспоминание: я со слезами на глазах сижу в больнице, куда определили нашего любимого девяностотрехлетнего соседа Фреда. Когда же меня в конце концов к нему допускают, он сбивчиво рассказывает мне историю о своей дочери, которая пропала без вести во время школьного похода на байдарках. Спасатели искали ее и в воде, и на суше с воздуха, но тело так никогда и не было найдено. Он начинает плакать, и меня по-детски поражает тот факт, что



в мире существует такое горе, которое в состоянии заставить плакать старика в девяносто три года.

Наконец в сопровождении медсестры появляется доктор Фернандес, уводит нас в ту маленькую комнатку, которая обставлена под гостиную, и усаживает в удобные мягкие кресла. Сама она устраивается на краю стола, а медсестра садится на жесткий стул позади нее. Коробка салфеток «Клинекс», как и раньше, стоит на своем обычном месте.

— Мы по-прежнему многого не знаем о ее мозге, — начинает она. — Как у профессиональных медиков, у нас есть большое искушение перестраховаться.

Сделав паузу, она надевает очки, висящие на шнурке у нее на шее, и неторопливо продолжает.

— Однако вам необходимо честное суждение о том, чего ожидать. Поэтому я обошла всех специалистов и попросила их высказать свое мнение не как медиков, а чисто по-человечески. При этом вырисовалась следующая картина, с которой я полностью согласна. Мы считаем, что у Фрейи будут сложности с простыми вещами. Например, с тем, чтобы сидеть, ходить и разговаривать.

На мгновение в комнате устанавливается тишина. Ее слова словно повисают в воздухе.

— Она сейчас вялая и пассивная — это является отражением функционирования ее мозга. В будущем она может остаться такой же вялой, но, возможно, со временем окрепнет. Это может создать физические проблемы. Есть риск, что легкие не развернутся хорошо, а это может привести к инфицированию дыхательных путей и пневмонии. У нее могут быть сильные судорожные сокращения мышц, хотя тут может помочь физиотерапия. Также ей может понадобиться хирургическая операция для высвобождения сухожилий в возрасте от пяти до десяти лет, если она доживет.

— Сколько она вероятнее всего проживет? — спрашивает Тобиас.

— Трудно сказать. В первую очередь вы должны знать, что в случае таких нарушений с мозгом, как у нее, иногда это са-





мо собой рассасывается и исчезает. Кроме этого, в первые два-три года жизни многие такие детки страдают от инфекций дыхательных путей, которые могут быть фатальными для них. Однако у Фрейи хороший рвотный рефлекс и в данный момент нет проблем с дыханием. Если она благополучно минует младенчество, то может пережить и вас.

— А ей может стать хуже?

— Теоретически нет: она находится в статическом состоянии благодаря структуре мозга. Но, поскольку она не будет слишком активной, то может страдать от мышечной дистрофии.

— Как вы думаете, у нее будут еще приступы?

— Наш невролог считает это весьма вероятным.

— Можем мы что-то сделать, чтобы ей было лучше?

— Лично у меня такое ощущение, что тут, похоже, ничем помочь нельзя.

— С ней можно будет общаться на каком-то уровне, будет ли она осознавать, что ее окружает?

— Трудно сказать. Она чувствует комфорт и боль.

— Она будет узнавать нас? — вырвалось у меня.

— Вероятно, нет, — говорит она. — Ей будет необходим кто-то, чтобы удовлетворять ее потребности, но для нее не будет иметь особого значения, будете ли это конкретно вы или кто-то другой.

И я внезапно понимаю, что это именно оно — это как раз та вещь, которая всегда будет заставлять меня плакать, даже если я доживу до девяноста трех лет.

Затем сознание мое стопорится, как будто упала какая-то шторка, и в мозгу уже не осталось свободного пространства, чтобы обрабатывать эмоции. Я слышу, как задаю какие-то вопросы практического значения и доктор Фернандес на них отвечает голосом, который звучит сочувственно, но при этом вполне уверенно и твердо.

— Ей потребуется какое-то оборудование?

— Ну, она может пользоваться креслом-каталкой, но вероятнее всего она будет оставаться в постели. Когда она станет тяжелее, вам понадобится подъемный механизм, чтобы



приподнимать ее. Ей может потребоваться искусственная вентиляция легких и принудительное питание. И до конца жизни ей будет нужен круглосуточный уход.

— А какие у нас есть варианты по уходу?

— Если вы будете сами ухаживать за ней, система обеспечит вам некоторую поддержку.

— Сиделок?

— Ну... нет, не думаю — с ресурсами сейчас туговато, но это может быть какая-то временная помощь и психотерапия.

— А как насчет Франции? — спрашиваю я.

— Люди всегда говорят мне, что хотели бы увезти своего ребенка-инвалида в Боливию или еще куда-то, — медленно говорит доктор Фернандес. — Как медика, меня это, естественно, приводит в ужас. Но по-человечески... Я думала над этим, и похоже, что разница совсем незначительная. Если вы хотите уехать во Францию, вам нужно ехать. Я могу дать вам фенотарбита про запас на случай, если у нее будет еще приступ. Вы не должны отказываться от своей собственной жизни. Она никогда не будет более транспортабельной, чем сейчас. И если у нее будет более короткая, но более счастливая жизнь, это хорошо. Если же она подхватит дыхательную инфекцию и вы не успеете достаточно быстро доставить ее в больницу, что ж, тогда...

Еще одна пауза.

Тобиас говорит:

— Мы тут думали, а что будет, если мы не заберем ее домой?

— Если вы не заберете ее из больницы, социальные службы будут обязаны найти ей вариант, чтобы ее взяли на воспитание.

Я начинаю плакать, громко всхлипывая, как ребенок.

Доктор Фернандес обнимает меня за плечи.

— Не нужно предпринимать никаких резких действий прямо сейчас. Послушайте, вам нужно время, чтобы как-то упорядочить то, что творится у вас в головах. А Фрейе необходимо остаться у нас еще на несколько недель. Рассматривайте

это как бесплатный присмотр за вашим ребенком. Возьмите отгулы. Съездите вместе куда-нибудь и все обдумайте. И держитесь пока подальше от этой больницы.

Когда мы уже уходим, доктор Фернандес говорит:

— Я знаю, что вам еще нужно во многом разобраться. Но нам просто необходимо обсудить реанимационные меры. В законе очень четко указано, что мы можем делать и чего не можем. И есть некоторые области, где свобода наших действий ограничена. Что делать, например, если в ее состоянии наступит кризис? До какой степени вы разрешаете нам проводить реанимацию?

— Это звучит глупо, — вмешивается медсестра, — но смерть в таких случаях не может быть легкой и простой. Спокойной, с достоинством и умиротворением.

В моей голове снова щелкает все тот же переключатель, и на этот раз я вижу лежащее на кровати немощное тельце. Невидящий взгляд устремлен в потолок. Из живота торчит трубка, рядом лежит баллон с кислородом. Она дышит с помощью искусственной вентиляции легких, делая натужные тяжелые вдохи...

Мы с Тобиасом лежим вместе на нашей больничной койке. Я чувствую его слезы, и моя щека уже мокрая от них.

— Ты должна меня понять, — говорит он. — Если мы оставим этого ребенка у себя, я не смогу больше быть фрилансером. Мне нужно будет где-то искать работу. И нам придется отказаться от идеи переезда во Францию, что бы там ни говорила доктор Фернандес. Все наши мечты. Вся наша жизнь. Все, ради чего мы работали.

Я осторожно трогаю пальцами его лицо.

— Тебе не придется отказываться от своей свободы, — говорю я. — Мы будем жить во Франции своей жизнью, у нас будет своя студия звукозаписи — все, о чем мы мечтали. Мы одна команда. Маленькая команда. Я не позволю, чтобы одна часть этой команды перетянула на себя все ресурсы у двух других. Я не дам ей разрушить нас. — Мы лежим, вцепившись друг в друга так, будто мы с ним единственные спасшиеся во время



кораблекрушения. — Когда Сандрин звонила сегодня, — продолжая я, — было так приятно, что с нами снова общаются как с нормальными людьми. Я не хочу, чтобы мы думали только о болезнях, инвалидности и... жертвах. И я не позволю этому произойти. Помнишь, я рассказывала тебе, какой была в шестнадцать?

Лицо Тобиаса, прижавшееся к моим волосам, горит.

— М-м-м, не знаю даже. Расскажи еще раз.

— Мы с Мартой поехали тогда по обмену учениками между школами. До этого мы практически никогда в жизни не выезжали из Севеноукса<sup>1</sup>, а тут — Париж. Мы не могли себе позволить пойти куда-то поесть, поэтому просто выпили чашку кофе на двоих в каком-то шикарном кафе где-то в шестом округе, уплетая шоколадные эклеры из бумажных пакетов, спрятанных у нас на коленях. Мне улыбнулся один юноша, который показался нам невозможно утонченным. Я тогда сказала Марте: «Когда-нибудь я буду жить здесь, когда-нибудь я буду говорить по-французски, когда-нибудь я буду такой же утонченной».

— Что ж, ты все это выполнила, — сказал Тобиас. — В конце концов ты в самом деле поступила на учебу в Экс-ан-Прованс, помнишь?

— Я хочу повезти тебя туда, — говорю я. — Тебя и Фрейю — вас обоих. — Я чувствую, как тело его под моими руками напряглось, и поэтому быстро добавляю: — Нам не нужно принимать решение прямо сейчас. Фрейя может некоторое время побыть в больнице. Доктор Фернандес сказала, что нам следовало бы на несколько дней уехать отсюда. Я подумала о том доме, который Сандрин нашла для нас в Лангедоке. Я понимаю, что это не совсем то, но давай все-таки съездим туда и посмотрим. Это хороший повод для поездки. Просто чтобы развеяться. Я могу взять с собой молокоотсос для сцеживания.

— Возможно, я не люблю этого ребенка, но зато я точно люблю тебя, — шепчет Тобиас. — И я не хочу тебя потерять.

---

<sup>1</sup> Школа Севеноукс — старейшая английская школа-пансион, расположенная в городке Севеноукс, графство Кент; основана в 1432 году.

— Обещаю, что, если придется выбирать между вами, я всегда выберу тебя. Я должна это сделать. — Мои слова звучат как признание в предательстве. Я повторяю: — Я должна это сделать.

\* \* \*

Уснуть я не могу. Просто лежу и слушаю, как храпит Тобиас. В три часа ночи я не выдерживаю и встаю с постели. В отделении неонатальной интенсивной терапии тепло и уютно, как в утробе матери.

Я сразу направляюсь к кроватке Фрейи. Не в состоянии поворачиваться и даже толком двигаться, она все же умудрилась прижаться щекой к мягким лапкам вязаного зайца. Это добивает меня. Окончательно добивает. Я сижу у ее кровати, рыдаю и никак не могу остановиться.

Я должна спасти это дитя. Я должна забрать ее домой. Если она может найти утешение в лапках кролика, разве она не заслуживает моих усилий? Разве не должна она черпать это утешение от меня? Разве я уже не обманула ее ожидания в эти первые недели ее жизни?

Я наклоняюсь над ней и украдкой виновато целую в макушку. Она замечательная на ощупь.

Я вдыхаю этот новый для меня запах младенца, чувствую мягкость ее волос. Я начинаю целовать ее снова и снова, глубокими освежающими глотками, как будто я могу выпить ее. Как наркоман, тянущийся к наркотику, я склоняюсь, чтобы еще раз поцеловать ее, затем еще раз...



Поместье Ле Ражон расположено на вершине холма и со всех сторон открыто ветрам. Мы подъезжаем к нему по крутым поворотам извилистой дороги, которая поднимается из долины, минуя узкие коридоры среди скал. Дорога проходит через деревушку Рье, кое-как примостившуюся на склоне холма, а затем, словно потеряв здесь свое сердце, превращается в голый камень, покрытый пылью.

Трудно поверить в то, что всего двадцать четыре часа назад мы были еще в больнице. В течение нашего полета в Монпелье можно было наблюдать за облаками — и это было легко — и представлять себе, что поездка во Францию — лучшее, что мы сейчас можем сделать. Но чем больше мы отдаляемся от Лондона, тем больше я скучаю по Фрейе, по ее маленькому сморщенному личику, по слабеньким глазкам, по странному короткому движению, когда она вытягивает шейку.

Взятая напрокат машина делает последний поворот по этому немислимому пути, и внезапно прямо перед нами оказывается живописный дом. Теперь нам видно, что эта самая недвижимость представляет собой группу фермерских построек. Часть из них лежит в руинах, и крапчатые серые камни из стен растащены для другого строительства. Складывается такое впечатление, что все это место сначала выскочило из скалы, а затем приникло к ней опять — и все это в каком-то непрерывном процессе роста и разрушения. Такое чувство, что тут ты открыт небесам и даже очень к ним близок.

— Дикое место, — говорит Тобиас.



— Какое-то расползающееся, — отзываюсь я. — И еще огромное.

— Какие ворота! — вырывается у Тобиаса. — Посмотри только на это каменное основание!

— Но стены нет, — отмечаю я. — Ворота стоят посреди голого места.

— Стена забора, должно быть, обвалилась. Похоже на римские развалины.

Мы стоим сразу за воротами на внутреннем дворе, образованном каменными постройками, которые расположены подковой. Стоящий прямо перед нами дом вопросительно воззрился на нас.

— О, я бы так не сказала, — говорю я.

— Вау! — восклицает Тобиас.

— Дверь болтается на одной петле. И окна все выбиты.

— Теперь представь себе, что все это принадлежит нам.

— Есть в этом месте что-то странное. Только не пойму, что. Как будто эти постройки начинают двигаться, когда я отворачиваюсь.

— Ох, это ты уже что-то выдумывать начинаешь, — говорит Тобиас. — Все идеально просто: дом находится прямо перед нами — вполне стандартный дом французского фермера с дверью в центре; два крыла — это служебные пристройки. Смотри, все правое крыло — это один большой амбар, соединенный с домом этим вот деревянным мостиком. Второе крыло представляет из себя ряд более мелких строений с еще одним двориком... Нет, постой, это не дворик, а развалины чего-то. Все заросло травой, и это похоже на огороженный сад... — Он делает паузу и хмурится. — Но может быть, я ошибаюсь, и это...

Мы оба заворожено смотрим на это место, но не в состоянии ничего понять.

В дальнем конце просторного двора мы замечаем поржавевший морской контейнер, криво стоящий на подпорках из кирпича. Пока мы осматриваемся, оттуда появляется маленькая женская фигурка. Женщина машет нам рукой и идет



в нашу сторону; волосы, прямые и черные как смоль, легко-мысленно развеваются за спиной. «Совсем ребенок!» — с удивлением думаю я. Ей лет девятнадцать-двадцать, никак не больше.

Когда она подходит ближе, я вижу, что лицо ее обветрено, как будто она всю свою жизнь провела на открытом воздухе. Но главное, что сразу бросается мне в глаза, это яркая зелень ее глаз на загорелом лице.

— Хай, я Лизи. *Gardienne*<sup>1</sup>. Сандрин предупредила, что вы приедете. Предполагается, что я вам тут все покажу. — Ее беглый французский отмечен заметной медлительностью интонаций.

— Вы американка?

— Из Калифорнии, — отвечает она, переходя на английский.

— И вы живете в этом морском контейнере?

— Да.

— Не в доме?

Она зябко передергивает плечами:

— Ни за что! Абсолютно исключено.

— Вы здесь уже давно?

— Я прожила здесь почти год. Летом в контейнере слишком жарко, так что я сплю в гамаке под деревьями.

— А каким ветром вас вообще сюда занесло? — интересуется Тобиас.

— Мне удалось насобирать достаточно денег на билет до Парижа.

— А из Парижа?

— Пришла пешком.

— Пешком? Из самого Парижа?!

— Да. На поезд у меня не было денег. Так что на это ушло несколько месяцев. Когда я приехала сюда, я была совсем худышка.

— А чем же вы питались?

---

<sup>1</sup> Охранница (*фр.*).





— О, иногда люди давали мне какую-то еду. Иногда я находила ягоды. И немного замечательных листьев.

— Но... а ваши близкие за вас не переживают?

— Семьи у меня нет. Только приемные родители. А уж они за мной скучать не станут.

— Это просто поразительно, — говорит Тобиас.

— Я люблю свободу.

— Вы определенно удивительная женщина.

Она напоминает мне какое-то животное, но в тот момент я никак не могу сообразить, какое именно. Тюленя? Та же текущая энергия, но слишком стройненькая. Кошку? Но она более живая, чем кошка.

— Начнем с амбара, — говорит Лизи. — Это моя любимая часть.

— Какая замечательная крыша!

— Она сделана из традиционной для Лангедока выпуклой черепицы. Очевидно, в старые времена они формовали ее на бедрах молоденьких девушек.

Мы заходим внутрь через своего рода мастерскую и карабкаемся по шаткой лестнице, которая приводит нас в небольшую комнату с полом, усыпанным соломой. Только войдя туда, я чувствую, как повеяло воздухом из-под крыльев, и успеваю заметить сову-сипуху, белую и величественную, которая выпархивает через открытое окно.

Тобиас охает:

— Это невообразимо! Она просто сидела и пялилась на нас целую минуту. Ты видела ее? Похожа на злое привидение.

— Здесь живет пара. У них тут гнездо, — говорит Лизи. — Я стараюсь их не беспокоить. Посмотрите сюда.

Она показывает на проем размером с небольшое окно, и мы заглядываем через него внутрь амбара.

— Он просто громадный, — говорит Тобиас.

— Пол нуждается в починке, — замечаю я.

— Из него выйдет замечательная студия звукозаписи. — Тобиас осматривается и лукаво добавляет: — Анна, а ты могла бы устроить здесь свой собственный ресторан.



— Не говори глупости! Отсюда до ближайшего жилья много миль пути. Как я могу устраивать тут ресторан? К тому же здесь нет дверей.

— Он предназначен для хранения сена, — поясняет Лизи. — Вы можете залезть в него через люк в потолке конюшни, которая находится ниже.

Она ведет нас через дверной проем в крытый деревянный переход. Под нами — водосточная канава.

— Похоже на пересохшую речку, — говорю я.

— О, во время дождя эта канава превращается в довольно большую речку, — небрежно говорит Лизи. — У нас тут часто бывают бури. Это так захватывающе — стоять на этом мостике и наблюдать за молниями: шаровые перелетают через дом, а разряды бьют в холмы.

— Круто! — отзывается Тобиас.

Я смотрю с мостика вниз и пытаюсь представить себе, каково стоять здесь в сильную грозу, когда под тобой ревет поток воды. Сам этот мостик крепкий и красивый. Нормальные размеры делают его еще более привлекательным в месте, где масштаб громадных построек, похоже, соревнуется с грандиозностью сил природы.

— Здесь может быть красиво, если поставить сюда несколько горшков с геранью, — говорю я.

Но ни Тобиас, ни Лизи меня не слушают.

— Отсюда я отведу вас в главный дом, — говорит девушка.

Мы проходим по мостику и оказываемся в большой верхней комнате с высокими, от пола, французскими окнами и кованым балкончиком, как у Джульетты.

— Хозяйская спальня, — восхищенно стонет Тобиас. — Какой вид!

На этом же этаже расположены еще две спальни — пол в одной из них почти полностью сгнил — и максимально упрощенная ванная комната.

— А теперь чердак, — говорит Лизи. — Будьте осторожны: часть крыши проваливается.

Мы по очереди карабкаемся по лестнице с площадки второго этажа. Я становлюсь на последнюю ступеньку и оказываюсь фактически под открытым небом, которое смотрит на меня сквозь дыры от обвалившейся черепицы. Целый набор всевозможных расставленных на полу чердака сосудов указывает на то, что, прежде чем обвалиться, крыша долгие годы протекала.

Когда очередь доходит до Тобиаса, он еще долго стоит на этой ступеньке. До меня долетает его полный энтузиазма голос:

— Литая чугунная сидячая ванна! Настоящий антиквариат! Глянь — это тут летучие мыши?

Мы спускаемся по пролету дубовой лестницы.

— Какой класс! — восторгается Тобиас, и мы через коридор попадаем в гостиную.

Я ловлю себя на том, что засматриваюсь на дубовые стропила, на декоративную штукатурку, на нишу с нарисованной в ней мадонной, на плиты, неровно уложенные на полу, на камин и помятую печь в стиле «ар-деко».

— Здесь когда-то был женский монастырь, — говорит Лизи. — Штукатурку делали послушницы.

Тобиас скрывается в глубине дома.

— Здесь есть кухня! И печь для выпекания хлеба! И глубокая керамическая мойка! — кричит он откуда-то. — Пол выстлан каменными плитами. И — вау! — она просто огромная! Посередине каменная арка. Знаешь, я не думаю, что потребуется так уж много работы, чтобы вернуть всему этому обитаемый вид.

Я чувствую себя усталой и раздраженной. Меня начинают одолевать страхи.

— Ты что, с ума сошел? Да здесь даже крыши нет!

— Домовладелец отремонтирует крышу, когда будет подписан *compromis de vente*<sup>1</sup>, — говорит Лизи. — А также все окна и переднюю дверь.

---

<sup>1</sup> Предварительная договоренность о купле-продаже объекта недвижимости (*фр.*).



— Представляешь, каково будет расти в таком месте, — говорит Тобиас. — Настоящее приключение!

— Чепуха. Это слишком опасное место для ребенка...

Не договорив, я закусываю губу: два дня назад я подписала документ, который уполномочил больницу записать в карточке моего ребенка: «Не реанимировать». Что в этом месте может представлять для нее большую опасность, чем я?

Лизи выводит нас из дома к группе построек на одной из сторон подковы вокруг двора. Мы рассматриваем винный пресс, по бокам которого стоят две дубовые емкости для вина, каждая размером с гостиную в квартире большинства людей.

Тобиас взбирается по остаткам ступенек и заглядывает в емкость.

— Пахнет виноградом. И внутри все покрыто высохшим соком и выжимками фруктов.

— Когда-то здесь была винодельня. Она разрушилась, но винный пресс и бочки удалось сохранить. Ниже, по южному склону этого холма есть виноградники. Они когда-то принадлежали Ле Ражону. Но теперь — нет. Здесь осталось несколько виноградных лоз, но земля на самом деле расположена слишком высоко для производства вина.

— А сколько всего земли относится сейчас к этому участку?

— Где-то десять гектаров. Не так уж много. И большинство ее — это *taquis*, заросли кустарника.

— Мне не верится, — говорит Тобиас, — что за эти деньги можно получить так много. Мы могли бы организовать здесь музыкальный фестиваль.

Лизи ведет нас по каменистой тропке мимо каких-то развалин, мимо сада с низкорослыми фруктовыми деревьями и аккуратных грядок, перекопанных и незасаженных.

— Огород, — говорит она. — Есть один местный житель, который имеет право использовать половину его до конца года. Вы можете выращивать овощи на второй половине.

— Овощи... — мечтательно говорит Тобиас. — Ну конечно, овощи.

— А хотите увидеть самый лучший вид?

Даже в это время года на склоне холма пахнет чабрецом и лавандой. Приходится идти по тропинке, пока она постепенно не исчезает, после чего уже нужно карабкаться по голому каменному склону. А в самом конце оказываешься на вершине большого утеса, откуда открывается панорамный вид на окружающие холмы. Как будто стоишь на вершине мира.

— Отсюда с одной стороны видны Пиренеи, а с другой стороны — это направление на Средиземное море, — говорит Лизи. — Правда, красиво? Первозданность, красота, свобода. Я бы хотела умереть здесь.

Фрейя никогда не сможет увидеть всего этого. Когда она станет постарше, мы просто не сможем поднять сюда ее кресло-каталку. Если, конечно, она сможет передвигаться в кресле-каталке.

— Это потрясающе, — говорит Тобиас. — Абсолютно волшебная картина. Пиренеи! Средиземноморье! Вы счастливая женщина, раз живете здесь.

— Это место известно как «перевал тринадцати ветров». Иногда они налетают с одной стороны, иногда — с другой. Очень трудно предугадать. Местные говорят, что когда они дуют в определенном направлении, то, ударяясь о скалы, заводят свою музыку, только сама я этого никогда не слышала.

Лизи поворачивается лицом к ветру и, разведя руки в стороны, подается ему навстречу.

— Вы слышите это? Чувствуете эти тонкие возвышенные вибрации? Здесь они особенно сильны.

Тобиас добродушно смеется и копирует ее действия. Ветер достаточно силен, чтобы он мог наклониться далеко вперед, ему навстречу. Они с Лизи начинают хихикать, соревнуясь, кто наклонится сильнее. В ее зеленых глазах вспыхивает дикий огонек, и черные волосы сзади развеваются на ветру.

Выдра. Вот кого она мне напоминает на самом деле. Физическая сила в гибких озорных формах. Лизи еще раз извивается, чтобы удержать равновесие, и все же падает. Тобиас победил. Он явно этим доволен.



— Возможно, я действительно почувствовал, что вы имели в виду под тонкими вибрациями, — говорит он.

— Итак, вы собираетесь покупать этот участок? Просят недорого.

— Да, кстати, почему так дешево? — спрашиваю я.

Лизи пожимает плечами:

— *Propriétaire*<sup>1</sup> много лет посвятил тому, чтобы поднять это место. Сейчас он постарел и начал терять надежду, а нуждается в деньгах, чтобы отойти от дел. Пора кому-то помоложе заняться этим. Может быть, это будете вы?

— Ну, — говорю я, — нам еще нужно все обсудить, но лично я не уверена, что оно нам подходит.

Лизи выглядит довольной.

— Его смотрело уже множество семейных пар, и все они говорили одно и то же. Слишком большое, слишком жутковатое. Но однажды сюда приедет мужчина. Он будет один. Он влюбится в этот дом. А потом женится на мне.

Какая она забавная! Я искоса поглядываю на Тобиаса, но он почему-то отводит глаза. Я проглатываю свое изумление и глубоко вдыхаю аромат лаванды и чабреца. Это похоже на последний мой свободный вдох.

— Анна, ты только посмотри, *по-настоящему* посмотри на этот вид! — умоляющим голосом говорит Тобиас.

Вид и вправду очень живописный. Во все стороны от нас разбегаются фиолетовые холмы. Слева вытянулись в ряд укрытые снегом Пиренеи, такие далекие, что кажется, будто они плывут по горизонту, а их мягкие очертания сливаются с облаками. Справа вдали поблескивает Средиземное море.

Мы могли бы отказаться от ребенка. Мы могли бы уйти от всего этого и погрузиться в нашу прежнюю жизнь. Через несколько лет я могла бы стать шеф-поваром в лондонском ресторане. Тобиас мог бы писать музыку для рекламы. У нас была бы комфортная жизнь. Страдания не могут вечно быть такими сильными. И от Фрейи в итоге останется только тупая боль...

---

<sup>1</sup> Собственник (*фр.*).

Но здесь забрезжил другой путь: дом во Франции, физически и умственно неполноценный ребенок, которого нужно воспитывать, и будущее, ускользающее в дымке неопределенности, как контуры этих гор, что расплываются на фоне неба.

\* \* \*

— Я хотела переехать в Прованс. — Даже для меня самой мой голос звучит раздраженно.

— Но Прованс — это очень дорого, — возражает Тобиас. — В Провансе мы могли бы позволить себе купить только кладовку для метел. А здесь все такое большое — громадный потенциал, и это действительно очень дешево.

Мы снова сидим во взятой напрокат машине, которая катится по шоссе в сторону Экс-ан-Прованса — в сторону той Франции, которую я знаю: Франции лазурного моря, красивых людей и благородных оливковых рощ.

В Лондоне мне казалось, что заехать во время этой поездки еще и к Рене будет очень удачной идеей. Но сейчас мне просто безумно хочется быть с моим маленьким ребенком. Этот день я могу пережить только потому, что знаю: завтра вечером я смогу ее увидеть.

— В чем дело? — спрашивает Тобиас. — Нервничаешь по поводу того, что снова встретишься с Рене?

— Ну да, немного, — отвечаю я. Так мне кажется проще.

— Это естественно. Ты и так уже немало наездила. — Возникает еще одна пауза. — Собственно говоря, а он не предлагал тебе работу преподавателя у себя? — забрасывает удочку Тобиас.

— И не предложит, если мы купим дом в трех часах езды от него.

Тобиас выглядит обиженным.

— Я только хотел сказать, что ты могла бы рассмотреть другие варианты. Ты строишь многие планы, основываясь на том, чего может и не произойти...

— Это точно произойдет. Рене мне как родной. О'кей, три года он безжалостно оскорблял меня на учебной кухне, но при этом



он всегда заботился обо мне. Николя, может быть, и успешный, но он — просто машина, его жизнь без работы абсолютно пуста. Рене нашел свой путь, стал шеф-поваром мирового класса и совершенно сложившимся человеком. Он как-то устроит меня.

\* \* \*

Приезд в институт Лекомта для меня словно возвращение в прошлое. Я чувствую себя дрожащей семнадцатилетней девчонкой, впервые поднимающейся по безукоризненно чистым каменным ступеням к внушительной входной двери.

Сегодня мне не нужно звонить. Дверь распахивается, и за ней стоит Рене, который ждет меня. Он постарел с момента последней нашей с ним встречи, на большей части головы заметна лысина. Кожа стала бледнее, и когда он трижды целует меня, дышит он с легким присвистом.

— А где Фрейя? — спрашивает он.

— Все еще в больнице. Понимаешь, как я писала тебе по электронной почте...

— Да, врачи всего еще не знают. — На мгновение он оказывается в замешательстве. Я не привыкла к тому, что сам Рене не знает, что сказать. — Поцелуй меня еще разок, Анна. Как приятно снова видеть тебя!

— Рене, ты снова поправился, — строго заявляю я. — Ты придерживаешься своей диеты? Ты же знаешь, что говорят эти доктора, даже если они *действительно* всего не знают.

— Мой отец умер от сердечной недостаточности, как и мой дед. Зачем же мне нарушать семейную традицию? Важно то, как ты жил *до этого*. — Он хочет поцеловать Тобиаса, но передумывает и жмет ему руку, продуманно и тщательно пародируя английскую манеру. — Входите, у меня на обед есть кое-что особенное. Но сначала я покажу вам вашу комнату.

Когда мы идем по коридору, он говорит:

— Анна, ты сейчас выглядишь точно так же, как в тот первый день, когда мы с тобой познакомились.

— Рене, как ты можешь так беззастенчиво врать? Когда мы познакомились, мне было семнадцать.



— Это верно. — Он оборачивается к Тобиасу. — Вообразите, эта английская школьница написала мне письмо, требуя предоставить ей стипендию в моем институте. И тогда я подумал, что нужно на нее посмотреть.

Чуть позже, когда мы уже сидим за столом и едим легендарный буйабес<sup>1</sup> Рене, он начинает читать настоящую лекцию, в основном ради Тобиаса. Я все это уже слышала раньше, на учебной кухне.

— Чтобы приготовить буйабес, необходимо терпение. Прежде всего, вы не должны дать бульону закипеть, так как коллагену из рыбных костей и панцирей крабов нужно время, чтобы спокойно раствориться. Чтобы получить идеальный бульон для обеда вечером, нужно начинать варить их на медленном огне утром. — Рене берет ложку супа в рот и несколько мгновений смакует. — Когда вы едите это блюдо, вас должен немного прошибать пот, — говорит он. — Вы должны представить себе жен марсельских рыбаков, которые в прежние времена грели громадные чаны с рыбными головами и панцирями крабов на берегу, дожидаясь, когда их мужья вернутся с моря домой. Когда мужчины приплывали, они сразу вываливали свой улов прямо в бульон. В те времена ответственность за это блюдо несло только море...

— Это... это что-то необыкновенное, — бормочет Тобиас, но Рене машет рукой, давая понять, что он еще не закончил.

— Разумеется, в наши дни, чтобы приготовить должным образом *bouillabaisse de qualité*<sup>2</sup>, мы наложили на природный фактор несколько своих требований. Если быть точным, буйабес должен содержать по крайней мере четыре из шести определенных видов рыбы: скорпена, белая скорпена, барабулька, скат, морской угорь и рыба-солнечник. *Cigale de mer*<sup>3</sup> и лангуст являются допустимыми, но лишь как дополнительные ингредиенты. Рыбу нужно добавлять одну за другой,

---

<sup>1</sup> Рыбная похлебка с чесноком, овощами и пряностями.

<sup>2</sup> Качественный буйабес (фр.).

<sup>3</sup> Морская цикада (фр.).



в зависимости от ее размера, чтобы каждая из них сварилась идеально.

Он показывает на блюдо, на котором горой выложена средиземноморская рыба:

— А здесь вы видите результат. Это прекрасный пример крестьянского блюда, которое было доведено до статуса высокой кухни. Возможно ли представить себе, что такое изысканное блюдо может иметь столь непритязательное происхождение?

Он опускает на стол свои столовые приборы, с удовольствием делает глоток вина, и я понимаю, что наступил идеальный момент для нашего разговора.

— Итак, было ли у тебя время подумать над моим желанием приехать сюда, чтобы преподавать?

— Я не говорю, что это невозможно, — медленно говорит Рене, — если тебе это на самом деле необходимо.

— Я могу учить англичан, которые не говорят по-французски, — продолжаю давить на него я.

— Англичан... Мне жаль говорить об этом, Анна, но твои соотечественники по-настоящему не хотят того, что предлагаю я. Они хотят развлекаться с приготовлением пищи по поводу праздника, а не потеть часами на коммерческой кухне. К тому же это действительно то, чем ты хотела бы на самом деле заниматься, став матерью?

— Мое материнство, естественно, не будет мешать моей работе, — говорю я.

— Анна, я очень надеюсь на то, что *будет* мешать, — говорит Рене. — Стать матерью — это очень важно, и ты должна уделять этому столько времени, сколько потребуется.

— Мы нашли тут недвижимость, которая нас заинтересовала, — вставляет слово Тобиас. — Но это находится в Лангедоке. Я пытался подбить Анну открыть там ресторанчик.

Мне показалось, что лицо Рене просветлело.

— Сама идея совершенно безумная, — быстро говорю я. — Место совершенно запущенное и дикое, на вершине горы. Вокруг ничего нет. Оно даже не близко от моря.

— Подумай над этим, Анна. Не знаю, насколько оно того стоит, но я согласен с Тобиасом. Тебе нужно какое-то пространство, какие-то перемены в правильном направлении. — Я чувствую отеческое прикосновение его руки на своем плече. — Когда ты много лет назад написала мне то письмо, я был впечатлен твоей решимостью. Именно поэтому я и предоставил тебе ту стипендию. Анна, ты сможешь сделать все, на что настроишь свои мозги.

\* \* \*

Мы возвращаемся в Лондон совсем поздно. И, как утверждает Тобиас, даже слишком поздно, чтобы ехать в больницу. Я так устала и так расстроена, что даю себя уговорить. Прошло уже почти три недели с момента рождения Фрейи, а мы еще ни одной ночи с тех пор не провели дома — только пару раз заглядывали на квартиру, чтобы взять чистую одежду и упаковать чемодан для поездки во Францию.

Мы чувствуем себя космонавтами, вернувшимися домой после полета. Странно видеть, что по нашей улице ездят машины, что люди делают покупки в работающем допоздна магазинчике на углу, что жизнь течет в своем обычном русле, несмотря на то, что мы отсутствуем, находясь на какой-то другой планете. Мы покупаем немного свежих овощей, хлеб и сыр и направляемся к себе домой.

Наш коврик за дверью засыпан подарками и поздравительными открытками, которые лежат слоями. В нижнем представлены самые ранние птички — люди, среагировавшие на первые новости о рождении ребенка. Открытки ядовито-розового цвета с картинками аистов и бодрым тестом: «Поздравляем с девочкой!» Чуть выше находится слой, соответствующий периоду, когда наше молчание заставило подумать, что что-то не так; тон следующих посланий уже не такой уверенный, но все еще вполне оптимистичный: «Мы в этот радостный час верим, что у вас все хорошо...» В верхних же письмах поздравления уже идут вперемешку со смущенным сочув-



ствием. «Думаем о вас...» «Я так рада...» «Мне так жаль...» «Это вам наш особый подарок...»

Ответить на них — для меня это уже слишком. Что я могу им написать? «Спасибо вам за ваш подарок и за вашу чуткость. К сожалению, наша дочь Фрейя никогда не будет в состоянии узнать нас. Поэтому я возвращаю вам ваш...»

В квартире нашей все так же, как мы оставляли: чисто и прибрано. Если исключить плетеную детскую кроватку с ручками в нашей спальне и столик для пеленания в ванной комнате, можно было бы подумать, что мы никогда и не планировали заводить ребенка. Наша прежняя жизнь на месте, все под рукой.

— Пойду посмотрю, что можно по-быстрому соорудить поест, — говорю я.

Конечно, это только оправдание. В морозильной камере рядами стоят припасенные пластиковые контейнеры с детским питанием, которое я сама приготовила несколько недель назад, на завершающей стадии своей беременности, потому как боялась, что из-за хлопот с ребенком не смогу выполнять самые элементарные вещи.

Но в данный момент знакомый и успокаивающий ритуал приготовления пищи нужен мне больше, чем отдых уставшему телу. Я не собираюсь готовить какие-то изыски: это будет что-то совсем простое из свежих ингредиентов.

Моя кухня представляет собой замкнутый самодостаточный мир, где все идет своим чередом. Сердце ее — это блестящая плита «Лаканш» — аналог плиты «Ага»<sup>1</sup>, только французского производства, с любовью изготовленная ремесленниками Бургундии. На крючках вокруг развешана моя *batterie de cuisine*<sup>2</sup>. У каждой сковородки и любой другой кухонной принадлежности есть свое, строго оговоренное место. На рабочей поверхности рядом с плитой находятся мои разделочные доски и под-

---

<sup>1</sup> Фирменное название профессиональной кухонной плиты английской компании «Глинуэд груп сервисез».

<sup>2</sup> Кухонная утварь (фр.).



ставки для ножей. На специальной полке рядами выставлены специ. Любую из них я отыщу даже с закрытыми глазами.

Я беру кухонный нож из мягкой стали, который мне подарил мой папа, когда я начинала учиться на повара. Его рукоятка из самшита успокаивающе ложится в мою ладонь. Его точили много лет, и от этого форма лезвия стала похожа на полумесяц, идеально подходя к моему стилю шинковки.

Я начинаю кубиками нарезать свеклу, получая удовольствие от того, как мой нож входит в мякоть овоща, от серебристого блеска быстро мелькающего ножа, от запахов земли из-за сока, которым пропитывается дерево разделочной доски. Обожаю наблюдать за тем, как блюдо обретает форму и собственную индивидуальность. Это моя медитация.

Я натираю свеклу лигурийским оливковым маслом, свежим розмарином и крупной морской солью, после чего ставлю ее в духовку запекаться. Затем я перехожу к сладкому картофелю, обрабатывая его таким же образом, но запекая в отдельной сковороде, чтобы не смешивать цвета.

Когда кухня наполняется аппетитными запахами, я готовлю блюдо из кресс-салата. Его едкий аромат будет хорошо сочетаться с земляной сладостью свеклы и батата. Сверху я добавляю камамбер. Мне давно этого хотелось: я не ела мягкий сыр несколько месяцев.

Я красиво выкладываю кубики свеклы, батата и камамбера поверх кресс-салата, получая удовольствие от контраста цветов. Затем я крупными ломтями нарезаю хлеб с отрубями, укладываю все это на сервировочный столик и везу в гостиную. Кто сказал, что «телеужин»<sup>1</sup> — это сложно? Понятия не имею, почему люди покупают его в готовом виде.

Я застаю Тобиаса на диване за компьютером, где он «гуляет» в интернете социальные службы и уход за неполноценными детьми; лицо у него серого цвета, и выглядит он испуганным.

---

<sup>1</sup> Название американского замороженного второго блюда с гарниром в алюминиевой фольге, готовое к употреблению после быстрого разогрева.



— Веб-сайты всех социальных служб посвящены тому, как они помогут вам справиться с этим на дому, — говорит он. — А я даже *привозить* ее домой не хочу.

— Там должны быть какие-то сайты тех, кто ухаживает за больными. Или групп поддержки.

— Взгляни сама.

В интернете, похоже, полно пугающих сайтов от людей, которые отказались от своей работы, чтобы попасть в первые ряды громадной очереди за креслами-каталками. Людей, которым нужно проводить вентиляцию легких своему ребенку каждые двадцать минут и которые работают посменно днем и ночью. Людей, которым угнетающий график ухода за больным близким человеком не оставляет времени и сил на любую иную деятельность. Для кого остальная семья, другие дети, любые формы удовольствия должны отойти на второй план.

Что бы мы ни делали в настоящий момент, наша прежняя жизнь закончилась безвозвратно.

— Но не стоит пока терять надежду, — говорит Тобиас. — Я продолжаю искать сайт, где сказано, как в полночь подкинуть вашего ребенка на порог к Сестрам Благовещения блаженной Девы Марии.

Мы смеемся. Шутки между нами превратились в какие-то наши общие секреты. Никто вокруг просто не поймет, как мы нуждаемся в этом «черном» юморе. Те несколько человек, которым мы рассказали о Фрейе, по-прежнему чувствуют себя скованно и неловко с нами — так ведут себя в компании с родственниками недавно умершего человека.

— Нам нужно оставить ее в больнице. Тогда социальные службы автоматически подключатся сами. Они найдут ей приемную семью. Людей, которые на самом деле смогут дать ей ту заботу, в которой она нуждается. Они платят им за это.

— А что, если они будут плохо к ней относиться?

— Они не будут к ней плохо относиться. Те, кто берется ухаживать за детьми-инвалидами, все без исключения замечательные добрые люди.



Я сижу на диване с молокоотсосом, который мне на время дали в больнице. Он тянет молоко, как искусственный рот, жадно и ритмично и никак не насытится.

— Взгляни на этот сайт, Анна. «Дом ребенка» для младенцев и детей. Он выглядит фантастически.

В этом доме есть бассейн для гидротерапии и «сад чувств», полный всяких растений, разных на ощупь и по запаху. Комнаты оснащены самым современным оборудованием. На фотографиях обитатели этого дома сидят возле бассейна в креслах-каталках с электрическим приводом, с высокими подголовниками, которые поддерживают их обвисающую голову.

— Тобиас, это частное учреждение. Содержание ребенка в таком доме стоит более ста тысяч фунтов в год.

Я опускаю глаза на молокоотсос. В бутылочке меня поджидает большой сюрприз: вместо совсем незначительного количества молока, которое мне удавалось сцедить раньше, она заполнена под самое горлышко.

Я ощущаю счастье и гордость, благодарность и ужас — все это одновременно. Еще одно доказательство того, что я мать, еще одни путы, привязывающие меня к этому ребенку.

\* \* \*

Когда мы попадаем в больницу, кровать Фрейи в неонатальном отделении интенсивной терапии, НОИТ, оказывается пустой. Мы в панике: неужели, пока нас не было, с ней произошло что-то ужасное?

Но оказывается, что она просто переехала дальше по коридору в ОСУН — отделение специального ухода за новорожденными. Это означает, что она становится крепче и все дальше уходит от опасности. С точки зрения ухода, это ближе к тому моменту, когда она будет готова к выписке.

Линда, одна из нянечек, говорит, что вчера вечером они пробовали кормить ее из чашки, а «она все ест и ест», так что за минуту съела полную чашку.



Алиса, психотерапевт, показывает мне кое-какие упражнения, которые я могу делать, чтобы помогать Фрейе поддерживать мышечный тонус.

— У деток с церебральным параличом часто бывают очень вялые мышцы, — говорит она.

Волосы у меня на затылке становятся дыбом: впервые при мне упомянут церебральный паралич.

— Мы не любим термин «церебральный паралич», — говорит доктор Фернандес, когда я чуть позже перехватываю ее. — Он не описывает какое-то медицинское состояние — просто собирательный термин, объединяющий в себе ряд симптомов. Но зато это термин, который нам понятен и который мы можем спроецировать в будущее. Возможно, именно поэтому он так не нравится докторам.

Я думаю о том, как буду всю жизнь делать эти бесполезные упражнения, которые все равно никогда не вернут моему бедному ребенку способность осознанно двигаться.

Марта звонит нам каждый день, пытаясь предложить свою любовь и поддержку. Иногда я в настроении отвечать на звонки, иногда — нет.

Я держу на руках свернувшееся вялое тельце напичканной лекарствами Фрейи. Чем больше я думаю о том, чтобы бросить ее, тем труднее и печальнее мне видеть ее и находиться с ней. И тем драгоценнее каждый момент, проведенный с ней вместе.

Мы с Тобиасом сфотографировали ее: никто из нас об этом напрямую не говорит, но оба мы знаем, что это для того, чтобы у нас осталась какая-то память о ней, если нам придется расстаться. Мы уже забрали повязки на запястья, которые завязали ей сразу после рождения, а также каждый клочок бумаги, имевший к ней какое-то отношение, и сложили все это в отдельный файл.

Доктор Фернандес говорит нам, что Фрейя будет готова к выписке через неделю:

— Мы можем подержать ее у себя еще где-то пару недель или около того, если вам требуется время для принятия решения. Но почему просто не забрать ее домой и не порадо-



ваться ей? Сейчас она в самом нормальном состоянии, в каком только может когда-нибудь быть. Если бы вы в данный момент не знали ее диагноза, вы вообще бы не догадались, что с ней что-то не так.

В этом-то, в двух словах, и заключается проблема. Легко говорить о том, чтобы бросить ее, когда ее перед нами нет. Тогда она превращается во Фрейю из медицинских заключений — плохой вариант при любом раскладе. Любить ее, вкладывать свои эмоции — это прямой и верный путь к боли и страданиям.

А затем мы идем к ней под свежим впечатлением от очередного ужасного разговора с медиком, и вот она перед нами — наша красивая, замечательная дочка, пахнущая новорожденным, кожа чистенькая, щечки горят — лежит себе в своей прозрачной пластиковой кровати в ОСУН. Учитывая все катастрофические прогнозы, разговор о политике отказа от реанимации при таком нормальном ее виде кажется эмоционально просто невозможным.

Когда я с ней, я чувствую действие материнского инстинкта. К груди приливает молоко, в животе все встряхивается. Я люблю этого маленького человечка чисто физической любовью. Мне хочется подхватить ее, вырвать из этой плексигласовой колыбели. Хочется кормить ее и ухаживать за ней, баловать ее и потакать любым ее желаниям, забыв о докторах со всеми их прогнозами. Жить этим моментом и притворяться, что все хорошо.

Это-то и приводит в ужас Тобиаса: он боится, что я выжила из ума и буду настаивать на жизни мучеников для нас обоих, заботясь о дочке, которая никогда не выздоровеет. Потому что нам все больше становится очевидным, что в один прекрасный день мы все равно должны будем расстаться с ней: либо она умрет, либо ее физические потребности станут настолько велики, что мы просто окажемся не в состоянии удовлетворять их без того, чтобы не жертвовать всем остальным своим существованием, своими надеждами на других детей, на счастье, на стоящую работу. Какого-то определенного момента, когда мы вдруг перестанем с этим справляться, может никогда



и не наступить, но постепенно мы развалим фундамент наших жизней.

Я пытаюсь кое-что из этого объяснить доктору Фернандес, и она, похоже, приходит в ужас.

— Разумеется, если вы возьмете Фрейю, это должно происходить из того, что вы любите ее, а не потому, что это какое-то непосильное бремя.

Мне кажется невероятным, что она может верить в то, что существует мир, в котором Фрейя *не будет* этим самым непосильным бременем.

— Но что будет, если она умрет? Как я смогу перенести это?

— Я сейчас говорю с вами не как профессионал, но почему бы вам просто не провести немного времени со своим ребенком? — забрасывает удочку доктор Фернандес. — Любите ее, но держитесь немного отстраненно, чтобы можно было безболезненно оторваться от нее, если придет такое время.

\* \* \*

Мы с Тобиасом лежим на нашей собственной кровати. Никому из нас и в голову прийти не может заняться сексом в такой момент, но нам необходим физический контакт. Несмотря на все наши различия, мы оба ощущаем себя так, будто снова влюбились друг в друга. Наверное, во всем виновата любовь к нашему ребенку, которая не может найти выхода.

Тобиас неминуемо возвращается к теме Ле Ражона.

— В этом месте есть что-то... магическое. Оно у меня из головы не выходит. Это такое место, куда можно вложить всю свою жизнь.

— Прежний владелец состарился, пытаясь это сделать, — говорю я. — Это тебя ни на какие мысли не наводит? При том, что ты сам даже гвоздь толком забить не можешь.

Но Тобиас продолжает так, будто и не слышал меня:

— Если мы продадим эту нашу квартиру и добавим деньги от продажи той твоей квартиры, то по закладной за Ле Ражон нам придется платить сущие гроши. Это очень выгодно.

— Но как мы будем справляться даже с минимальной платой по закладной, если Рене не даст мне работу?

— Эй, мои дела с написанием музыки в данный момент идут блестяще. Мой агент утверждает, что режиссеры уже начинают приглашать конкретно меня — работает мое имя. Подумай сама, насколько больше я мог бы сделать в таком спокойном и умиротворенном месте! Где ничто не отвлекает. И в любом случае, это будет продолжаться только до тех пор, пока ты не откроешь свой ресторан и не начнешь им заниматься. Ты умеешь фантастически готовить — я уверен, что твой ресторан будет иметь успех.

Впервые с момента рождения Фрейи я вижу его таким молодым — это опять мужчина, в которого я в свое время влюбилась. Он полон энтузиазма и новых идей. Это единственный мужчина, которому удастся отодвинуть на второй план мою осторожную натуру и благодаря которому я чувствую себя такой же необузданной и свободной, как и он сам.

— Я все-таки не знаю, — говорю я. — Ребенок...

— Мы должны признаться самим себе, что с этим ребенком произошла катастрофа. Не нужно заблуждаться: она никуда не поедет. Сейчас тебе может даже нравиться менять ей пеленки, а что будет через пять лет? Или через десять? По крайней мере, живя там, я не буду ощущать себя так, будто пеленки и подгузники — это все, что будет нас ожидать до конца жизни.

Я ничего не говорю. Думаю про себя: я *должна* забрать ее домой. Она мне необходима. Хотя хорошо понимаю, что это чревато опасностями, и боюсь, что, даже если Тобиас сможет отрезать себя от нее, сама я потеряюсь, расплывусь в любви — и как же я после этого смогу бросить ее когда-нибудь?

А он продолжает рассуждать:

— Если я соглашусь все-таки на этого ребенка — я имею в виду, только на сейчас, на будущее я ничего не обещаю, — сможем ли мы с тобой договориться, чтобы все это произошло в Ле Ражоне? С тем, чтобы в нашей жизни имели место и разные другие вещи? Ты всегда хотела быть сама себе боссом.



А я всегда хотел раздвинуть свои творческие горизонты как композитор. Как насчет такого варианта? Нырнем в это безумие по максимуму, чтобы посмотреть, куда оно нас вынесет?

Фрейя может слышать. В том шикарном доме инвалидов, который мы не можем себе позволить, есть такое большое дело, как «сад чувств», полный разных запахов и звуков. А что представляет из себя поместье Ле Ражон, как не громадный «сад чувств»?

— Хорошо, — медленно говорю я. — У меня тоже есть к тебе предложение: я забираю ее из больницы, а ты перевозишь всех нас в этот безумный дом.

— Анна! Ты просто прелесть! Это абсолютно верное решение, ты сама в этом убедишься.

Я по-прежнему горюю по своему аккуратному домику в Провансе, по полям лаванды, по лазурному морю. Это гораздо более грубый вариант: дикость природы, ветра, поросшие кустарником скалы и каменистый грунт. Но всего несколько дней назад Тобиас вообще отказывался забирать Фрейю домой. А это место каким-то образом уже начало менять его.

\* \* \*

Мой утренний ритуал — упаковать сумку в больницу: молокоотсос, батончики мюсли, купленные по рецепту болеутоляющие, тампоны для груди. Положить сцеженное молоко на лед. Вынуть детские ползунки из стиральной машины и развесить сушиться. Выполнить одно или два дополнительных действия: заполнить посудомоечную машину, запустить стирку, убрать в гостиную, приготовить что-то на ужин — просто чтобы почувствовать себя очень занятой. Затем ринуться в больницу и оставаться с моим ребенком.

Наших друзей и родственников нельзя уже больше держать на расстоянии, и это еще больше напрягает обстановку. Каждый день приносит новый визит к нам в больницу.

На Фрейю наблюдается два стандартных вида реакции. Первый: «С ней точно будет все не так плохо, как об этом го-

ворят доктора». Второй: «Она очаровательна и такая». Ни тот, ни другой настроения мне не улучшают.

Иногда у меня спрашивают, как я себя теперь чувствую, и такие вопросы пугают меня больше всего.

Я бы с радостью объяснила им: «В данный момент я вообще ничего не чувствую, потому что если бы чувствовала, то не разговаривала бы сейчас с вами, а валялась бы ничком, убитая горем». В общем, в компании от меня одни проблемы.

— Мы думаем, что Фрейя проживет недолго, и считаем, что так будет даже лучше для нее, так что настроены в этом вопросе философски, — беззаботно заявляю я, подсовывая своему ребенку бутылочку.

Время от времени я мельком замечаю выражение лиц людей, ошарашенных такими словами, и чувствую себя очень одинокой.

Мать Тобиаса живет в Южной Африке с его отчимом и целой оравой его сводных братьев и сестер. Они прилетают на самолете, устраиваются в близлежащем отеле и настаивают, чтобы мы сходили с ними со всеми куда-нибудь поужинать.

Я их едва знаю, и сейчас не самый удачный момент для налаживания отношений. Их загорелые лица озабочены, и по ним видно, что они не адаптировались к другому часовому поясу. Прежде чем я успеваю что-то сообразить, разговор заходит о Фрейе, и я снова попадаю впросак.

— Возможно, самым лучшим вариантом было бы, если бы мы на полгода окружили ее своей любовью, а потом она бы с миром умерла, — слышу я свои слова как бы со стороны.

Все глубокомысленно кивают на это, а я только теперь понимаю, что для меня это был бы самый ужасающе опустошительный сценарий из всех возможных.

Мои эмоции напоминают некий тонко откалиброванный измерительный прибор, который настолько зашкаливал за расчетные пределы своей работы, что в нем перегорел какой-то главный предохранитель. Мне не на что больше ориентироваться, и теперь я лечу вслепую, без всяких навигационных приборов. В результате этого я оказываюсь уязвимой для



разных вещей, от которых в нормальных условиях я была бы защищена — взять, например, хотя бы переезд в этот совершенно неподходящий дом во Франции.

Я втайне надеюсь, что сорвется либо продажа нашей квартиры здесь, либо покупка Ле Ражона. Но Тобиас превратился в настоящую динамо-машину, которая крутится ровно и неутомимо, да еще на такой скорости, от которой захватывает дух. Он выставил на продажу нашу квартиру и при этом умудрился преуспеть в том, чтобы еще больше сбить и так уже смехотворно низкую цену на Ле Ражон. По каким-то непонятным причудам лондонского рынка недвижимости район Нью-ингтон Грин, который десять лет назад, когда мы покупали здесь квартиру, считался чуть ли не захолустьем, теперь определенно широко востребован.

Моя мама начала звонить мне каждый день. Она вроде бы поначалу и не говорит о переезде, но разговор в конце неминуемо упирается в эту тему.

— Дорогая, а как ты считаешь, Тобиас счастлив?

— Ну, у нас обоих бывали времена и получше. Он в порядке, насколько это возможно в данных обстоятельствах.

— Просто... ты говоришь, что это он хочет, чтобы вы переехали в это странное место во Франции... В общем, я подумала, что у мужчин есть определенные *потребности*, а после рождения ребенка женщина вовсе не обязательно хочет...

— Честно говоря, мама, могу с абсолютной уверенностью утверждать, что наш переезд во Францию никоим образом не связан с моей сексуальной несостоятельностью как супруги.

— Дорогая, я уверена, что, если бы он был более *реализован*, он бы остался здесь. Я припоминаю, что твой папа тоже порой выступал с довольно странными идеями, когда чувствовал себя немного... лишенным внимания. Мужчинам необходимо успокаивать свое эго.

\* \* \*

— Давай зайдем в паб, — говорит Тобиас.

— Господи, нет, я слишком измотана.



— Ой, брось, столько времени уже прошло с тех пор, как мы где-то выпивали с нашими друзьями.

Сама толком не понимая, зачем я это делаю, я заставляю себя пойти с ним в паб. Когда мы заходим туда, среди наших друзей повисает неловкое молчание, а потом возобновляется сбивчивая непоследовательная беседа. Так бывает, когда все с нетерпением ждут твоего ухода, чтобы обсудить тебя за твоей спиной.

Тобиас, похоже, совершенно беспечен: он болтает с Салли — его подругой-режиссером, которая с энтузиазмом отзывается о его работах и которую я всегда подозревала в том, что она для него значит несколько больше, чем просто приятельница. Он написал музыку к некоторым ее короткометражным фильмам. Сейчас она работает над полномасштабной экранизацией «Мадам Бовари».

Салли в восторге оттого, что мы переезжаем в место, которое она называет «*la France profonde*»<sup>1</sup>. Вскоре она уже обещает, что, если Тобиас заставит своего агента подать его кандидатуру на конкурс, она, со своей стороны, серьезно поднажмет на своих боссов, чтобы они пригласили его писать саундтрек к этому фильму, после чего страдания Эммы Бовари во Франции девятнадцатого века настолько захватывают Тобиаса, что я начинаю вообще сомневаться, доберемся ли мы когда-нибудь до постели.

— У меня хорошее предчувствие в отношении этого фильма, — позднее говорит Тобиас. — Нормальный полнометражный фильм. Конечно, заплатят мне только через несколько месяцев. В конце концов, деньги там будут приличные. Но самое главное заключается в том, что это может стать моим творческим прорывом. — Он ухмыляется. — Это наглядно продемонстрирует, что жизнь в Ле Ражоне будет только на пользу моей карьере.

— О моей карьере этого с такой уверенностью не скажешь, — с обидой бросаю я.

---

<sup>1</sup> Французская глубинка (фр.).



— С ней тоже все будет отлично, вот увидишь. Все как раз сходится, один к одному. Как оно и должно быть.

\* \* \*

Звонит агент по продаже недвижимости: поступило великолепное предложение по нашей квартире: покупатель платит наличными, никаких посредников. Единственная заморочка в том, что они хотели бы переехать уже в следующем месяце.

— Для нас это означает переезд во Францию в феврале. Ох, Тобиас, нам нужно отклонить это предложение. Мы просто не успеем все сделать.

— Все нормально — я уже поговорил с продавцом Ле Ражона. Он говорит, что нет никаких проблем: он уже начал ремонт. Мы можем подписать окончательный контракт и переехать через пару недель после того, как внесем задаток. На этой неделе я мотнусь во Францию, чтобы подписать *compromis de vente* и заплатить ему десять процентов. Проще пареной репы.

Я даже спорить не могу. Переехать во Францию было, в первую очередь, моей идеей, а теперь кажется, что сама судьба толкает нас туда.

\* \* \*

Тобиас постоянно откладывает прохождение техосмотра своей машины. Мне кажется, я догадываюсь, почему: техосмотр стал для него ассоциироваться с тем, что мы забираем Фрейю домой.

Я беру это в свои руки и звоню нашему другу Эду, у которого станция техобслуживания и гараж. Я сразу понимаю, что он уже в курсе наших новостей. О ребенке он не упоминает, а в решении нашего вопроса не видит проблем.

— Конечно, — говорит он, — я запишу вас на завтра.

— Даже не знаю, как я смогу все это пережить, — перед ухом говорит Тобиас. Он имеет в виду Фрейю.

— Мы можем не принимать окончательного решения, пока не выйдем за порог больницы, — говорю я. — До этого времени можно передумать в любую секунду.

Через пару часов звонит мой мобильный.



— У меня есть хорошие и плохие новости, — говорит Тобиас.

Я жду. Похоже, что в данный момент «хороший» и «плохой» для меня понятия почти родственные.

— С машиной — полный облом. Чтобы она прошла техосмотр, придется заплатить восемьсот фунтов.

— О нет!

— А хорошая новость состоит в том, что за эти же восемь сотен я только что купил кабриолет.

— Господи, ну что за кабриолет можно купить за восемьсот монет?

— Что ж, выгляни в окно и сама увидишь.

На улице довольный собой Тобиас позирует на капоте булычно-зеленого «Воксхолл Астра» неопределенной модели и с кучей вмятин.

— Эд пытался подбить меня на покупку «Гольфа» в очень хорошем состоянии у одного заботливого хозяина. Но это было так уныло. Как будто я уже сдался и решил помереть. А он все твердил: «Эта “Астра”, может, и хорошая машина, но про ее предысторию я ничего не знаю. Я бы предпочел продать ее кому-нибудь не из таких близких знакомых».

Это так похоже на Тобиаса! Я смеюсь глубоким радостным смехом, который начинается где-то в животе, а потом отзывается в горле гортанным булькающим звуком.

— Да ты просто удачливый оболтус.

— Набрось пальто, прокачу тебя с ветерком.

Мы едем с откинутой крышей. Холодный воздух обжигает и бодрит, как после погружения в ледяную воду.

— Безумство по максимуму? — говорит Тобиас, словно делает предложение. Голос его звучит серьезно, но глаза блестят, как когда-то раньше.

— Безумство по максимуму, — соглашаюсь я.

\* \* \*

В больнице мы дожидаемся документов на выписку с заключением, где указаны все нарушения в мозге Фрейи.



— Такого длинного заключения я не печатала уже очень и очень давно, — говорит нам секретарша.

Нянечки очень трогательно выстраиваются в очередь, чтобы попрощаться. Все они говорят примерно одно и то же: «Надеемся, что у вас во Франции начнется замечательная жизнь».

— Фрейю здесь очень любят, — говорит доктор Фернандес. — Иногда самые... тяжелые детки больше всего западают нам в сердце. — Она улыбается мне. — И знаете, вы не должны недооценивать ее достижений здесь.

Какие еще достижения? Фрейя уже выпадает из всех норм развития для обычных детей. Ее глаза не движутся так, как они должны двигаться за изображением, шейка у нее слишком слабая, она не различает лиц. Но доктор Фернандес имеет в виду совсем уж простые вещи: она сосет из бутылочки и дышит без искусственной вентиляции легких.

Мы несем Фрейю в детском автомобильном сиденье в наш потрепанный кабриолет. Тобиас настаивает, чтобы мы ехали с опущенной крышей.

— Подмораживает. Она простудится.

— Чепуха, погода очень солнечная.

Я укутываю Фрейю, как какого-нибудь эскимоса — комбинезон, шерстяная шапка, плюс куча одеял, — и мы едем. Ледяной ветер впивается мне в волосы, но слабенькие лучи зимнего солнца вливаются в меня, как жидкая жизнь.

# Февраль



Когда я была маленькой, я часто представляла себе, что моя кровать — это корабль, на котором я отправилась в плавание. Теперь, став молодой мамой, я играю в ту же самую игру. Каждое утро, после того как Тобиас в спешке вскакивает с постели, я забираю Фрейю из ее плетеной корзинки-кроватьки, пристраиваю рядом с собой в пуховом одеяле, и мы отправляемся в путь. Мы пересекаем разные континенты, плывем по морям с темными, как густое вино, водами. Она — весь мой мир, а наше путешествие посвящено его открытию.

Она делает изящные движения ручкой, изысканные, как редкие орхидеи в заоблачных диких лесах. Выражение ее личика меняется, как капризы погоды. Мне нравится та серьезность, с которой она пьет молоко из бутылочки, этот сосредоточенный взгляд ее серовато-зеленых глаз, устремленный куда-то за тысячу миль отсюда. Она наелась, напилась и лишилась сил, тогда я наклоняю ее вперед, чтобы она срыгнула, а ее ручки инстинктивно выбрасываются вперед, как у детеныша обезьяны, хватающегося за свою маму. Когда мы засыпаем, она подплывает ко мне. Я никогда не видела и не чувствовала, чтобы она двигалась, но когда я открываю глаза, она лежит, свернувшись калачиком у меня под мышкой, а простыня в том месте, где на нее сочилось молоко из моей груди, мокрая.

Это мой собственный, родной ребенок, и он совершенен. Я абсолютно удовлетворена и довольна.

Но затем в голове моей срабатывает переключатель, и диагнозы врачей внезапно становятся жуткой реальностью. Я прижимаюсь к ней и плачу минуты, а то и часы напролет.



Этот мой переключатель либо включен, либо выключен. Когда я довольна, я и представить себе не могу, что может быть как-то по-другому. Когда я в смятении, страданиям моим нет конца.

После приступа рыданий я некоторое время пребываю в спокойствии. В такие моменты я пытаюсь проникнуть в сознание Фрейи, представить себе ее внутренний мир. Но это слишком сложно для меня. Каково это, когда у тебя две половинки головного мозга не связаны между собой? Она не поддерживает визуальный контакт, ее глаза — два бездонных омута.

Я прислушиваюсь к ее хриплому дыханию и думаю о том, что я буду делать, если дыхание это вдруг прекратится. В каком-то смысле это будет самый простой выход. Но с другой стороны — невыносимо. Мы лежим с моим ребенком в мягкой утробе постели и прячемся от внешнего мира.

\* \* \*

Тобиас продолжает мотаться во Францию. Он никогда не жалуется, что едет туда один: похоже, он даже рад скрыться от нас. Он подписал окончательный договор на продажу, а теперь следит за работами, которые выполняет владелец дома, и уверяет меня, что там все идет гладко. Меня это интересует лишь в том смысле, что там будет жить мой ребенок.

Заходят и выходят мужчины, которые занимаются нашим переездом — они вынесли из квартиры уже практически все наше имущество. Мы отдали им ключи от Ле Ражона. Они доставят все это туда за день до того, как приедем мы.

Тобиас хочет погрузить всю свою музыкальную аппаратуру в «Астру» вместе с нами, но в багажнике для этого не хватает места. Он бегаёт вокруг и озабоченно кудахчет, как квочка, когда они пакуют его крутой Apple iMac, MIDI-клавиатуру, его драгоценные микрофоны и бесчисленное количество всяких проводов и компьютерных коробок.

— Неплохой комплект, — говорит один из грузчиков.



— Эй, поосторожнее, у вас в руках сейчас аудиоинтерфейс RME Fireface, — стонет Тобиас. — Он один стоит больше тысячи. И в его памяти записано все, что у меня есть. Все мои средства к существованию.

Я смотрю, как передо мной проносят всю мою прежнюю жизнь, но не могу проникнуться значимостью этих вещей. Мои любимые книги — энциклопедия «Ларусс гастрономик» и «История приготовления пищи» Магелон Туссен-Сама — обе подарены Тобиасом — оказываются в разных коробках без опознавательных знаков. Профессиональная плита «Lacanche Range», предмет моей гордости и радости, вообще не едет с нами: мы вынуждены оставить ее новому владельцу. В другом мире это было бы для меня серьезной психологической травмой. Но сейчас я почти не обращаю на это внимания.

Я должна была бы составить список вещей, которые мы берем с собой. Должна была бы строить планы на новую жизнь и новую профессиональную карьеру. По самой меньшей мере я должна была бы готовиться к долгому путешествию с хрупким младенцем на руках: продумать, что ей может понадобиться, выписать номера экстренной медицинской помощи и адреса больниц в населенных пунктах по ходу нашего маршрута. Вместо этого я сдаюсь на милость переполняющей меня апатии и усталости. Я досажую на каждую минуту, проведенную без Фрейи, на все, что непосредственно не связано с ее физической сущностью. Мои эмоции приглушены, как будто мой внутренний мир тоже уже запакован. Этот переезд не беспокоит меня, потому что я не могу поверить в его реальность в еще большей степени, чем эмоционально поверить в то, что с моим ребенком что-то не так.

На следующий день на рассвете мы уезжаем во Францию. Я клюю носом, но чувствую едва различимый рывок, когда Фрейя тянется к моей груди. Открыв глаза, я обнаруживаю, что она смогла поймать сосок и сейчас довольно его посасывает.



Это замечательное ощущение! Когда у нашей собаки были щенки, она укладывалась на спину и давала им сосать свою грудь, и было видно, что ей больше ничего в жизни не надо. Я сейчас чувствую то же самое: ничто на свете не имеет никакого значения, кроме этого пульсирующего ротика. Когда она серией жадных глотков тянет молоко из моей груди, глазки ее закрываются от удовольствия.

Тобиас, который застает нас в таком блаженном состоянии, приходит в необъяснимую ярость.

— Я не хочу, чтобы мы с тобой были похожи на семейство воробьев, воспитывающих кукушонка, — неистовствует он. — Мы должны отдать ее обратно.

— Отдать ее обратно? Ее — *обратно*?! Кому?!

\* \* \*

Мы встаем рано и запаковываем те немногие вещи, которые грузчики еще не забрали из нашей квартиры. В нашу «Астру» уже мало что поместится: плетеная корзинка-кровать Фрейи, ее комбинезончики, пеленки, молокоотсос и аппарат для стерилизации бутылочек, да еще один чемодан с одеждой ставим между мной и Тобиасом. Все, что осталось от моего кухонного оборудования, — это две тарелки, две чашки, два стакана, кое-что из столовых приборов, нож, подаренный мне отцом, да несколько сковородок. Я заворачиваю все это куцей в скатерть, как на пикнике. Только теперь я вдруг вспоминаю, что не освободила холодильник. Я засовываю пластиковые контейнеры с моими домашними полуфабрикатами под детское сиденье Фрейи. В Дувре мы вдруг паникуем и затариваемся успокаивающе знакомыми британскими продуктами: чаем в пакетиках, беконом, свежим молоком, сыром чеддер, «Мармайтом»<sup>1</sup>, «Нутеллой» и хлебом с отрубями. После этого мы отправляемся через Ла-Манш к жизни, которую, по моим собственным словам, я всегда хотела.

---

<sup>1</sup> Питательная белковая паста производства одноименной компании; используется для приготовления бутербродов и приправ.



\* \* \*

Мы приезжаем в Ле Ражон очень поздно. Вокруг буйствует буря: зеленые дубы хлещут в нашу сторону своими ветками, а порывы ветра ревут, словно драконы, пролетающие у нас над головой.

Не выключая мотор и отопление в машине, мы оставляем крепко спящую Фрейю на заднем сиденье: здесь нам кажется безопаснее.

Передняя дверь кое-как отремонтирована, и на ней болтается большой висячий замок. Все наши пожитки в коробках стоят горой посреди гостиной. Дождь выбивает барабанную дробь на листах рифленого железа, которое прежний хозяин использовал, чтобы залатать крышу. В доме холодно так, как может быть только в здании с каменными стенами метровой толщины. Когда переступаешь порог, кажется, что мороз хватает тебя за горло, обнимает своими ледяными руками, вдывая зябкую сырость в твои кости — как будто тебя заживо похоронили в промозглой могиле.

— Продавец даже толком не отремонтировал крышу, — со стоном жалуюсь я Тобиасу. — Я думала, что ты должен был проследить за этим. И тут так холодно!

— Холодно, потому что здесь никто не жил, — говорит Тобиас. — Разведем хороший огонь, и дом быстро нагреется.

Мы пытаемся разжечь очаровательную плиту в стиле «ардеко» — «настоящий оригинал», как говорит Тобиас. Но она, немного потужившись и помучившись с сырыми дровами, в конце концов затухает. Мы пробуем развести огонь в большом, как в замке какого-нибудь барона, открытом камине в другом конце гостиной, но из трубы вырывается только облако черного дыма, а также вываливается огромная масса сажи и еще что-то, напоминающее птичье гнездо.

— Мы не можем больше держать Фрейю в машине, — говорю я. — Я принесу ее сюда.

Я приношу ее в гостиную прямо в детском автомобильном сиденье и оглядываюсь по сторонам в поисках места, куда его



поставить. Я никак не могу найти его среди мусора и наших коробок. Сдавшись, я опускаю сиденье рядом с холодной печкой. Она сидит там, свесив головку на одну сторону, как воробышек, покалеченный кошкой. Вскоре Фрейя начинает чихать сериями по четыре раза, очень регулярно и аккуратно каждые две минуты. Я перекладываю ее в плетеную кроватку и укрываю одеялами, но чиханье продолжается. Гипсовая мадонна смотрит на нее из своей ниши печальным потупленным взглядом.

— Послушай, это чертов дом уже простудил ее.

— Ох, что за чепуха, на это просто не было времени! Она, должно быть, подхватила простуду в машине.

— Что ж, тогда это произошло в этой жуткой машине, которую ты купил по глупости и в которой на нас все четырнадцать часов, пока мы ехали, капала дождевая вода. Слава Богу, что она хотя бы не сломалась посреди дороги.

Мы с Тобиасом встаем друг перед другом в боевую стойку, как пара боксеров.

— Прости. — Я заставляю себя сказать это, но никакого раскаяния не чувствую. — Приготовлю что-нибудь поесть.

Для этого мне только нужно разогреть пару моих готовых блюд в пластиковых контейнерах, и мы сможем цивилизованно поесть горячий ужин в нашем новом доме.

Я захожу на кухню.

Здесь все какое-то промозглое и засаленное. Тусклый свет маломощной лампочки без абажура отбрасывает по углам пугающие тени, словно там кто-то прячется. У дальней стены стоит поржавевший холодильник, не включенный в сеть. Когда я открываю его плохо прилегающую металлическую дверцу, оттуда ударяет зловонный запах крыс и медленного разложения. Под треснутым окном расположена позеленевшая и отвратительно грязная керамическая мойка, рядом — жирная печь для выпечки хлеба, шаткий деревянный стол и какие-то примитивные полочки. Здесь нет электрической плитки или духовки, нет ни единой поверхности, куда бы я отважи-





лась положить еду. Стол, полки, мойка — все они покрыты россыпью небольших черных шариков.

— Тобиас! Это просто омерзительно! Здесь полно мышей! Взгляни — они здесь повсюду!

Тобиас смотрит на черные катышки и хмурится.

— Я не уверен, что это мыши. Может быть, просто комочки какой-то грязи. Утром мы все почистим.

Вдоль одной стены тени обрываются в темноту.

— Здесь какой-то проем, — говорю я.

— Я же рассказывал тебе, — говорит Тобиас, — тут арка с проходом в ту, действительно холодную пристройку. Я покажу тебе — здесь где-то должен быть выключатель.

Он пытается ощупью найти его в темноте, а я стараюсь сохранить самообладание в этой комнате с неопределенными границами без четкого начала и конца, которые теряются в густых тенях.

Затем к жизни возвращается еще одна маломощная лампочка. Мы смотрим в узкое треугольное пространство, которое заканчивается окном с четырьмя стеклами, где перед каменной мойкой висит уродливый мясницкий крюк.

— Я думаю, что это кухня для дичи, — говорю я. — Чтобы подвешивать туши убитых животных.

Тобиас обследует арку.

— Тут по бокам видны крючки для петель — здесь когда-то была дверь.

— Пол покрыт снегом.

— Не говори глупости. При такой температуре этого просто не может быть.

Я снова смотрю вниз.

— Нет, это маленькие белые шарики. Полистирол. Потолок и стены выложены им. Что могло привести к тому, что он так обвалился?

Пока я вглядываюсь в тускло освещенную комнату, пытаюсь сообразить это, тени выстраиваются в размытые очертания.

— Ой! Тобиас! Быстрее сюда!



— Что?

— Смотри — вон там!

Тобиас заглядывает через дырку в потолке:дохлаямышь.

— Рот у нее забит полистиролом, — с интересом говорит Тобиас. — Она, похоже, хотела прогрызть себе проход и стала слишком толстой, чтобы пролезть в него.

— Мне дела нет до того, что она там делала. Завтра утром первое, что мы сделаем, это проведем в этом мерзком доме большую капитальную уборку.

— Ладно-ладно, но только при условии, что сначала ты дашь мне немного поспать. Пойдем, я уже не хочу есть. Давай сразу отправимся в кровать.

Я несу Фрейю, которая крепко спит в своей плетеной корзинке, наверх, в нашу спальню. Мы лежим рядом с ней на надувном матрасе, прислушиваясь к скрипам и каким-то зловеющим скребущим звукам, как будто у нас над головой узники в цепях волочат по полу металлические сундуки.

— Это просто старый дом. Все образуется, — говорит Тобиас.

Дом этот всю ночь скрипит, как галион под парусами. Три или четыре раза нас будит пронзительный шипящий звук.

— Пойди и посмотри, что это, — шепотом команду я.

— Черта с два, и не подумаю, — в ответ шепчет он. — Это, очевидно, какое-то шипящее привидение. Если хочешь узнать точно, пойди и посмотри сама.

\* \* \*

Фрейя будит нас задолго до рассвета. Тобиас спускается вниз распаковывать стоящие в гостиной ящики. Я лежу в постели с Фрейей на груди, смотрю, как она дышит, считаю ее реснички, вглядываюсь в мягкий контур ее щеки. Пока весь дом просыпается, мы с ней вместе незаметно вновь погружаемся в сладкий сон.

В десять часов меня будит запах кофе. Я открываю дверь в крытый деревянный переход, и в пахнущую плесенью спальню проникают солнечные лучи и пение птиц.

День просто замечательный: ясный и сияющий, на улице — ни ветерка. Во дворе распустились подснежники и зимние крокусы. Я выхожу из двери на мостик перехода. Отсюда открывается вид на голубые и фиолетовые холмы; природа кажется нежной и пронизанной любовью, как никогда. «Мы, — говорю я себе, — будем с Тобиасом часто выходить сюда, чтобы на этом мостике-балконе вдвоем завтракать и наслаждаться чудесным видом».

Я провожу ладонью по гладким деревянным перилам и чувствую под пальцами шероховатый участок. На дереве вырезано имя: «Роза». От этой находки странно веет чем-то сокровенным. Это знак, что еще кто-то уже наслаждался красотой этого места, приходил сюда, возможно, таким же утром, как сегодня, охваченный какими-то своими мыслями и заботами.

Когда я спускаю Фрейю в ее плетеной корзинке вниз, то вижу, что один угол гостиной уже расчищен от упаковочных ящичков, плита «ар-деко» отдраена до блеска, и на ней бодро дышит паром синий жестяной кофейник.

— Тобиас! Ты просто прелесть! Как тебе удалось разжечь эту печку?

На лице у Тобиаса появляется выражение скромного самодовольства, но в этот момент входит Лизи с полной охапкой дров. Я так удивлена ее появлением, что ко мне не сразу возвращается дар речи.

— О, добро пожаловать! Простите, что меня не было здесь вчера, чтобы встретить вас, — говорит она. — Я уже не ждала вас — было очень поздно. Я почистила тут плиту. А дымовая труба была забита *массой* всяких ненужных вещей.

— Лизи. Я... я не ожидала. Во всяком случае, мне думалось...

Тобиас немного уводит меня в сторону.

— Лизи продолжает искать себе другое жилье, — полушепотом шипит он.

Я таращу на него глаза.

— Да все нормально, — говорит Лизи. — Если хотите, я могу уйти прямо сейчас. Чуть дальше в долине есть люди, которые



хотят, чтобы я жила с ними. Но Тобиас, похоже, решил, что будет полезно, если я еще недельку-другую поживу здесь, чтобы помочь вам обустроиться на новом месте. Это он попросил меня.

Теперь настает очередь Тобиаса выразительно таращиться на меня.

— *Прошу вас, Лизи, не торопитесь уезжать,* — говорит он. — Вы показали себя таким молодцом! Я себе даже представить не могу, как бы я успел столько всего сделать за такое короткое время без вашей помощи. В конце концов, Анна действительно бо́льшую часть всего этого взвалила на меня.

Наступает молчание, и только я открываю рот, как Тобиас быстро показывает на целый набор винных бутылок, пыльных и без этикеток, которые выстроились на обеденном столе в гостиной.

— Посмотри на это. Все утро с окрестных ферм сюда заезжали наши соседи. Каждый из них привез по паре бутылок своей собственной домашней выпивки к нашему столу. Остаться никто не захотел. Как они узнали, что мы уже здесь, я понятия не имею.

— Все уже знают, что вы здесь, — говорит Лизи. — К тому же сегодня день *chasse*<sup>1</sup>. А все местные — охотники. Они припарковались тут же на своих *quatre-quatre*. — Тобиас вопросительно смотрит она нее, и она добавляет: — На своих внедорожниках.

Кто-то тарабанит в дверь.

— Еще один, — говорит Тобиас.

Фрейя вздрагивает и, проснувшись, начинает хныкать.

— Я открою, — говорю я, — а ты, бога ради, возьми, в конце концов, на руки свою дочь.

В дверях стоит небольшого роста мужчина. Из-за своей большой кожаной охотничьей шляпы он кажется еще ниже, как будто на голове у него надета кастрюля.

---

<sup>1</sup> Охота (*фр.*).

— Здравствуйте, я ваш сосед. — С этими словами он молодецато выпрямляет спину и расправляет плечи, как солдат на параде. Рука его при рукопожатии на ощупь напоминает деревянную, но в глазах сверкает какой-то непонятный огонек. — А еще я — ваш арендатор, — добавляет он. — Я имею право выращивать овощи на вашем огороде. Меня зовут Людовик Доннадье.

Он картинно снимает шляпу и достает две бутылки вина без этикеток.

— Заходите, пожалуйста, — приглашаю я.

Он ступает за порог и сразу смотрит на Фрейю, которая шатко балансирует на колене у Тобиаса. Взгляд у него быстрый и ясный, как у дикого зверя.

— Ваш первенец? Помню, что я держал младенца точно так же: не знал, как это делается, так что просто посадил его на колено, как вы, и при этом очень гордился собой.

— Хотите кофе? — спрашиваю я.

— Кофе? Хм-м...

— Может быть, *petit apéro*?<sup>1</sup> — предлагает Тобиас на смеси английского с французским.

— *Mais oui, un apéro, volontiers!*<sup>2</sup>

Я беру одну из его бутылок и наполняю наши стаканы. Он устраивается за столом и потягивает свой семейный напиток. Вино у него вязкое от сладости.

— Где вы живете? — спрашиваю я, чтобы поддержать разговор.

— В Рье — это деревня на полпути к вершине холма. Последнее бунгало. Если что-то нужно — заезжайте. Без колебаний.

Из-за сильного акцента я едва могу разобрать, что он говорит.

— Это очень любезно с вашей стороны.

— Вы хорошо говорите по-французски, — говорит он. Но потом добавляет: — Как будто вы с севера. — При этом он странно поднимает брови и уголки рта одновременно.

---

<sup>1</sup> Небольшой аперитив? (фр.)

<sup>2</sup> Да, конечно, аперитив, с удовольствием! (фр.)



— Но страна ведь одна и та же, я полагаю.

— Это *Pays d'Oc*<sup>1</sup>. Наш родной язык — окситанский, а не французский. И у нас свои собственные обычаи.

— Вы строитель? Или фермер?

— Я *payсан*<sup>2</sup>, я хожу по земле. Ваш муж не понимает по-французски? Вы должны перевести это для него.

— Хорошо, — говорю я. — Попробую. Тобиас, он хочет, чтобы я переводила тебе, когда он будет говорить. Он говорит: *«Хозяин Ле Ражона — мой дядя, это поместье столетиями принадлежит нашей семье. Мы выращиваем на склонах разный виноград и давим вино в прессах...»* Стоп, этого быть не может, разве нет? Никто нам об этом не говорил... ой... *«до восьмидесятих...»* Он, должно быть, путает времена глаголов. Господи, его наречие очень трудно понять. *«Но Евросоюз платит... чтобы выкапывали виноградную лозу. Вино здесь недостаточно высокого качества; почва... она слишком...»* Я уверена, что именно «слишком» — твердая, что ли? Тяжелая? *«Почва — она жестокая хозяйка. Вы должны научиться обращаться с ней. Иначе она ломает вас, как ломала нас на протяжении бесчисленных поколений».*

— А что, люди действительно говорят именно так? — спрашивает Тобиас. — Я имею в виду, таким языком, как в каком-нибудь сельскохозяйственном романе.

— *«Никто не хочет купить этот дом. Он обладает темной энергией благодаря своей истории. Это вино хорошее: я делаю его из своего собственного винограда — держу несколько виноградников ниже по склону. Это хорошая лоза, ей более ста лет. За ней ухаживал еще мой дедушка. Это красный виноград. Я собираю его вручную, чтобы делать белое вино. Я кладу в него много сахара. Я рекомендую пить его с... sirop de fraise...»* Это, кажется, малиновый... нет, клубничный сироп. Должно быть, просто отвратительно на вкус. *«Он придает вину замечатель-*

<sup>1</sup> Окситания (фр.) — название исторической области на юге Франции и небольшой части Испании.

<sup>2</sup> Крестьянин (фр.).

ный цвет». Тобиас, не думаю, что я так уж хороша в качестве синхронного переводчика. Можно я прекращу это дело?

— Нет-нет, у тебя отлично получается! Это действительно очень важные вещи. Попроси его рассказать историю этого дома.

Но для себя я решаю, что предпочла бы не знать мрачную историю этого поместья.

— Ох, он опять продолжает. *«Что вы будете делать с водой?»*

— С водой? — удивленно переспрашивает Тобиас. — Она вроде как пока течет из крана. А что, есть какие-то проблемы?

— *«У вас тут нет водопроводной воды. Есть только дождевая вода. Как вы будете поливать свою землю?»* Я вовсе не уверена, что нам необходимо поливать нашу землю, так ведь, дорогой? Сказать ему это?

Но когда я говорю это Людовику, он чудом умудряется не захлебнуться вином из своего стакана.

— Он тут выдает что-то вроде тирады: *«Всю землю в округе покупают посторонние. Вся молодежь уезжает отсюда. Теперь только старики знают, как работать на земле. А молодые уже не могут позволить себе вернуться сюда и остаться здесь жить»*.

— Скажи ему, что все это очень печально, — говорит Тобиас. — Но, по-видимому, на первом месте тут стоит то, что местные продают им свою землю.

— Ох, дорогой, он начинает немного сердиться. *«Предыдущий владелец Ле Ражона отказался продавать его местному жителю за разумную цену. Конечно, он знал, что может продать поместье иностранцам, которые не знают здешних цен и которые не будут ухаживать за землей. Разумеется, я не имею в виду конкретно вас. Так каковы ваши планы?»*

— Ну, мы собираемся попробовать постепенно отстроить дом.

— *«Я говорю не про дом»*. Он имеет в виду землю! *«У вас здесь участок в десять гектаров. Что вы собираетесь делать с этими полями ниже вашего дома?»*

— Полями? Эти клочки земли, заросшие кустарником? Я не знал, что они были полями.



Людовик Доннадье допивает свой стакан одним раздраженным глотком.

— Наши предки несколько поколений строили тут террасы и делали это голыми руками. Они знали каждый камень на своей земле. А сейчас никто землю не поддерживает. В ближайшие двадцать лет вся их работа пойдет насмарку.

\* \* \*

Остаток утра мы с Тобиасом проводим, работая на кухне. Мы сдираем полистирол с потолка.

— Тут под ним отличная древесина, — говорит Тобиас, имея в виду открывшиеся голые половые доски, в щели между которыми пробивается свет.

Вдвоем мы вытаскиваем холодильник наружу.

— Купим новый, — говорит Тобиас, — и еще газовую печку, чтобы продержаться, пока у нас не появится хорошая плита.

Он разводит костер и палит в нем кучи мусора, в то время как я драю все поверхности на кухне с мылом и моющим средством.

\* \* \*

Под слоем грязи в нашей кухне мы раскапываем незамысловатую, но вполне приемлемую комнату. Стены все еще шершавые от селитры, но по крайней мере мойка уже чистая, а по полкам видно, что сделаны они из дуба. Я порылась в наших ящиках и нашла свои основные продукты для кухонного буфета: бумажные пакеты с кукурузной мукой и желатином, рис арборио, неочищенный тростниковый сахар, бланшированный миндаль в лепестках, чечевица пюи<sup>1</sup>, шоколад «Вальрона», итальянская мука 00<sup>2</sup>. Я аккуратно расставляю все это на полке на уровне своих глаз.

---

<sup>1</sup> Зеленая французская чечевица; названа именем местечка, где ее выращивали. (Примеч. ред.)

<sup>2</sup> Мука особого тонкого помола. (Примеч. ред.)



Пространство за аркой оказывается гораздо более проблемным. Здесь селитра на стенах намного хуже, а полистирол приклеен какой-то ничем не снимаемой смолой. Здесь же болтается клубок спутанных проводов, вероятно, имеющих отношение к какой-то давно не работающей фермерской технике — мы боимся к нему даже прикасаться.

— Я закрою вход в арку куском картона, приклею его изоляцией, и эту часть мы пока оставим в покое, — говорит мне Тобиас.

Во время всех этих манипуляций с чисткой и уборкой Фрейя лежит в своей плетеной корзинке рядом с печкой в гостиной и выглядит вполне довольной. Время от времени я отвлекаюсь от работы, чтобы посмотреть на нее: она сладко спит, раскинув свои пухлые ручки и вытянув маленькие, как у лягушонка, ножки. Она редко плачет, даже чтобы попросить поесть — вместо этого она икает.

Теперь, когда она уже начала брать мою грудь, я должна кормить ее чаще. Эти моменты четко разграничивают мой день, формируют оазисы близости между нами. В один из них сегодня утром она, высосав полностью свою порцию молока, утыкается головой мне в грудь. С тех пор она делает так после каждого кормления. Новое ее движение глубоко трогает меня. Я совершенно уверена: это означает, что она хочет, чтобы ее обняли.

Когда она родилась, у меня в голове настолько не было никаких сомнений, что я согласилась не реанимировать ее в случае, скажем, инфекции дыхательных путей. Это помогало принимать отважные решения, вроде того, чтобы рисковать ее жизнью, приехав сюда. Теперь же мысль остаться без нее для меня ужасна. Я говорю себе, что эти чувства так же эгоистичны, как и моя начальная реакция: я хочу, чтобы она была со мной подольше.

О чем я думала, когда везла ее в этот промерзший, годами не мытый дом? А что, если она простудится или подхватит какую-нибудь болезнь из-за этой грязи?

Но теперь, когда мы продали квартиру, дом — это наше единственное пристанище. И больше нам идти некуда.



\* \* \*

Мы постепенно погружаемся в рутину. По утрам Лизи помогает нам убирать в доме и распаковывать наши пожитки. Она, похоже, твердо решила быть как можно более полезной. Вопреки первому впечатлению, она начинает мне нравиться. Она жутко молодая и при этом совершенно одинокая. Она никогда не вспоминает о своем детстве, которое у нее должно было быть тяжелым и безрадостным, и есть что-то героическое в том, что она не позволила этим обстоятельствам сломать себя. Я часто представляю себе ее хрупкую фигурку, которая бредет, едва переставляя ноги, через всю Францию, питаюсь только растениями из придорожной посадки и полагаясь на доброту незнакомых людей.

В обед мы с Тобиасом и Фрейей едем на машине в Эг, в кафе на площади, — дорогостоящая привычка, но у нас по-прежнему не на чем готовить. Похоже, не имеет смысла покупать нормальную плиту, пока не сделана кухня.

Как я ни стараюсь, мне не удастся совладать с кухней. Природа постоянно просачивается обратно. Из-за полок выглядывают гекконы, по углам прячутся пауки. Взад-вперед ползают мохнатые многоножки. Из хлебной печи продолжает сыпаться на каменные плиты пола сажа, на стенах блестит свежая селитра. Над шатким столом и кухонной рабочей поверхностью растет какая-то странная черная плесень. Картон, который Тобиас закрепил изоляционной лентой на проеме в кухню для разделки дичи, выгнулся по краям, как старый медицинский пластырь на зияющей ране. И повсюду натыкаешься на эти зловещие шарики мышинного помета и чувствуешь сладковатый, зловонный запах их мочи.

После обеда мы с Тобиасом засовываем Фрейю в перевязь для переноски детей и отправляемся гулять. Вооружившись картой, которая шла в комплекте с документами на право собственности, мы наслаждаемся исследованием своих земель.

Погода стоит потрясающая. Сейчас только февраль, но его с таким же успехом можно было бы принять за май, разве что

только листьев нет на деревьях. Всю эту неделю светило солнце, побуждая растения возвращаться к жизни, а птиц — петь. Во время наших прогулок, пока Фрейя спит в своей перевязи у меня на груди, в нас проникает волшебство этого места и мы чувствуем себя радостными и возбужденными, как дети, отрывающие для себя что-то новое.

Оказывается, что десять гектаров — это довольно много. Здесь есть сад с невысокими фруктовыми деревьями, которые до сих пор погружены в зимнюю спячку. Есть огород, аккуратно вспаханный и пока голый. Вниз по склону холма, за полями, которые мы считали зарослями кустарника, течет речка и находится странный каменный канал, предназначенный, как мы в конце концов сообразили, для орошения.

С каждым днем нас все больше тянет путешествовать, и мы уходим за границы нашего участка, узнавая названия этого нового для себя мира и отмечая на карте. Мы обнаружили узкую гряду скал, которая, словно мост, проходит через долину на склон соседнего холма и по обеим сторонам которой навалены большие кучи сорвавшихся вниз валунов. На следующем холме, который намного выше нашего, мы открыли для себя речушку, каскадами спадающую с гор, и укромную заводь, наполняемую водопадом, на кромке которого возникает *trompe l'œil*<sup>1</sup>, в результате чего кажется, что он падает в какую-то бесконечную бездну. Мы пересекли брошенные рощи каштановых деревьев, за которыми раньше ухаживали, а сейчас они разрослись, приняв закрученную искаженную форму — это вызывает у меня мысли о «ничейной земле» между линиями окопов Первой мировой войны.

Пробираясь через каштановые рощи, Тобиас говорит:

— Ты только глянь сюда, Анна. Это следы исчезнувшей цивилизации.

Мы находим каменные террасы и небольшие каменные дома с обвалившимися крышами — целая деревня, затерявшаяся в зарослях подлеска.

---

<sup>1</sup> Обман зрения (фр.).



— В этой деревне, должно быть, жила куча народу, — говорит он. — Интересно, что с ними произошло?

Мы переступаем каменные пороги и заходим в обрушившиеся дома.

— Они сгорели, — говорю я. — Все. Должно быть, здесь произошел страшный пожар. Интересно только, когда это было. Ох, Тобиас, пожалуйста, не делай этого — это очень опасно.

Тобиас спрыгнул внутрь одного из домов и сейчас ковыряется в куче битой кафельной плитки и обуглившихся дровяшек.

У меня перед глазами живо возникает видение: стена падает. Я пытаюсь вытащить его из-под обломков, но безуспешно. Мой мобильный не работает. Мне приходится бросить его в этой ловушке, а самой бежать за помощью. И он умирает здесь в полном одиночестве...

Я удивляюсь сама себе. Сердце мое бешено колотится, дыхание затравленное, ладони вспотели. Так предаваться панике вовсе не в моем характере. Вот до чего дошло: я не могу себе позволить потерять и его тоже.

— Смотри, — ничего не замечая, говорит Тобиас. — Чугунная печька. На ней стоит 1940. Эти дома не такие уж старые, какими кажутся.

— Пойдем, Тобиас. — Я боюсь показать ему, как напугана. — Мне здесь не нравится. Давай выйдем обратно на главную тропу.

Дорога извивается мимо небольшого соснового леска, в котором стоит каменная хижина и памятник погибшим во время Второй мировой войны. Мы видим на обочине вереницу джипов. Выстроившиеся в ряд мужчины, одетые в странное сочетание камуфляжа и флуоресцентных жилетов, пристально смотрят в сторону леса с ружьями наизготовку.

— Это, должно быть, охота, — говорю я. — Может, нам нужно подойти и поговорить с ними?

От группы охотников отделяется одна фигура. К нам направляется Людовик, сверкая глазами из-под своей непомерно большой охотничьей шляпы.

— О чем вы думаете, подходя так близко к ружьям? Это очень опасно! Вокруг вас всюду идет охота! А на вас даже нет светящихся жилетов. Наши люди легко могли попасть в вас.

Тобиас, вечный миротворец, улавливает интонацию его голоса, не понимая смысла слов.

— Нет проблем, — говорит он. — Это круто.

Людовик набирает побольше воздуха, готовясь продолжить в том же духе, но затем смотрит на Фрейю, которая спит в перевязи, и говорит:

— Лучше я сам отведу вас домой. Я знаю, где расположились стрелки.

Мы быстро возвращаемся по своим следам, Людовик идет на пару шагов впереди, Фрейя болтается в перевязи вверх и вниз.

— На кого вы охотитесь? — спрашиваю я.

— На дикого кабана. В этих лесах их полно. И олени тоже есть. Они представляют угрозу. Их нужно отстреливать.

— Конечно, — говорю я, чтобы его успокоить.

Он подозрительно смотрит на меня.

— Иностранцы испытывают отвращение к охоте.

— Это не обо мне, — вру я. Похоже, я собираюсь несколько поступиться своими принципами. — Я шеф-повар и люблю готовить дичь.

Впервые он кажется заинтересованным.

— Шеф? У вас свой ресторан в Англии?

— Я работала в чужом ресторане. Мой муж считает, что когда-то мне следует открыть свой ресторан в Ле Ражоне. Возможно, охотники могли бы поставлять мне дичь.

— Хм. Может быть. Обожаю жаркое из дикого кабана...

— Что ж, тогда я когда-нибудь приготовлю его для вас.

— Хм-м.

Людовик немного оттаивает. Он уже не кажется таким напряженным, когда он ведет нас по тропе.

Он даже предлагает остановиться, чтобы посмотреть на долину сверху.

— Если я расскажу вам, как это все когда-то выглядело, вы мне не поверите. Террасы по всему склону до реки — оливковые



деревья, виноградники, вишневые сады. Оросительные каналы. Каштановые рощи. Вся земля ухоженная и чистая. Война все это поломала. Люди были вынуждены уезжать отсюда, чтобы найти работу. Они больше не вернулись. А мы, те, кто остался, не можем бороться с разрастающимися вереском и ежевикой. Большая часть этой земли сейчас — это просто *maquis*<sup>1</sup>, заросли кустарника, которые годятся только для жизни диких кабанов.

Он смотрит на холмы и долины глазами, которые видят в них не только неиспорченное очарование, каким все это представляется мне, а что-то совсем другое.

— Природа возвращается, — наконец произносит он. — Природа сильная. Но она нуждается в том, чтобы ею управляли. А мы... мы стали старыми и слабыми.

\* \* \*

Когда здесь дует ветер, возникает он ниоткуда. Он бросает песок в глаза, бьет в лицо. Это не похоже ни на что, с чем мне приходилось сталкиваться раньше.

Мы направляемся в Эг, чтобы представиться мэру. Пока мы едем, ветер бьет в бок машины, словно кулаком, и бросает в нас песком и щебнем. Невозможно определить, откуда он дует: часто кажется, что он вертится по кругу.

Мы катимся по серпантину, где дорога разворачивается на сто восемьдесят градусов. За Рьё открывается красивый вид: отсюда можно увидеть всю долину с широкой серебряной полоской реки Эг и коридором плодородных земель вдоль ее берегов. Эта земля по-прежнему с любовью возделывается. После всей той дикости, в которой живем мы, это кажется райским порядком.

Дорога снова и снова возвращается к одной и той же картине полей, виноградников и садов, которые с каждым ее поворотом становятся все ближе. Я думаю о Людовике и его ис-

---

<sup>1</sup> *Маки* (фр.) — заросли густого кустарника, характерные для побережья Средиземного моря.



чезнувшем мире. В этих краях твоя способность к выживанию определяется тем, какой уклон у твоего участка, насколько он закрыт от ветров, какой толщины на нем слой плодородной почвы. Фермеры уже вынуждены были уйти со склонов холмов. А эта долина, в свою очередь, превратилась в малопродуктивные земли.

У меня бывают хорошие дни и плохие. Сегодня — плохой.

По всей деревне я везде вижу детей, как будто их сюда специально нагнало ветром. Совсем малыши, ковыляющие на своих пухлых ножках, младенцы в колясках, детки постарше, устраивающие истерики посреди улицы. Их мамы злятся, ругаются, выбиваются из сил. При этом само собой разумеется, что дети у них нормальные.

— Муниципалитет должен находиться на площади, — говорит Тобиас.

Рядом с ним мы видим школу, перед которой на ветру играет детвора.

Я думаю: она никогда не будет ходить в эту школу, она никогда не будет играть в этом школьном дворе, она никогда не выучит французский...

Подъезжают мамы, чтобы забрать своих детей из школы. Маленькая девочка с разбегу бросается на руки маме и тут же захлебывается рассказывать, как у нее прошел день. Я исключаю возможность того, что Фрейя когда-нибудь сможет сделать то же самое.

Увидев Фрейю у меня в перевязи, мама девочки встречается со мной глазами и улыбается, как это бывает между двумя женщинами с детьми. Нарушения у Фрейи еще не так заметны. Я считаю, что, если самой рассказывать людям о таких вещах, это вызывает исключительно неловкость. Если можно не говорить, я этого не делаю, хотя и понимаю, что долго утаивать у меня не получится.

— Она родилась немного недоношенной? — спрашивает женщина, которая уже почувствовала, что с моим ребенком что-то не так. Я киваю: это лучше, чем врать, и легче, чем что-то объяснять.



— Ловите момент и наслаждайтесь этим временем. Оно проходит так быстро; скоро выйдет на следующий этап.

Я снова киваю, почувствовав спазм грусти, потому что для Фрейи это никакой не этап, а так будет всю жизнь.

Мэр находится в своем кабинете. Когда мы заходим к нему, он пожимает нам руки и говорит:

— Ле Ражон, вы купили Ле Ражон. Прекрасное поместье. Я не могу дать вам водопроводную воду. Вы должны будете выкопать колодец. Это лучше всего. А вода из деревни — это невозможно!

— Вообще-то мы пришли, чтобы просто поздороваться.

— Я очень рад с вами познакомиться. И советую вам сразу выкопать колодец, не откладывая это на потом.

Через десять минут мы снова стоим на продуваемой ветрами площади. И растерянно смотрим друг на друга.

— Хм, немного напоминает сюжет из «Жан де Флоретт»<sup>1</sup>, — говорит Тобиас.

Мы задерживаемся возле мемориала жертвам войны с впечатляющим списком погибших в двух мировых войнах. Но затем на нас обрушивается особенно неистовый порыв ветра. Тобиас хватается меня за руку и тащит в кафе.

— Здравствуйте, Ивонн, — говорит он хозяйке.

У него есть своя фишка: он выясняет, как кого зовут, и обращается к людям по имени — в этом часть его обаяния. Он уже успел выяснить, что Ивонн двадцать два года и что это кафе помог ей открыть ее отец, мясник. При виде Тобиаса ее полное лицо расплывается в улыбке.

За прошедшую неделю у меня было время привыкнуть к необычному вкусу Ивонн в отделке интерьера: сводчатый, выложенный камнем потолок, лес монументальных колонн из песчаника, французские кружева на узких, похожих на бойницы окнах, оловянные кувшины и пластиковые салфеточки, разложенные на натертых воском дубовых столах, массивный

---

<sup>1</sup> Кинофильм режиссера Клода Берри, вышедший на экраны в 1986 году. Экранизация одноименного романа Марселя Паньоля.



бар из ореха, каждый дюйм поверхности которого уставлен громадной коллекцией смеющихся фарфоровых поросят. Во время нашего первого посещения кафе Ивонн пригласила нас похлопать рукой по сводчатому потолку и колоннам из песчаника: оказалось, что все это сделано из гипса.

Есть в Ивонн что-то обворожительное. Она исключительно красива, причем это затмевает и ее художественный вкус, и ее пышные формы. Ее глаза и кожа какие-то прозрачные, и я ощущаю эту прозрачность также и во всей ее личности: все ее чувства сразу же открыты для всего мира. С ее соломенно-желтыми волосами и губами, как у херувима, она похожа на мадонну времен Ренессанса — этакая богиня в синтетическом спортивном костюме пятидесятого размера.

— Ветрено сегодня, — говорит Тобиас.

— Это *tramontane*, — говорит Ивонн. — Ветер, который дует три, шесть или девять дней.

— Э-э-э... Что?

— Если он дует один день, значит, он будет дуть три дня. А если дует и на четвертый, значит, будет дуть шесть. И так далее.

Мы с Тобиасом переглядываемся.

— Что-то многовато ветра.

— О да, Лангедок — самый ветренный район во всей Франции. *Tramontane* — это только один из ветров. Еще у нас есть *le mistral*, он жаркий, и *le vent marin*, который дует с моря и приносит влажную погоду, а также еще много других. Живя в Ле Ражоне, вы очень скоро будете знать их все.

Я выразительно смотрю на Тобиаса. Ивонн приходит ему на выручку:

— У меня сегодня есть кое-что особенное. Не хотите ли попробовать? — Она достает из-под прилавка большую палку сухой колбасы и начинает нарезать ее толстыми кусками. — Я сама приготовила ее из мяса черной горной свиньи. Она питается желудями и каштанами в лесу.

Колбаса великолепная: не очень жирная, не очень соленая и пропитана ароматами горных трав.



— Я и не знала, что вы *charcutière*<sup>1</sup>, — говорю я.

— О да, я даже призы выигрывала со своими колбасами. В этом году я принимала участие в *Concours National du Jeune Espoir*<sup>2</sup>.

— Вы заслуживаете выиграть его, — говорю я. — Это лучшая *saucisse*<sup>3</sup>, которую я когда-либо пробовала. Как думаете, могли бы вы быть поставщиком для моего ресторана?

«Если, конечно, — мысленно добавляю я, — мне когда-нибудь удастся его открыть».

— Я бы с удовольствием. И еще я хотела спросить у вас одну вещь. Я знаю, что у вас в Ле Ражоне есть специальная кухня для разделки дичи. Можно мне арендовать ее для работы, как вы думаете? Сейчас все это происходит в задних помещениях папиного мясного магазина. И это не очень удобно.

— Прекрасная идея, — говорит Тобиас. — Это было бы для нас очень полезной статьей дохода. Я рассчитываю принять участие в работе над большим кинофильмом, но заплатят они еще очень не скоро. Конечно, эту кухню для дичи нужно немного привести в порядок. Приезжайте посмотреть на нее, и тогда примете решение.

Но Ивонн уже не слушает его.

— Ох! Мне кажется, я вижу Жульена, который идет через площадь. Зайдет ли он к нам, интересно? — Она выныривает из-за прилавка и из дверей машет ему своей белой рукой: — Жульен! Зайди, познакомься с людьми!

Через площадь целеустремленно шагает мужчина. При звуке голоса Ивонн он без всякой заминки меняет направление и столь же решительно идет в нашу сторону. Это напоминает мне школьные годы, когда учитель показывал нам в микроскопе мечущиеся частички и объяснял, что впечатление, будто они движутся сознательно, — иллюзия; на самом деле движут ими силы, которые просто незаметны для нашего глаза.

---

<sup>1</sup> Колбасница (фр.).

<sup>2</sup> Национальный конкурс «Молодая надежда» (фр.).

<sup>3</sup> Колбаса (фр.).



— Ивонн, — говорит он, — кто они, эти твои новые друзья? — В его французском слышится сильный местный акцент.

Его нельзя назвать привлекательным — у него для этого слишком худое лицо. Все его черты тоже какие-то неправильные: нос слишком большой, скулы слишком высокие, глаза слишком большие, рот слишком широкий — все это делает его похожим на какого-то эльфа, обитателя другого мира. Пытаюсь угадать его возраст: на глаз ему где-то двадцать девять или тридцать.

— Жульен, познакомься, это новые *propriétaires*<sup>1</sup> Ле Ражона, — говорит Ивонн. — Они англичане.

Жульен оглядывает нас своими спокойными серыми глазами и по очереди жмет нам руку. Прикосновение его ладони крепкое и уверенное.

— Рад познакомиться, — говорит он по-английски. Мне нравится его взвешенный тон. Говорит он бегло, но аккуратно, как будто не привык пользоваться этим языком. — Вы важные люди, если решились купить Ле Ражон.

— Жульен, может, выпьешь с нами? — спрашивает Ивонн. Жульен смотрит на нее и улыбается.

— А что ты предлагаешь?

— У меня есть немного персикового сиропа. Его очень хорошо добавлять в мускат. Я могу сделать всем нам по коктейлю. Как в каком-нибудь нью-йоркском баре. — Она наливает густой сладкий сироп в четыре стакана. — Как бы я хотела увидеть Нью-Йорк! Когда-нибудь я получу *médaille d'or*<sup>2</sup> на *Concours National du Meilleur Saucisson*<sup>3</sup>. Затем я поеду в Соединенные Штаты и побываю в Лас-Вегасе, Нью-Йорке, Голливуде и Далласе, штат Техас. И выиграю все самые большие конкурсы по колбасам в Америке. Вся долина будет мною гордиться.

---

<sup>1</sup> Собственники, хозяева (фр.).

<sup>2</sup> Золотая медаль (фр.).

<sup>3</sup> Национальный конкурс на лучшую колбасу (фр.).



Ивонн и Жульен начинают быстро говорить на французском, обильно сдобренном местным диалектом, так что мне едва удастся что-то разобрать.

— Да у тебя тут целая вечеринка, — подначивает он ее.

Ивонн приглаживает волосы.

— Здесь, в долине, так скучно зимой. Хорошо, когда появляются новые люди. Может быть, они что-то сдвинут тут с места.

— Тогда уезжай ты из этой долины. Перебирайся ко мне на холмы.

— Ты же знаешь, что я не могу. Ты... мне не подходишь!

— О, «не подходишь»! Только не нужно снова начинать все сначала!

— Эй, — говорит Тобиас по-английски. — А что это за проблема с водой в Ле Ражоне? Мы только что заходили поздороваться с мэром, но все, что он мог нам сказать, это что он не может дать нам воду в Ле Ражон.

Ивонн и Жульен переглядываются.

— Всем известно, что в Ле Ражоне нет воды, — говорит Ивонн.

— Это неправда, — говорит Жульен.

— Но так тут люди говорят. Поэтому-то никто и не покупал этот дом.

Я смотрю на Тобиаса.

— Так вот почему он такой дешевый, — говорю я.

Тобиас тоже смотрит на меня.

— Это было наше общее решение насчет покупки этого дома. Мне уже надоело, что ты все время обвиняешь в этом меня одного, — говорит он.

Жульен поднимает руку:

— Погодите, все не так уж плохо. У вас там есть цистерна для дождевой воды. Мэр просто не хочет утверждать прокладывание *l'eau communale*<sup>1</sup>. Это слишком далеко. Так что вы со

---

<sup>1</sup> Коммунальный водопровод (фр.).



своей водой зависите только от природы, а не от городского совета.

— Он сказал, что мы должны выкопать колодец.

— Я хочу предостеречь вас от этого, — говорит Жульен. — Ваш участок находится на *schiste*, а для рытья колодца нужен *calcaire*. — Он ловит наши вопросительные взгляды. — Это разные типы скалистой породы: *schiste* — это непроницаемый для воды сланец, а *calcaire* — это известняк.

— Что ж, это просто замечательно, — говорю я. — Спасибо тебе, Тобиас, что *даже этого* ты проверить не удосужился.

Тобиас густо краснеет, я вижу боль на его лице — боль человека, который, стиснув зубы, старается действовать правильно и который чувствует себя униженным. Затем он уходит, хлопнув дверью кафе.

— Ох! — вздыхает Ивонн. — Но мы ведь еще не выпили наши персиковые коктейли. Догоню его и попробую вернуть.

Дверь снова хлопает. Жульен, Фрейя и я остаемся одни. Мне вдруг становится стыдно. Он склоняется вперед и смотрит на Фрейю.

— Она очаровательна, — говорит он. — Такая спокойная!

Нет никакой необходимости рассказывать ему про Фрейю. Я открываю рот, чтобы сказать что-то нейтральное и взвешенное, но вместо этого с губ моих срываются какие-то безумные слова.

— Она выглядит спокойной и умиротворенной, но ее мозг напоминает яичницу-болтушку. Я так хотела ребенка, а сейчас иногда даже не уверена, что это настоящий ребенок. Вы когда-нибудь слышали о слабоумных? Знаете, как это начинается? С детками, с которыми не все в порядке? В конце концов родители ищут себе оправдание, чтобы отделаться от них. И самое печальное, что, когда это только произошло, мы с Тобиасом почувствовали, будто снова влюбились друг в друга, а теперь мы все время ссоримся по пустякам. И дом такой ужасный... Ему он нравится, а я чувствую с его стороны какую-то угрозу. Как будто он — какое-то живое существо, со



своей собственной индивидуальностью. На самом деле мы сами толком не знаем, почему переехали сюда. Думаю, мы просто убегает, но когда ты бежишь, то, естественно, куда-то прибегаешь, а там приходится снова иметь дело вот с этим.

Я в ужасе умолкаю.

— Простите меня. Я вас почти не знаю, а наговорила тут больше, чем позволяет... вежливость.

— Не люблю вежливых. Тут кругом слишком много людей, которые озабочены тем, что вежливо, а что невежливо, что сделано, а что не сделано. Прошу вас, продолжайте.

— Что ж... природа тут такая непредсказуемая. Целыми днями завывает ветер, кухню оккупировали мыши. Честно сказать, меня это пугает. Здесь просто... много всего такого. Повсюду. Даже в доме. Особенно в доме. Наш сосед Людовик считает, что природе необходимо, чтобы ею управляли.

Жульен смеется:

— Нет, здесь вам необходимо дружить с природой. Жить с ней в гармонии. Если попытаетесь с ней бороться, она вас ломает.

— Ну, по крайней мере в этом вы с Людовиком согласны.

Звякает колокольчик на двери кафе, и в него возвращаются Ивонн и Тобиас. Тобиас редко злится подолгу, и Ивонн, похоже, уже успокоила его.

— Давайте выпьем наши персиковые коктейли, и добро пожаловать в нашу долину, — говорит Ивонн. — Я допустила оплошность. Ле Ражон — замечательное место. И местных жителей отпугивало вовсе не отсутствие там воды.

— Верно, — говорит Жульен. — Их отпугивали привидения.

Когда мы собираемся уходить, Жульен кладет руку мне на плечо.

— Заезжайте как-нибудь ко мне. Я живу в лесу на горе, которая рядом с вашей. Через каменную грядку, мимо той заводи, у которой нет края — вы знаете ее, она с водопадом. Сразу за сторевающей деревней и каштановой рощей.

\* \* \*

Я ухожу наверх и сижу с Фрейей в спальне, чувствуя ее легкое потягивание на своей груди и наслаждаясь умиротворением момента. Мы дышим с ней синхронно, и ее маленькое свернувшееся тельце прижимается ко мне. Ее сосредоточенный взгляд устремлен куда-то в точку у меня над головой. Потом глаза ее закатываются и губы чмокают. Левая согнутая рука поднимается в воздух, кулачки сжимаются, она вся начинает содрогаться и синеет. Через несколько секунд тело ее становится твердым, как у трупа, я не могу достучаться до нее: она больше не мой ребенок. Медленно и тупо я понимаю, что у нее приступ.

Кажется, что это тянется целую вечность, хотя по часам я вижу, что прошло всего несколько минут. Затем она судорожно глотает воздух, естественный цвет лица возвращается так же быстро, как исчез, и она уже снова моя маленькая крошка.

Я звоню доктору Фернандес.

— Две или три минуты? Давайте ей по пять миллиграммов фенотарбитаона в день, и посмотрим, как оно будет дальше. Если приступ будет продолжаться более пяти минут, введите ей ректально валиум, который мы вам дали с собой. Если будет хуже, везите ее в отделение скорой помощи.

Ближайшая больница находится в двух часах езды. *Если вам не удастся доставить ее в больницу вовремя...* Я гоню от себя эту мысль.

Зачем я говорила Жульену о слабоумных, о том, как люди стараются избавиться от нежеланных детей? Я сглазила нас. Или, может быть, это дом наложил свое пагубное заклятье.

Когда я иду на кухню, чтобы принести ей лекарство, у меня возникает подсознательное впечатление, что внизу у стены мелькнула какая-то тень. Там, в плинтусе, дыра размером с бейсбольный мячик, которую я раньше не заметила, а по моей свежевыдраенной рабочей поверхности тянется след



мышинного помета. Моя пачка с кукурузной мукой сброшена на пол, а когда я поднимаю ее, из отгрызенного уголка тонкой струйкой сочится мука.

Я мою медицинский шприц кипятком из чайника и отмеряю дозу фенобарбитона.

Фрейя вновь выглядит спокойной и нормальной. Она ловит губами липкое лекарство — в него подмешан сахар, — которое я выливаю ей в рот. Я крепко прижимаю ее к себе и глажу по головке, пока она не засыпает.

Позже я стою и смотрю на то, как она лежит в плетеной корзине. Она в своей любимой позе: лежит на спине, закинув одну ручку на лицо. Дыхание ее мягкое и ровное, кожа розовая. Такая уравновешенная и такая хрупкая.

Я люблю ее уже больше, чем сразу после рождения, но при этом не могу защитить.

\* \* \*

Неожиданно похолодало. Я уверена, что сегодня ночью вода на улице замерзнет и крокусы погибнут.

Я собираюсь отремонтировать нашу кухню раз и навсегда.

Я перехожу в наступление: вымываю печь для хлеба, сбиваю селитру долотом, выметаю стены и углы метлой, убираю паутину, смываю с пола кусочки штукатурки. Затем я надеваю респиратор и еще раз соскребаю мышинный помет со всех поверхностей с помощью хлорки и моющего средства.

Капитуляция полная и безоговорочная: пауки спасаются от моей метлы бегством. Крошки штукатурки исчезают в пасти пылесоса. Катышки мышинного помета растворяются в хлорке.

Затем я оставляю Фрейю на Тобиаса, а сама уезжаю к дому Людовика. Это оранжевое бунгало из шлакоблоков с аккуратной бетонной балюстрадой и внушительными металлическими воротами. Весь его двор зацементирован до последнего дюйма.

Похоже, Людовик рад меня видеть.



— Я построил этот дом сам, — с некоторой гордостью говорит он. — Хотя я и на пенсии, но люблю активность. — Он бросает на меня проницательный взгляд. — Угадajte, сколько мне лет.

— Ну, я не знаю, — говорю я, но он не дает мне отделаться этой фразой. Он продолжает выжидательно смотреть на меня, пока я, стараясь польстить ему, в конце концов не произношу: — Где-нибудь шестьдесят пять, наверное.

— Мне семьдесят девять, — с явным удовольствием объявляет он.

— Быть не может, — говорю я.

— О да! — самодовольно отвечает он. — Фасад еще хорош, но само здание уже рушится.

Похожая на мужчину женщина, которой на вид где-то под семьдесят, развешивает на нейлоновой веревке постиранное белье.

— Это Тереза, моя сожительница, — говорит Людовик.

Он не предпринимает никаких попыток пригласить меня в дом, равно как и не отвлекает Терезу от ее работы, чтобы познакомиться нас.

— У нас по кухне бегают мыши, — говорю я. — Я боюсь, что это может быть опасно для здоровья. Для здоровья ребенка. Я хочу знать, что делать.

— Вам нужно использовать яд, — советует он.

— О, насчет этого я не уверена. Не люблю яды.

Людовик пожимает плечами и исчезает в доме, оставив меня стоять на своем забетонированном дворе и глазеть, как работает Тереза. Через несколько минут он возвращается с чetyрмя маленькими деревянными мышеловками.

— Возьмите это и пользуйтесь столько, сколько нужно.

— Спасибо, вы очень добры.

— Не за что. Мы же соседи.

Я еду обратно вверх по склону. Зимняя палитра состоит исключительно из черных и серых красок: темная почва, мертвый лес, холодный камень. Голые виноградные лозы похожи



на скрюченные и иссушенные руки мертвецов, тянущиеся из земли. Настроение у меня довольно унылое, вполне под стать этому ландшафту.

Прежде чем идти спать, я щедро заряжаю мышеловки сыром и беконом и размещаю их в стратегически важных точках по всей кухне.

Первое, что я вижу на следующее утро, — это геккон, который выглядывает из-за кухонной полки. Пауки напряженно трудились всю ночь, восстанавливая свои сети. На всех поверхностях лежит новый слой гипсовой крошки и новые россыпи мышинного помета. Даже черная плесень тоже начала ползать обратно.

Все четыре мои мышеловки сработали, приманка в них пропала. Но виновники всего этого скрылись.



В долину идет весна. В персиковых садах по берегам реки Эг я заметила на темных веточках тугие бутоны цветов. Они напоминают слезы, исподволь просочившиеся из-под опущенных ресниц.

— А теперь на секундочку послушай меня, дорогая. Я хочу, чтобы ты взяла для меня одного из этих сирот.

— Мама, о чем ты говоришь?

— О, ну ты знаешь: одного из этих китайских сирот. Я видела документальный фильм про них. Я думаю, что должна усыновить одного. Я дам ему хороший старт в жизни.

Я останавливаю себя, чтобы не спросить о том, одинока ли моя мать или нет — у меня просто нет времени заботиться еще и о ней.

— А почему бы тебе не взять к себе какого-нибудь местного сироту? — вместо этого говорю я.

— О, не говори глупости, дорогая моя, никто не позволит мне его усыновить: я вдова, как ты знаешь, и мне уже за шестьдесят. Но вот вы с Тобиасом могли бы легко такое устроить. Или вьетнамского. Но я думаю, что китайцам это нужно больше.

— Мама, это просто смешно! Не могу я взять для тебя сироту.

— Ты бы могла усыновить его сама, а потом отдать этого ребенка.

— Любой сирота — это человеческое существо, — говорю я. — Это ребенок, а не один из твоих котов.

На другом конце линии возникает обиженная пауза.



— Если ты так думаешь, — наконец говорит моя мама, — тогда я не позволю тебе присматривать даже за моими котами.

Внезапно мир оказывается полным детенышей самого разного толка. И это приводящее меня в бешенство мамино одностороннее суждение обо мне оказывается справедливым. Где-то в глубине души у меня нарастает боль по своему собственному детенышу, щенку, котенку — по кому угодно.

В сгустившихся сумерках мимо нашего дома проходит, тяжело ступая, громадная дикая свинья, постоянно нюхая землю своим несуразно длинным и волосатым носом. Вокруг нее движется ее потомство — шестеро поросят. Они все рыжеватые, с бежевыми полосками, такие же игривые и погруженные в свой собственный мир, как любящие дети. Мне ужасно хочется подхватить их на руки и занести в дом.

Когда Ивонн заезжает к нам, чтобы посмотреть на кухню для разделки дичи, она вынимает Фрейю из плетеной корзинки возле печки и носит с ней на руках, как с куклой.

— Здесь замечательная *laboratoire*<sup>1</sup>, — говорит она. — Камень здесь такой толстый, что остается прохладным круглый год. Для *saucissons* это очень хорошо. Но в данный момент это мне не подходит: здесь слишком грязно, нужна проточная вода, да и проводка не соответствует нормам.

— Не беспокойтесь, — бодро говорит Тобиас. — Анна собирается устроить здесь кухню, достойную ее ресторана. Так что этот угол она тоже обустроит. Не думаю, что это займет много времени.

Я бросаю на него взгляд, полный панического ужаса. На самом деле сейчас, когда охотничий сезон уже завершен, целая толпа мужчин на джипах уже протоптала дорожку к нашим дверям.

Все они в ужасе пилились на антикварную электропроводку, на отваливающуюся штукатурку, текущую крышу и на отсутствие водопровода. Один из них из жалости отвел меня в заднюю часть дома и показал, где вниз по склону идет необработанный сток для туалета.

---

<sup>1</sup> Рабочая зона (*фр.*).

Когда я упомянула, что делаю кухню для профессионального производства колбас, они только пожали плечами, издав при этом какие-то насмешливые галльские звуки. Они говорят, что в Ле Ражоне все *mal fait*. Плохо сделано. Я выяснила, что это самое последнее оскорбление: французский эквивалент известной фразы строителей «это влетит вам в копеечку».

Они сначала предложили нам цены, которые мы не могли себе позволить, а потом сказали, что все равно не хотят с нами работать.

\* \* \*

Раннее утро, сразу после рассвета, — это мое любимое время дня. Я выскальзываю из постели и вытаскиваю Фрейю из ее колыбели. Когда я поднимаю ее, она возмущенно попискивает, протестуя против того, что ее извлекают из тепла. Затем позвоночник ее выгибается вперед, она закрывает лицо кулачками и, так и не проснувшись, устраивается в углублении у меня на груди.

Я укладываю ее для физкультуры в детский развивающий комплекс рядом с музыкальным центром и смотрю, как она дрыгает своими ножками. Она не улыбается, но я могу сказать, что она довольна. Ей нравится обниматься, она любит музыку. Я начинаю узнавать ее.

Задолго до завтрака звонит телефон.

— Алло, дорогая, как ты там, в этом ужасном месте? И как там... тот ребенок?

— Не так уж плохо, мама. Она много спит.

— Ох, дорогая, жаль, что я не могу тебе помочь. Я все пытаюсь представить, что сделал бы *мой* собственный отец. Конечно, я знаю это. Но в те времена это можно было сделать без того, чтобы попасть в тюрьму, да к тому же он был все-таки доктором.

Чем больше времени я провожу с Фрейей, тем больше Тобиас закапывается в работу над своим демонстрационным роликом для «Мадам Бовари». Поскольку раньше он никогда не работал для полнометражного художественного кино, функционеры Салли настояли, чтобы он сначала прошел тест. Тобиас



должен написать музыку к финальной сцене ленты, где Эмма Бовари совершает самоубийство. Это подразумевает замену временного музыкального оформления, для которого используется Пятая симфония Малера.

— Это трудная задача, Анна, — беспрестанно повторяет он. — Я никогда в жизни не писал ничего классического или оркестрового.

Я привыкла к тому, что он пишет музыку без видимых усилий. Когда-то в прошлом я даже подозревала, что он идет на поводу у своей ленивой натуры, ограничивает свой талант и пишет цифровую музыку. Но только не в этот раз. Он установил свою аппаратуру в гостиной и часами сидит перед своим iMac в наушниках на голове и проверяет новые идеи на MIDI-клавиатуре своего синтезатора. По экрану плывут безмолвные кадры отчаяния мадам Бовари в бедности на фоне провинциальной Франции. Тобиас прокручивает их снова и снова, хмурясь каким-то своим мыслям.

Я чувствую, как он отстраняется от Фрейи, а когда я подолгу вожусь с ней, то и от меня. Я стою в гостиной, пытаюсь войти с ним в контакт, а он сидит, уткнувшись в свой компьютер и клавиатуру. Выглянув в окно, я вижу маленькую фигурку Лизи, которая наматывает крути по двору, двигаясь по часовой стрелке.

— Тебе не кажется, что Лизи немного странная? — спрашиваю я. — Я хочу сказать, что она всегда была немного не от мира сего, но весна, похоже, окончательно снесла ей крышу.

— М-м-м....

— Тобиас, ты слышал, что я только что сказала? Она кланяется каждому дереву.

— Хм-м. Кто?

— Лизи.

Тобиас снимает наушники и подходит к окну.

— Она просто прелесть, бедная душа, — говорит он.

— Но что она *делает*?

— Накануне она рассказывала мне, что это часть ее ритуала встречи весны, — говорит он. — Она должна попривет-



ствовать дух каждого растения и напомнить ему, что нужно просыпаться.

— Но они ведь все равно проснутся, напомнит она им об этом или нет.

— Мы должны убедить это дитя остаться у нас, — задумчиво говорит Тобиас. — Найдем ей какую-нибудь работу. Она может присматривать за ребенком, делать что-нибудь по дому или еще что-то. Денег у нее нет.

— Тобиас, мы с тобой даже не знаем, разрешается ли *в принципе* оставлять ребенка, у которого бывают конвульсии, под присмотром неквалифицированного взрослого человека.

— Не говори глупости, — возражает Тобиас. — Мы с тобой *сами* неквалифицированные. Предоставь это мне. Я поговорю с ней об этом.

\* \* \*

Внизу, в долине, по очереди зацветают фруктовые деревья: миндаль, персики, сливы. Над долиной как будто висит облако цветущих садов, похожее на дымку, как при замедленном показе артиллерийского обстрела.

Тобиас выработал у себя избирательную глухоту, как у старого канонира. Он улавливает только те частоты, которые хочет. Плач Фрейи в эти частоты не входит. Я начинаю замечать, что и звук моего голоса тоже.

Я пытаюсь добиться, чтобы мы придерживались какого-то распорядка дня. А Тобиас и Фрейя всячески мне в этом мешают. Фрейя дремлет, когда по плану время кормления. Когда же она просыпается, я должна бросать все, иначе она снова заснет.

Когда я кормлю ее, она дугой выгибается назад, напрягаясь всем своим тельцем. Зачастую у нее бывают приступы рвоты, и мне приходится начинать все сначала. Вся моя одежда в пятнах от детского срыгивания. Я очень хорошо понимаю неугомонных птичек, которые без конца снуют за окном к своим птенцам. Как и у них, вся моя жизнь превратилась в одну беспрерывную процедуру кормления.



Я пробую научить Лизи присматривать за ребенком и выполнять домашнюю работу. Похоже, это приводит ее в панику. Вся ее уверенность в своих силах куда-то улетучивается, когда я читаю ей лекцию о том, как правильно стерилизовать бутылочки и подогревать молоко на паровой бане. Она старается изо всех сил, но пальцы не слушаются ее, расплескивая на пол драгоценное содержимое контейнеров с моим сцеженным грудным молоком. В ее испуганных глазах я вижу себя сварливой пожилой женщиной, которую преследует навязчивая идея относительно несущественных деталей. После таких занятий Лизи чаще всего в смятении ускользает, чтобы спрятаться в своем морском контейнере.

— Тобиас, — говорю я, когда мы с ним остаемся наедине, — пожалуйста, дай Лизи урок того, как нужно присматривать за Фрейей. Мне кажется, я ее запугала: она не воспринимает моих инструкций.

— Лизи *прекрасно* управляется с Фрейей, — говорит он. — Она всегда готова помочь.

— Она всегда готова помочь, когда об этом просишь *ее ты* — это попросту демонстрирует, как я нуждаюсь в том, чтобы ты участвовал в практических аспектах нашей жизни.

Но Тобиас уже не слушает меня. У него в гостиной рядом с печкой появился любимый уголок. Если он не пишет музыку, то занят тем, что консультируется с Салли по скайпу или электронной почте. К моему огорчению, высокоскоростной интернет — это единственное достижение современной жизни, которым мы здесь успешно обзавелись.

\* \* \*

— Дорогая, пожалуйста, позвони в РЭО<sup>1</sup> и скажи им, что они просто обязаны вернуть обратно мои водительские права.

— Водительские права? Ты что, потеряла свои права?

---

<sup>1</sup> Регистрационно-экзаменационный отдел в Великобритании, занимающийся выдачей водительских удостоверений и регистрацией транспортных средств.





— Да, и это ужасно неудобно. Со стороны твоего отца было довольно скверно умереть и предоставить мне самой водить автомобиль. Мне немедленно нужны мои права.

— Как, черт возьми, ты могла их потерять?

Мама хитрит, и по ее голосу это сразу слышно:

— Это не твоя забота, дорогая. Прислали такое грубое письмо. Они утверждают, что у меня недостаточно хорошее зрение, чтобы водить машину. Но это ведь полная чушь! Ну, возможно, я и не разгляжу на дороге какую-нибудь *мышь*. Но я совершенно определенно смогу разглядеть *ребенка*.

\* \* \*

Жизнь широким фронтом направляется вверх по склону в нашу сторону. В саду на ветках яблонь из почек уже проклевываются листья. Бурый цвет холмов сменяется сочной зеленью. Наш двор пестрит желтыми нарциссами. Кусты розмарина покрылись фиолетовыми цветами, и повсюду кружат пчелы.

Я чувствую, что с весной приходит и возможность новых начинаний. Мне необходимо привлечь к этому Тобиаса. Вероятно, никто, кроме него, не сможет понять, каково мне жить здесь, управляясь с Фрейей. Я не могу заставить себя написать друзьям по имейлу. Даже мое короткое общение с Мартой выглядит натужным и искусственным — нашим с нею близким отношениям придется подождать до августа, когда она собирается к нам приехать. И с мамой я тоже поговорить не могу.

Я должна достучаться до него.

— Тобиас.

— М-м-м...

— День просто замечательный. Я люблю тебя. Как насчет того, чтобы бросить все и отправиться погулять?

— Любовь, — говорит Тобиас, глубоко погруженный в свою безмолвную музыку. — Любовь — это здорово.

Я жду еще несколько минут, глядя на его лицо в отблесках синего цвета от монитора компьютера.

— Как думаешь, ты скоро закончишь, чтобы мы могли пойти погулять? Мне это кажется прекрасной идеей.



— О да, прекрасная идея. Я только должен отослать Салли МРЗ-файл по имейлу. Еще минут десять, нормально?

— Я пойду наверх и надеюсь, что у тебя все получится.

Он уже опять вцепился в свою клавиатуру и ведет себя так, будто меня в комнате нет.

Так что я жду, жду... Через час кровь ударяет мне в голову. Я представляю себе, как сбегая вниз и начинаю орать: «Просто удели мне хоть какое-то внимание: отвечай мне, по крайней мере, когда я с тобой разговариваю!» И никак не могу остановиться. А Тобиас все равно не обращает на меня никакого внимания, так что я вытряхиваю на пол все белье из боковых шкафов. Он все барабанит по клавишам, поэтому я вытаскиваю выдвижные ящики, и это приносит мне больше удовлетворения, потому что там лежат тяжелые вещи, которые падают с грохотом. Но я еще толком ничего не сломала, поэтому разбиваю вдребезги окна в гостиной, а он все не замечает меня. Я начинаю резать запястья осколками стекла и пишу своей собственной кровью на стенах: «Просто ответь мне, мерзавец!» и в итоге он вынужден поместить меня в психушку — такие вот дела.

\* \* \*

Ночью наступает окончательная победа весны. Взошедшая полная луна приносит южное тепло и насыщенный аромат мимозы. На дверях амбара я обнаруживаю ночную бабочку размером с дамскую сумочку; с ее крыльев на меня слепо установились пятна странных ложных глаз.

На следующий день Людовик спозаранку уже копается на своей половине огорода. Увидев меня с Фрейей, висящей в перевязи на моей груди, он опирается на свою лопату и почти нетельно приподнимает шляпу.

— Как *la petite*?<sup>1</sup>

— Очень хорошо, спасибо. Вы сегодня рано.

— Конечно, — говорит он. — Садоводство — это моя профессия.

---

<sup>1</sup> Малышка (*фр.*).

Я улыбаюсь такому причудливому обороту речи, когда он говорит о садоводстве, как о работе или ремесле. Но он добавляет совершенно серьезно:

— Мой отец тоже был таким. Во время войны он прививал помидоры на побеги картофеля. Немцы реквизировали помидоры, но в землю они не заглядывали. Благодаря ему мы не страдали от голода.

Расшифровка этой фразы требует напряжения из-за сложности местного диалекта, но я уже начинаю привыкать к его манере изъясняться.

— А чем занималась ваша мать?

— Роза? Она была школьной учительницей.

— Роза? — переспрашиваю я. — На моем балконе вырезано имя «Роза».

— Это она. Роза Доннадье. Мы жили там, когда Ле Ражон принадлежал ее брату, моему дяде.

— А я все думала, кто она такая. Пыталась представить себе, какой она была.

Он бросает на меня пронизательный взгляд.

— Красивая. Крошечная, как воробышек. Но вместе с тем горячая. Роза была настоящим тираном. Кричит: «Я — школьная учительница и сестра учителя, а ты — чумазый *paysan*, и больше никто!» А мой отец, он просто стоит и смотрит на нее. И думает себе: «Как мне повезло, что она согласилась выйти за меня!»

Я смотрю на сгорбленную фигуру Людовика и пытаюсь разглядеть в ней романтическую историю любви его отца и красивой, пылкой матери. Но за выдавшей виды шляпой и пыльной рабочей одеждой ничего такого не видно.

— Если вам понадобится кто-то, чтобы присмотреть за вашей *la petite*, — угрюмо говорит он, — это могу быть я, пока копаюсь на огороде. Я имею опыт в таких делах.

— У вас есть дети? — спрашиваю я, чтобы скрыть свое удивление.

Он пожимает плечами.

— Уже нет. — Его тон исключает все дальнейшие вопросы.



\* \* \*

К нам заезжает Жульен.

— Сейчас мартовская убывающая луна, Анна, — говорит он. — Все семена нужно сажать сегодня.

— А вы всегда высаживаете растения на убывающую луну?

— О да! Абсолютно всегда.

В его глазах часто появляется какое-то насмешливое, поддразнивающее выражение. И я не знаю, серьезно он говорит или шутит.

Жульену нравится заходить к нам. Точнее, он включил нас в свой утренний маршрут. Теперь он проходит мимо наших дверей во время своего ежедневного похода вниз, в кафе Ивонн в Эге.

— Вы считаете это безумной идеей — попытаться открыть ресторан в таком месте?

— В течение восьми недель с приходом лета в долине будет полно туристов, — говорит Жульен. — Не вижу, почему бы им не подняться по склону холма, чтобы поесть здесь. Это красивое место.

— Не знаю, можно ли за сезон в восемь недель заработать на этом достаточно денег, чтобы на них прожить.

Жульен пожимает плечами.

— Это зависит от того, что вам нужно. Взгляните на меня. У меня все в порядке, и я не верю в денежную экономику. Я нахожусь вне системы налогов и социального обеспечения. Я не внесен ни в какие списки и реестры. Я не зарабатываю, и я не существую. И тем не менее каким-то непонятным образом — вот он я.

— Просто дело в том, что открытие ресторана требует больших вложений.

— Тогда используйте местные ингредиенты. Вы можете получить их бесплатно. Вот, оставьте Фрейю с Тобиасом ненадолго, и я дам вам урок, как здесь добыть съестное.

— Правда? И у вас найдется на это время?

— Анна, время — это единственное, что нам принадлежит по-настоящему. Мы просто должны уяснить, что с ним делать. Принесите корзинку.

Я пытаюсь передать Фрейю Тобиасу, но он только с отсутствующим видом качает головой и показывает в сторону Лизи. Я нервничаю, оставляя своего ребенка в такой нерадивой компании. Но Тобиас ее отец. Он должен брать на себя хоть какую-то ответственность, иначе с таким же успехом мог бы находиться и в Лондоне.

Через пять минут мы выходим на солнце. Жульен ведет меня на опушку леса.

— Сейчас подходящее время, чтобы поискать грибы. Тепло, и земля еще влажная. *Morilles, cèpes, girolles*<sup>1</sup>. Вы можете найти даже трюфели, если знаете, где их искать. — Он начинает бросать в корзинку грибы. — Но будьте осторожны: вы должны научиться отличать ядовитые. Здесь есть еще *fausse girolle* и *fausse cèpe*<sup>2</sup> — ими обоими можно отравиться. А от бледной поганки или сатанинского гриба вообще можно умереть.

— Жульен, возможно, грибы — это слишком сложно для меня.

— Нет, вы научитесь. Просто сначала собирайте один или два вида, чтобы лучше узнать их. А потом можете расширить свой выбор. Или... А как насчет вот этого? — Он всматривается в подлесок и раскрывает низкое ошестинившееся растение. — Что это вам напоминает?

Я с сомнением смотрю вниз.

— Не могу себе представить, *что* тут можно есть. Выглядит таким колючим.

— Посмотрите еще раз. На побеги.

Я внимательно смотрю и наконец узнаю его:

— Это же миниатюрная спаржа!

---

<sup>1</sup> Сморчки, белые, лисички (фр.).

<sup>2</sup> Ложные лисички и ложные белые (фр.).



— Да, дикая спаржа. Ее здесь масса в это время года. Абсолютный деликатес. Вероятно, вы не смогли бы себе позволить купить такое.

— Для моего ресторана это было бы просто идеально! Так экзотично! Я могла бы подавать ее с *saucе mousseline*<sup>1</sup>.

Он выдергивает из земли пучки зелени почти наугад.

— С черемшой и диким чесноком, вот. Или же на слое листьев одуванчика.

— Это фантастика! Это может стать фирменным блюдом моей кухни.

— А как насчет крапивы? Из нее можно приготовить изысканный суп.

Моя корзинка уже почти полная.

— Что ж, думаю, мне пора, — говорит он.

— Жульен, как мне вас отблагодарить? Это было замечательно!

Он улыбается:

— Не стоит благодарности. Находиться вне денежной экономики означает для меня, что я волен распоряжаться своей жизнью, делая то, что мне нравится. Что, с моей точки зрения, делает меня богаче любого миллионера.

— Собственно говоря... Я тут подумала, не могли бы мы нанять вас, чтобы вы помогли нам распорядиться землей? — говорю я. — Теперь, когда наступила весна, она начинает выходить из-под контроля.

— Хм... — Жульен смотрит на меня так, будто я предприняла какой-то неудачный шаг. Затем его серые глаза вспыхивают. — Конечно, если Тобиасу понадобится поддержка, когда он отправится вырубать кустарник, я буду рад помочь, по-дружески.

— Что, без денег?

— Если бы вы хотели превратить меня в наемного батрака, который будет регулярно работать на вас за деньги, тогда... В общем, вам также понадобилось бы иметь что-то такое, чего я действительно хочу.

---

<sup>1</sup> Соус со взбитыми сливками (фр.).



Он улыбается, чтобы смягчить эти слова, которые в устах кого-либо другого прозвучали бы как резкое высказывание. Я смотрю, как его прямая, крепкая спина исчезает внизу холма и думаю, он пытался этим мне сказать, что он свободен и это для него самое главное.

\* \* \*

Начинается дождь. Неумолимый теплый весенний дождь. Мне следовало бы послушаться Жульена: я ничего не посадила вчера, а теперь может пройти несколько недель, прежде чем можно будет выйти на улицу. Вместо этого будут буйно расти сорняки.

Когда к нам заходит Жульен, я приглашаю его пообедать с нами и подаю вместе жареную дикую спаржу, *omelette aux cèpes* и *salade d'orties*<sup>1</sup>. Мы сидим не в доме, а на крытой веранде, и наблюдаем, как на зеленую листву вертикальными потоками льется дождь, как во время тропического муссона.

— Очень вкусно, — говорит Жульен.

— Анна, — с упреком в голосе говорит Тобиас, — салат обжег мне язык.

Гремит гром, и дождь припускает с удвоенной силой.

— Проверьте, чтобы ваша цистерна для дождевой воды не протекала, — говорит Жульен. — Вам нужен этот дождь. Вам нужно сохранить питьевую воду на время сухого сезона.

Слова о том, что здесь когда-то может стать слишком сухо, нами не воспринимаются.

\* \* \*

Дождь продолжает идти. Речку заполнили тритоны и головастики. Куда бы я ни взглянула, везде пробивается новая жизнь, грубая и неконтролируемая, расплзающаяся по любому имеющемуся пространству. Пробегая по земле, я замечаю на огородных грядках рукколу и белый редис и думаю: нам действительно нужно начать вырубать ежевику, удалять кустарник и вспахивать землю, а также покупать навоз и удобрять почву.

---

<sup>1</sup> Омлет с белыми грибами и салат из крапивы (фр.).



Нужно подрезать фруктовые деревья; нужно организовать систему полива, купить парник и выращивать в нем рассаду, а также корчевать, корчевать и корчевать... Уже через двадцать минут таких размышлений я настолько измождена, что мне нужно вернуться в дом и лечь.

В кухне промозгло, как никогда. Черная плесень уступила место злобному зеленому лишайнику. Я застаю Тобиаса за тем, что он стоит, уставившись на пару лоснящихся слизняков в черных пятнышках, которые, переплетаясь друг с другом, свисают с потолка.

— Ты только взгляни на это! — восхищенно говорит он. — Такое впечатление, будто они целуются.

Бледно-голубое облачко слизи обволакивает слизняков, как вуаль: они явно в объятиях страсти.

В порыве внезапной ярости я подхватываю их в совок для мусора и вышвыриваю в окно. Я ожидаю, что Тобиас будет протестовать, но он только слегка цокает языком, как разочарованный ребенок. Это почему-то подталкивает меня начать оправдываться.

— У меня нет времени постоянно чистить и убирать здесь, — говорю я. — Я по уши закопалась во всей этой бюрократии. Я в двадцати местах просила разрешения превратить сарай в ресторан, и двадцать человек, цикнув зубом, ответили мне: «*C'est impossible*»<sup>1</sup>. Суть в том, что мы не можем иметь свой ресторан, если у нас нет водопровода. Это не отвечает местным нормам, какими бы они там ни были. А на самом деле ничего — абсолютно ничего! — в этом месте не соответствует вообще каким бы то ни было нормам, не говоря уже о нормах Франции.

— Ох, дорогая, — говорит Тобиас совершенно беззаботным тоном, делая себе кофе. — Я получил заказ на пару документальных фильмов, и, когда я выполню его, мы сможем погасить выплаты по закладной в этом месяце. Но получать такую работу труднее, когда находишься не в Лондоне.

---

<sup>1</sup> Это невозможно (фр.).





— Мы не можем полагаться на какой-то случайный документальный фильм. И речь идет не только о закладной этого громадного поместья. То, что ты зарабатываешь сейчас, не покрывает наших расходов на жизнь. Мне кажется, я имею право получить коммерческий кредит на семь тысяч евро — здесь это называется *prêt à la création d'entreprise*<sup>1</sup>, — хотя одному Богу известно, как мы будем его погашать. С учетом этого, плюс доход от твоего документального фильма — мы, по моим расчетам, сможем продержаться ровно девять месяцев. Если я к этому времени не начну зарабатывать, мы должны будем все это продать и уехать домой.

— Я не уверен, что мы сможем это продать. Не забывай, мы купили это место задешево, потому что никто не хотел его покупать.

— Ты не понимаешь. Дело в том, что я постоянно работаю, чтобы привести все в порядок, а все вокруг рушится нам на голову. Мы платим Лизи за работу по дому. Так почему у нас везде такой бардак?

— Ну, домашняя работа в этом месте довольно... непомерная, — говорит Тобиас, уходя со своим кофе в гостиную. — С чего ей нужно было бы начать?

— Я прямо сейчас иду, чтобы попросить Лизи прибрать весь этот беспорядок.

Я выхожу под дождь. Лизи в ее контейнере нет. Я замечаю ее стройную фигурку в конце сада: она кружится вокруг орехового дерева. Она насквозь промокла и сейчас, когда с ее лоснящихся черных волос ручьями течет вода, еще больше напоминает выдру. Такое впечатление, что она совершает какой-то своеобразный танец. Я делаю над собой нечеловеческое усилие, чтобы сдержаться и не спросить ее, какого черта она здесь делает.

— Лизи, — говорю я, — пожалуйста, не могли бы вы кое-что сделать по дому?

Лизи бросает на меня испуганный взгляд.

---

<sup>1</sup> Ссуда для открытия предприятия (фр.).



— Я сейчас приду, — говорит она. — Духовный импульс как раз сейчас очень сильный, и я не хотела бы его пропустить.

\* \* \*

Я написала для себя список.

Что нужно сделать по дому:

Крыша.

Проводка.

Канализация.

Водопровод.

Вода! (подключение/фильтрация/хранение)

Септический бак.

Штукатурка (стены).

То же самое (потолки).

Полы.

Окна и двери.

Центральное отопление.

Кухня для дичи.

Кухня и ванная комната.

Он выглядит слишком устрашающе. Я совершенно не знаю, с чего и как начать. Я переворачиваю лист бумаги и пишу новый список.

Купить:

Фунгицид.

Я оставляю Фрейю с Тобиасом, а сама еду в долину поискать какую-нибудь отраву, чтобы вывести лишайник на кухне. Наша «Астра» отметила приход весны тем, что в ней сломалось что-то такое, из-за чего нельзя поднять крышу. Дождь течет по моему лицу, заливая глаза так, что я плохо вижу. Даже при включенных фарах я все-таки не замечаю туриста, путешествующего автостопом, который стоит посреди дороги. Я резко жму на тормоз, машину заносит, время останавливается.



На сетчатке глаз у меня вспышкой запечатлевается изображение человека, которого мне предстоит убить: высокий, молодой, стройный, с оливкового цвета лицом и темными глазами.

Машина с диким скрежетом останавливается. А затем, прежде чем я успеваю прийти в себя, он уже залезает на сиденье.

— Английские номера, — говорит он по-английски. Голос у него мелодичный, с очень легким акцентом. — И открытая машина. Как это славно, даже под дождем!

Слышать такое странно. Я пялю на него глаза. Он мгновенно смущается, как будто его застукали на чем-то неприличном или невежливом.

— Я хотел сказать, *особенно* под дождем. Я обожаю ощущение дождя, хлещущего в лицо. Особенно на ветру.

— А вас не смущает, что вода течет за шиворот?

— О нет, это я люблю особенно.

— Отлично говорите по-английски.

— Я учился на вашем замечательном острове Уайт. И люблю все английское. Даже молоко в чае.

— Куда вы направляетесь? — спрашиваю я.

Он смеется нервно и неожиданно пронзительно:

— Да я и сам точно не знаю. Моя семья из Алжира, они все там очень строгие и не одобряют... Короче, мы поссорились. По правде говоря, они меня выгнали. Жить мне негде. Могу делать всякую *bricolage* — мелкую работу. А еще я неплохой механик.

— Сможете починить крышу в моей машине? Когда начался дождь, в ней что-то там застряло.

— Крышу? Дождь? — Он выглядит совершенно сбитым с толку. — Ну, думаю, что смогу.

Я резко торможу и съезжаю на расширение дороги для разъезда машин. Он удивленно таращится на меня.

— А прямо сейчас можете? — подталкиваю его я.

— Ох! Конечно.

Из своего рюкзака он извлекает гаечный ключ с отверткой и принимается за работу. У меня такое ощущение, будто я наблюдаю за каким-то волшебством. Через пять минут крыша уютно закрывается. Окна тут же начинают запотевать.



Он улыбается, и улыбка у него исключительно приятная.

— Ее может быть трудно поднять обратно, — говорит он. — Мне нужно там кое-что немного смазать.

— Спасибо, — говорю я. — Могу предложить вам работу.

Когда мы едем назад в Ле Ражон, на одном из крутых поворотов дороги, в узком коридоре из скалистых утесов нашу «Астру» заносит, и ее потертые шины отчаянно поют. Он вскрикивает от испуга, но я его уже немножко знаю, чтобы не удивляться тому, как он выкручивается из этой неловкой для него ситуации.

— Я имею в виду... что просто дух захватывает, — говорит он. — Тут такие... такие *минералы*.

\* \* \*

Тобиас по-прежнему сидит в гостиной, где я его и оставила. Фрейя, к счастью, крепко спит в своей переносной кровати рядом с ним. Он уже налил себе еще одну кружку кофе, снял наушники и решает sudoku из британской газеты двухдневной давности.

— Это Керим, — говорю я. — Он поможет нам выполнить кое-какую работу по дому.

— Какая красивая комната, — говорит Керим. — Вам просто нужно немного подровнять эти балки и проолифить их потом. И подштукатурить стены. Какой очаровательный буфет! Ох, а что это случилось с орехами?

Моя замечательная миска из каталога журнала «Хоумс энд гарденс», полная орехов, по-прежнему стоит на буфете, но мыши — вероятно, из-за того, что им нужно чем-то кормить своих деток, — уже принялись за нее. В самых лучших орехах прогрызены аккуратные отверстия, а их содержимое исчезло. На совершенное преступление указывают только немногочисленные осколки скорлупы на буфете и на полу.

— Тобиас! — ору я. — Ты видел, что случилось с моими орехами?

— Э-э-э... орехами?

— Эти маленькие негодники должны были бегать прямо у тебя под ногами. И произошло это только что, *за последний час*.

Керим выглядит заинтригованным.

— Мыши, — говорит Тобиас.

— Я на самом деле обожаю мышей, — с энтузиазмом говорит Керим.

— Они пришли отсюда.

Я вихрем лечу на кухню. Лизи до сих пор не убрала здесь. За этот час, пока меня не было дома, лишайник на стене, похоже, стал еще жирнее и еще зеленее.

— Керим! У меня есть для вас работа. Мне необходима кухня, защищенная от мышей.

— О! — говорит Керим. — А вы действительно хотите выгнать отсюда мышей? Ну, я, конечно, мог бы попробовать сделать все дыры на кухне, но это вряд ли сможет полностью вывести их. Я мог бы сделать вам шкафы. И закрыть их сеткой. Но это большая работа. Всего из-за нескольких мышек...

— Вы и вправду можете сделать мне шкафы? В которые они не смогут добраться?

— Ну да, разумеется.

— Эй, приятель! — говорит Тобиас, встречая в наш разговор. — Я вот тут подумал: может быть, вы могли бы помочь мне построить студию?

— Студию?

— Да, студию звукозаписи. Единственная проблема состоит в том, — Тобиас смотрит на меня, — что у нас в данный момент на это не так уж много денег. Но в нашем амбаре есть место, где мы могли бы установить звукоизоляцию из упаковок для яиц, чтобы я мог перенести туда свою аппаратуру. — Он бросает на меня торжествующий взгляд. — Анна, этим ребятам у Салли действительно понравилась записанная мною дорожка. Так что сейчас ты смотришь на композитора, который будет писать музыку к «Мадам Бовари». Разумеется, они заплатят мне не раньше, чем начнется этап звукозаписи, а им еще нужно утрясти кое-какие детали с финансированием, так что на это может уйти какое-то время. Но в итоге это будут по-настоящему хорошие деньги. Кроме того, это станет фантастическим скачком в моей карьере.



\* \* \*

Керим обустроил себе гнездышко в комнате рядом с винodelьней.

— Обо мне не беспокойтесь — я живу как принц, — не устает повторять он, хотя в моей памяти это помещение напоминает собой пришедший в запустение гараж. Когда я заглядываю к нему, чтобы посмотреть, как он там, я поражаюсь тому, как удобно он там все обустроил.

— О, я просто заново подсоединил трубу к этой пузатой печке, отремонтировал остов старой железной кровати, а матрас нашел среди развалин, — говорит он. — Надеюсь, что вы не возражаете против того, что я взял его на время. Ну и, конечно, я тут немного подмел и навел глянец. Знаете, это очаровательная комната — взгляните только на это старое стекло в окнах. Я мог бы легко вставить его в окна ваших апартаментов. Вы могли бы их сдавать и немного зарабатывать на этом.

— Это было бы нам очень даже кстати. Сейчас действительно может понадобиться дополнительный доход. Тобиас зарабатывает от случая к случаю, по мелочам: на музыке для документальных фильмов, а за большую работу, похоже, ему заплатят еще не скоро. Я пытаюсь открыть ресторан, но туристический сезон здесь всего восемь недель, да и все туристы в любом случае находятся в долине. Собственно говоря, это была идея Тобиаса.

— А что *вы сами* любите делать?

— Я люблю готовить. Этим я и занимаюсь. Это на самом деле *мое*. А сейчас я просто пытаюсь дать этому выход здесь.

— Анна, а почему бы вам не поработать с тем, что это место может вам предложить? Красивые окрестности, покой, удаленность от цивилизации.

— Для ресторана это не слишком хорошо.

— А как насчет чего-то, связанного с проживанием здесь? Возможно, какое-нибудь обучение или преподавание.

— Кулинарная школа, — медленно говорю я. — Я могла бы написать Рене — это мой знакомый шеф-повар из Прованса — и попросить у него совета.

— Я мог бы отремонтировать эту комнату под жилье. Но вам также необходимо иметь в доме еще несколько жилых комнат для гостей.

— Просто... Здесь и без того столько еще нужно сделать. Мне необходима кухня. Тобиасу нужна студия. Ивонн нужна *laboratoire* для ее колбас. А теперь еще и жилые помещения.

— Мы будем делать все по очереди. Я не могу вам сказать, сколько времени смогу здесь оставаться, но я направлю вас по правильному пути. Вам только нужно будет правильно расставить свои приоритеты.

\* \* \*

Я договорилась с Лизи, что она будет регулярно сидеть с ребенком три часа — с девяти до полудня, — начиная с сегодняшнего дня.

Но гораздо больше времени у меня ушло на то, чтобы старательно объяснить ей, как менять подгузники, как кормить Фрейю сцеженным в бутылочку молоком, как давать ей срыгивать; как подкладывать большой палец ей под затылок, а ладонь под шею, когда поднимаешь ее, потому что сама она голову держать не может. В ходе всех моих объяснений Лизи молча смотрела на меня своими широко открытыми, круглыми, как у выдры, глазами.

— Я иду на прогулку, — угрюмо говорю я. — Если у Фрейи начнется приступ, позовите Тобиаса.

Я гуляю по склону холма полчаса. Когда я возвращаюсь, ни Лизи, ни Фрейи не видно. Коляска и перевязь по-прежнему в комнате, а плетеная кровать-корзинка отсутствует.

Тобиас все еще сидит в углу комнаты. Я стаскиваю с него наушники, рискуя вызвать его недовольство.

— Где Фрейя?



— О, я думал, что она по-прежнему здесь, с Лизи, — говорит он.

Я мчусь к морскому контейнеру, но Лизи там нет. Пока что я стараюсь не плакать. Я бросаюсь в сарай. Здесь стучит молотком Керим — он строит Тобиасу студию. Рядом с ним в переносной кровати лежит Фрейя, так плотно закутанная в одеяла, как даже мне не сделать. Несмотря на шум, она выглядит вполне довольной.

Я еще не в состоянии говорить. Поэтому молча указываю на корзинку-кроватьку.

— Анна, я надеюсь, что вы не имеете ничего против. Мне не хотелось беспокоить Тобиаса, но я подумал, что Фрейе лучше не оставаться в гостиной, и принес ее сюда.

— Но где же Лизи?

— Лизи сказала, что ей нужно уйти. — Он расцветает в улыбке. — Знаете, она должна каждый день исполнять особый танец, чтобы повышать внутреннюю энергию тела. Это для нее важно. Так что я сказал ей, что присмотрю за Фрейей. Мне кажется, что она все равно не знает, как с ней обращаться.

\* \* \*

Керим ведет себя неизменно предупредительно и любезно. Со всеми. Причем доходит в этом до смешного. Он вдруг исчезает на несколько часов, а потом заявляется и говорит:

— ...Этой милой пожилой даме из Рье нужно было кое-что купить в магазине, так что я сбежал в Эг, чтобы принести ей это. Она напоминает мне мою маму...

— ...Почтальонша не успевала обойти все свои адреса, так что я проехался по холму на велосипеде, чтобы доставить последние несколько писем...

— ...У Жана-Люка с фермы у дороги проблемы с радиккулитом, так что я сходил подоил его коз...

Он перезнакомился со всеми соседями в округе и рассказывает все это, подразумевая, что мы тоже всех тут знаем.

И все же, несмотря на дружелюбие, его окутывает какая-то атмосфера тайны. Он не рассказывает, почему произошла раз-



молвка с его родителями, говорит только, что чувствует несовместимость с ними. И еще он категорически отказывается брать деньги за свою работу.

— В конце концов, — говорит он, когда Тобиас наезжает на него по этому поводу, — вы ведь приютили меня... и мне может понадобиться спешно уйти. Я не хочу подводить вас.

Ну как может быть человек настолько хорошим? Если бы он занимался политикой, то уже стал бы президентом. Но в этом-то и кроется главная загадка: если он действительно настолько хороший, как видится со стороны, почему тогда, черт возьми, он живет в таких непритязательных условиях здесь, с нами?

\* \* \*

Тобиас уговорил меня пока повременить с моими кухонными шкафами с сеткой. Так что Керим сейчас вкладывает все свои силы в строительство студии звукозаписи.

Вместо этого я решила герметически изолировать доступ мышам к моим продуктам. Пластиковые контейнеры, в которых я запаковывала приготовленную мной еду, идеально подходят для этих целей. У них есть крышки, которые плотно закрываются с успокаивающим душу щелчком. Я изучила свои полки и переписала для себя размеры всех уязвимых позиций из своих припасов, после чего потратила еще три часа, подбирая аккуратные пластмассовые коробки точно под каждый пакет сахара, муки, орехов и бобов.

Эта работа приносит мне непередаваемое удовлетворение.

\* \* \*

Мы с Тобиасом не спим. У нас наш еженощный ритуал.

Я укладываюсь первой и пытаюсь потихоньку протащить Фрейю в нашу кровать. Она почти не занимает никакого пространства. Я обхватываю ее рукой, и она утыкается лицом мне в подмышку, прижимается ко мне всем своим тельцем и мгновенно засыпает. Она выглядит такой чистой, такой славной, такой самодостаточной.



Тобиас никогда не идет спать вовремя. Я выключаю свет и делаю вид, что в постели одна.

Когда он поднимается наверх, то включает свет и рычит:

— Убери ее отсюда! Я не могу спать с ней на одной кровати!

— Но она совсем не шумит. Просто ангельский ребенок.

— Мы с тобой оба прекрасно знаем, что ночью, как только я засну, она начнет ворочаться. Или пищать. Или хрипеть. Я не собираюсь с этим мириться.

Иногда он прибегает к нежности и умоляет:

— Я хочу спать в постели с *тобой*. Моей прежней Анной. Куда подевалась вся романтика?

Обычно он побеждает, и Фрейя возвращается в свою колыбель в другом конце комнаты.

Но тогда невидимая, соединяющая нас с нею нить по десять раз за ночь дергает меня. Я просыпаюсь от малейшего шороха и бегу к ней.

Большинство ночей все спокойно, но иногда раздается едва различимый сдавленный крик. Она зовет меня? Или это предупреждение? А может, предчувствие? Не знаю, но это означает, что у нее начинается приступ.

Я стою посреди холодной спальни и, пока он длится, держу ее на руках. Сначала самая страшная часть, когда кажется, что она вообще не дышит, кожа вокруг рта у нее синеет. Я раздвигаю ее волосики, чтобы посмотреть на малиновое родимое пятно у нее на голове. Постепенно, по мере того как кровь обедняется кислородом, оно превращается из красного в черное. У меня под рукой находится ректальный валиум, который нам выдали для экстренных случаев. Я боюсь использовать его. До сих пор, к счастью, как только я уже готова вытащить это лекарство из его пугающей упаковки, ей удастся сделать маленький вдох, даже полувдох, который почти невозможно услышать, но черное пятно у нее на голове мгновенно светлеет до цвета темного вина. Это говорит мне, что на этот раз она победила в сражении за свою жизнь.

Ее тельце представляется мне веревкой в игре с перетягиванием каната. С одного конца находится дыхание. А за дру-

гой, балуясь, дергает смерть, отчего так вздрагивают эти маленькие ручки и ножки.

Я считаю ритм ее дыханий и спазмов: сначала следует три-четыре сдвоенных подрагивания на один судорожный полу-вдох, потом напряженная борьба, потом несколько вдохов. Она издает слабый крик и раздражается изнурительной серией конвульсий.

Постепенно соотношение вдохов и судорог улучшается: три раза вдохнула — два раза дернулась, четыре вдоха — один раз дернулась. Затем откат назад: шесть подергиваний подряд, словно невидимые челюсти хватают ее за горло, выдавливая из нее жизнь. В конце концов подергивания затухают, сменяясь редкими спазмами. Фрейя лежит изможденная, глядя куда-то вдаль, и обессиленно икает.

И тогда начинаются жалобные завывания, долгие и безутешные. Я крепко прижимаю ее к себе и гадаю, плачет ли она потому, что чувствует себя потерянной, растерявшейся и испуганной, или же просто из-за того, что наглоталась воздуха.

В большинстве случаев я просыпаюсь в четыре утра, дрожа от злости. Я лежу в постели, думаю наугад о разных людях, представляю себе, как они жалеют меня, пытаются избежать Фрейю, насмеваются над моим ребенком. Я воображаю себе все их язвительные замечания, накручивая себя до приступа ярости. Я мысленно хватаю их, топчу ногами, ставлю их на место...

Затем вдруг наступает отрезвляющий момент, и я вспоминаю, что все это неправда. Я все это выдумала. И винить тут некого.

# Апрель



Завтрак по-леражонски. Фрейя только что вырвала на меня выпитое молоко. Сейчас она сползла на своем детском шезлонге-качалке, икает и дрыгает ногами, а я, полностью погруженная во французские бюрократические бумажки, рассеянно играю с ее ножками, щекочу их тугую плоть, хватаю ее совершенные ручки и ладошки. В такие моменты она кажется крепкой и здоровой. Тобиас допивает свой кофе: он может завтракать часами. Керим стоит на стремянке и натягивает проволочную сетку до самого пола. Лизи в совершенно деморализованном состоянии пытается соскрести со стены селитру.

Хлопает передняя дверь, впуская в дом порыв воздуха с ароматом сирени. И еще одним запахом, хорошо знакомым и здесь неуместным. «Шанель».

— Здравствуй, дорогая. Не слишком ли уже поздно разгуливать в пижаме? Боже мой, этот ребенок что, вырвал на тебя?

— Мама, что ты здесь делаешь?

— Я взяла такси на вокзале. Не хотела тебя беспокоить.

Но скорее всего, просто не хотела, чтобы я остановила ее.

— Но почему ты здесь вообще?

— С тех пор, как умер твой отец, у меня на самом деле нет необходимости оставаться дома. И я знаю, что ты ужасно занята с этим твоим ребенком и этим ужасным местом. Так что я приехала, чтобы тебе помочь.

— Помощь исключается. Ты имела в виду, остаться здесь? На сколько?

— На столько, детка, на сколько потребуется. В тебе никогда не было ни капли здравого смысла, а у Тобиаса с этим дела



обстоят еще хуже. А кто этот очаровательный молодой человек?

Керим уже спускается с лестницы, сияя своей ослепительной улыбкой.

— Вы мама Анны? — спрашивает он. — Позвольте мне лично поблагодарить вас за то, что у вас такая замечательная дочь.

Я думаю, что это уже слишком даже для Керима. Но моя мать прямо у меня на глазах преображается в трепетную девочку-подростка. И что бы там ни думали по этому поводу в РЭО, со зрением у нее, похоже, все не так уж безнадежно. Я вижу, как ее взгляд последовательно перемещается с идеально белых зубов Керима на его большие темные глаза, длинные мягкие ресницы.

— Что ж, она действительно получила хорошее воспитание, — расцветает она.

Он смотрит на нее сияющими глазами.

— Ваша дочь с Тобиасом приютили меня и дали работу в тот момент, когда мне некуда было идти.

— О, он просто замечательный, — говорю я. — И прекрасно справляется с любой работой по дому.

— Так он еще и работает по дому? — охает моя мать. — Как же тебе повезло!

\* \* \*

Я убедила Тобиаса, что Фрейю нужно искупать. Мы с мамой стоим у печки и наблюдаем за этим. Фрейя молчит — она в восторге и занимается тем, что крайне сосредоточенно дрыгает под водой ногами. Его голова с кудрявыми темными волосами склонилась над ней, и я думаю о том, как они похожи. Я также чувствую, что этот ребенок разделяет с ним сибаритскую любовь физического восприятия.

— А она чувствует холодное и горячее?

— Да, мама.

— А что еще она может чувствовать?

— Ну, она может быть радостной, довольной, голодной, может злиться...



— Хм...

— Что ты хочешь сказать этим своим «хм»?

— Хвастаться тут нечем, — сердито отвечает мама. — Думаю, что даже растение может чувствовать все *вот эти* вещи.

Моя мама — анимистка<sup>1</sup>: она придумала свою собственную религию, которая основывается на почитании предков и идолопоклонничестве на этой почве. В своей спальне в Ле Ражоне она обустроила небольшое святилище: под фотографией своей матери, которая умерла, когда она была еще девочкой, разместила святые для нее образы — размытые портреты, вырезанные из семейных фотографий. Среди них, разумеется, есть я и ее любимые кошки. Фрейя повысилась до нашего уровня. Немного ниже располагается фото моего отца. В самом низу находится миниатюрный снимочек Тобиаса. На туалетном столике под этим алтарем, как какое-то тотемическое животное, восседает мой детский плюшевый мишка — тот самый, которого она привозила с собой в больницу и которого в конце концов, видимо, решила не отдавать Фрейе. Но я не жалею: я приятно удивлена, что Фрейя пробилась на самый верхний уровень иерархии ее избранников.

— В этом месте у тебя полный хаос и разруха, дорогая. Кто эта странная девушка, смахивающая на хиппи? Предполагается, что она выполняет какую-то работу в этом доме?

— Лизи — своего рода вольная душа. Она как бы просто досталась нам вместе с домом.

— Она определенно не очень хорошо умеет убирать. Даже еще хуже, чем ты. Сейчас вас, молодых девушек, этому никто не учит. А вы все бегаєте, занимаетесь только своей карьерой, совершенно не думаете о своей матке. Ничего удивительного, что ребенок... — Преувеличенно долгая пауза. Испуганно прижатая к губам ладонь. Тактичность моей мамы способна с расстояния в сто шагов разбить зеркало. — В любом случае,

---

<sup>1</sup> Анимист — приверженец анимизма; анимизм (от лат. anima, animus — «душа» и «дух» соответственно) — вера в существование души и духов, а также в одушевленность всей природы.



дорогая, будет лучше, если ты позволишь мне взять всю работу на домашнем фронте на себя.

Пока она не произнесла этого, я и не знала, что это были те самые слова, которые я жаждала от нее услышать. Похожие ощущения у меня бывали в детстве, когда я болела: на меня накатывала волна облегчения, и я понимала, что, если захочу, могу прямо сейчас улечься в постель и позволить ей лихорадочно суетиться вокруг меня, гладить прохладной рукой мой лоб, подтыкать со всех сторон хрустящие накрахмаленные простыни, приносить мне домашний бульон и лимонад на подносе, украшенном свежими цветами.

Моя мама — не просто рядовая домохозяйка. Она закончила лондонский колледж домоводства — суровое учебное заведение, где провела лучшие годы своей юности, обучаясь готовить, убирать, чистить и вообще служить мужчине. Дело происходило во времена, когда ничего не выбрасывалось, а все ремонтировалось и использовалось многократно. «Я была лучшей в нашем классе, — любит повторять она, — и могу тебе сказать, что в наши дни конкуренция там была очень жесткая».

Мои детские воспоминания приправлены горечью суровой дисциплины моей мамы в отношении рутинной домашней работы: стирки, уборки пылесосом, методичной полировки всех блестящих деталей. Моя школьная форма всегда была прекрасно уложена в моих выдвижных ящиках; все было выглажено, даже носки. Она знает, как правильно скрести, готовить и гладить. И я совершенно уверена, что она наверняка знает пару ловких фокусов, как справиться с растущим на стенах лишайником.

— А сейчас, — говорит мама, — где твой комод для белья? Начинают обычно с него. Подозреваю, что у тебя там жуткий беспорядок.

\* \* \*

Моя мама разобралась с нашими буфетами, вторглась на мою кухню и взяла под контроль всю стирку.

— Начав с тебя, с твоими пластиковыми контейнерами, и твоей мамы, с ее бесконечной глажкой, мы сможем скоро



открыть тут приют для страдающих от синдрома навязчивых состояний.

— Тобиас, ты забываешь, как все это выглядело до ее приезда.

— Меня тошнит от того, как она флиртует с Керимом, — это просто абсурд какой-то.

— Она не флиртует. Просто она росла в другую эру.

Но в словах Тобиаса есть резон. Моя мама приступает к глажке, надушившись «Шанелью» и повязав шейный платок от «Гермеса». Она наконец-то нашла мужчину, который никогда не устает ей что-то приносить и уносить. И, самое главное, Керим относится к образу и званию Матери с таким почтением, о котором даже она могла только мечтать.

— О нет, не поднимайте это, — говорит он. — Позвольте, я вам помогу. Вы ведь Мать.

И она принимает это за чистую монету.

У нее есть своя теория насчет того, что наносит и что не наносит урон женской матке. Она будет ползать на четвереньках и драить каменные плиты пола, но при этом ни за что не станет забивать гвоздь в стену.

— Это мужская работа. Керим, вы не откажете мне?

И Керим не отказывает даже в самых последних мелочах. Студия Тобиаса давно закончена; последние несколько недель он работает уже над кухней и кладовой для дичи, но значительная часть этого времени посвящена выполнению команд моей мамы.

— Ваша теща — очень гламурная женщина, — говорит он Тобиасу.

— Будьте осторожны: одного мужчину она уже довела до смерти.

— О нет, вы шутите. Она такая славная дама! Как моя мама.

— Как такой парень, как вы, мог каким-то образом рассориться со своей матерью? — недоверчиво спрашивает Тобиас.

Керим становится печальным.

— Не знаю, но я скучаю по ней. Мама — самый дорогой человек для каждого.



Керим и моя мама часами сидят по вечерам, когда все остальные уже пошли спать.

— Он очаровательный молодой человек. Забавно, но я ничего не могу ему сказать, буквально ничего. Мы просто *разговариваем*. Он напоминает мне твоего отца, когда тот был молодым. До того, как мы с ним поженились, разумеется. После свадьбы, после появления детей уже так не разговаривают. Подозреваю, что ты заметила это по Тобиасу. Керим намного младше меня, но между нами существует настоящий контакт. Думаю, что он ценит мою компанию. А компания — это самое главное в любых взаимоотношениях.

— Взаимоотношения? Мне казалось, что ты ненавидишь это слово. Ты говорила мне, что оно новомодное и непристойное.

Моя мама выглядит сбитой с толку и нервничает.

— Ну, мне кажется, Керим его очень часто употребляет, когда мы с ним разговариваем о разных вещах. В его устах оно почему-то звучит не так плохо.

— О чем вы с ним разговариваете, черт побери?! Я никогда не считала Керима слишком болтливым. Услужливым — да, но разговорчивым — нет.

— Мы ведем с ним такие замечательные беседы, дорогая. Во многих отношениях он старше своего возраста. Он буквально все понимает.

— Что, например?

— Я рассказала ему все про твоего отца.

— И что же он на все это сказал?

— Ну... — На мгновение мама теряет уверенность. — В общем, дорогая, он вполне согласен с тем, что говорю я.

Прибирая наши жизни к своим рукам, Керим ведет себя даже активнее, чем моя мама.

Он деликатно забрал Фрейю у Лизи, которой мы продолжаем платить за то, что она приглядывает за нашей дочкой. Теперь он стучит молоком, положив Фрейю рядом с собой и бережно завесив ее корзинку простыней, как клетку с канарейкой, чтобы она не дышала пылью.



Он взял с меня обещание написать Рене и спросить, сможет ли тот помочь мне организовать кулинарную школу местной кухни здесь, в Ле Ражоне.

Но самое важное, что он вернул мне мое святилище: моя новая кухня начинает вырисовываться и принимать свою форму прямо у меня на глазах.

Он постарался тщательно заделать все дыры в стенах, по которым мыши пробирались внутрь. Он отгородился от селитры в нише с помощью *doublage* — двойной стенки. Он обработал каменные плиты соляной кислотой, вернув им их прекрасный терракотовый цвет; удалил из хлебной печи следы старой копоти и чудесным образом заставил ее работать. Он со вкусом смонтировал современное кухонное оборудование: мойки из нержавеющей стали, профессиональную плиту и впечатляющий набор рабочих поверхностей и всевозможных полок.

Его усовершенствования в кухне для обработки дичи оказались еще более внушительными: он снабдил арку массивной дубовой дверью, которую обнаружил в сарае, превратив таким образом все это в отдельное помещение. Он оштукатурил стены и снял подвесной потолок из полистирола, где была дохлая мышь; обстрогал дубовые балки, вычистил мощный камнем пол и вернул это место в двадцать первый век, снабдив его надежной проводкой и сантехникой.

Благодаря ему для нас буквально открылась эта небольшая, но очень впечатляющая комнатка, которая явно была построена раньше, чем весь остальной дом. Вид у нее получился средневековый: длинная и узкая, немного конусообразная с обеих сторон; в самой узкой ее части, над мелкой каменной мойкой, располагается окно с каменной рамой на четыре стекла — форма комнаты такова, что она подчеркивает это окно с мойкой, так как на них сходятся все линии комнаты. Над мойкой вбит мясницкий крюк, толстый и поржавевший. Потолок достаточно высок, чтобы на крюк можно было подвесить тяжелую тушу животного, а расположен он так, чтобы кровь стекала в мойку.



— Ух! Вы посмотрите на этот крючище, — говорит Лизи. — Зачем он тут такой?

— Чтобы подвешивать дичь, — говорит Людовик, который пользуется своей работой в огороде в качестве повода заглянуть в дом, когда ему этого хочется. — На этом крюку раньше часто висел целый олень. Это когда я был еще маленьким.

Он охотник и, по всему видно, стреляный воробей, но где-то все же есть слабинка: на глаза у него наворачиваются слезы.

Я получила ответное письмо от Рене, где он пишет, что будет рад направить ко мне учеников. Имеются в виду, конечно, те ученики, которые не нужны ему самому: несерьезные и поверхностные британцы, которые хотят в основном научиться готовить для себя по праздникам, а не заниматься профессионально кулинарией.

В кои-то веки я не возражаю против того, чтобы меня считали поверхностной. Внезапно мне становится более интересно и весело предлагать не только обучение, но и свой опыт: собирать ингредиенты блюд из окружающей природы, готовить их в хлебной печи или на плите и есть их всем вместе за столами, установленными на козлах посреди двора.

— Керим, ты настоящий ангел. Что бы мы без тебя делали?

— Не говори так, Анна, я этого не заслуживаю.

— Ты обновляешь наш дом и не берешь за это денег, ты строишь студию Тобиасу, занимаешься моей профессиональной карьерой и присматриваешь за нашим ребенком. Как же я еще должна называть тебя, если не ангелом?

Он, потупившись, угрюмо смотрит в землю.

— Это все обман, — говорит он. — Я не такой, каким кажусь.

И сколько я ни пытаюсь, больше ничего мне из него выжать не удастся.

\* \* \*

Керим пригласил мою мать пообедать с ним в кафе у Ивонн.

— Он пригласил меня так официально. И очень при этом смущался, — говорит моя мама. — Все это совершенно невин-



но, разумеется, но тебе не кажется, что это похоже на *свидание*? Я не хочу, чтобы у него появились какие-то *мысли*. Было бы совершенно неправильно поощрять его в этом. Расскажи мне, как вы, молодые люди, делаете это сейчас? Может мужчина пригласить женщину пообедать без каких-то далеко идущих планов? Возможно, дорогая, будет лучше, если вы с Тобиасом тоже поедете со мной. В качестве группы поддержки. К тому же я не думаю, что у него есть деньги. Да, думаю, что по счету должен будет заплатить Тобиас.

Я чувствую, как на меня накатывает знакомая волна беспричинной, иррациональной злости. С Тобиасом в последние дни и так тяжело. Как я могу предложить ему пообедать у Ивонн в компании с моей матерью?

Для спасения я выбираю трусливый путь.

— О, ради бога, мама, ты в каком веке живешь? Не будь смешной: ну какое это может быть свидание? Ты второе старше его. Кроме того, тебе не приходило в голову, что за себя ты могла бы заплатить и сама?

— Вы, молодые люди, можете сколько угодно платить сами за свою еду, если хотите. А вот *мы* привыкли в ресторане хорошо выглядеть и иметь при себе славного молодого человека, который оплатит счет.

Схожесть моей мамы с молоденькой девочкой испарилась. Внутренний голос шепчет мне: «Что ж, Анна, я надеюсь, ты гордишься собой. Ты это сделала». Но тут же во мне раскошегаривается мой сарказм, который вскоре становится похожим на паровоз, разгоняющийся с горки. И спрыгнуть с него я уже не могу.

— Ты хочешь сказать, что еду вам заменял секс, — вырывается у меня.

— Нет, господи, они не имели в виду ничего такого! Им просто было приятно, что их видят под руку с красивой девушкой.

Но она все равно выглядит задетой.

— И я был бы горд, чтобы меня увидели под руку с вами, Амелия.

Мы не заметили, как вошел Керим. Я чувствую, что начинаю краснеть, но он только улыбается своей улыбкой опытного политика и непринужденно приходит мне на помощь.

— Анна, мы с Амелией собираемся пообедать у Ивонн. Я подумал, может быть, вы с Тобиасом тоже присоединитесь к нам? В качестве моих гостей, естественно. Я уже поговорил с Тобиасом, и он сказал, что поддержит это, если вы согласитесь. О, прошу вас, Анна, поедьте с нами, без вас это будет совсем не то!

\* \* \*

За плотным обедом из холодных мясных блюд моя мама выпивает полбутылки вина «Фожер» и пускается в пространные рассуждения:

— В колледже меня считали одевающейся довольно рискованно за то, что я носила брюки «капри». Грейс Келли выглядела в них потрясающе, и я не могла успокоиться, пока у меня не появились такие же. Не надо на меня так смотреть, дорогая, — это был 1957 год, и общество вседозволенности еще не было изобретено. Все носили только повседневные платья и широкие юбки в сборку с облегающим поясом. Другие девочки, конечно, носили нейлон. Но мне было восемнадцать, и я думала, что нейлон — это так *скучно*...

Я думаю о том, насколько привлекательно она выглядит для своего возраста. В темных глазах Керима горит восхищение. Она расцветает.

— Да, я была очень энергичной девушкой, прежде чем выйти за твоего отца. Но ты же знаешь, как это бывает: выходишь замуж, и в первый же день после окончания медового месяца он уже приносит тебе кипу грязного белья в стирку вместо цветов. Мужчина, которого ты считала своим рыцарем в блестящих доспехах, внезапно превращается в очень большого ребенка. Я тебе этого, Анна, никогда не говорила, но твой отец очень страдал от ипохондрии. Я всегда говорила ему, что он зря переживает, что с его здоровьем все в порядке, — а он взял и умер. Он никогда меня не слушал.



Я закатываю глаза; на самом деле она говорила мне это множество раз. Из соображений лояльности по отношению к отцу я всегда считала своим долгом пресекать эти ее признания. Но Керим издает тихий кудачущий вздох сочувствия и приобнимает ее.

— Думаю, что он просто ничего не мог с собой поделать, дорогая Амелия, — говорит он.

— Я много лет терпела его, потому как думала, что у меня будет, по крайней мере, с кем вместе состариться. А он украл мою старость. Я считаю... что это было нечестно с его стороны. Правда. Дурное воспитание.

— Ну что вы, что вы, Амелия, не нужно плакать, — говорит Керим, и я вижу, что к ее глазам действительно подступили слезы.

— Глупый человек, — всхлипывает моя мама. — Ну почему ему было просто не послушать меня, когда я говорила ему, что с его здоровьем все в порядке?

\* \* \*

— Мне кажется, что твоя мама немного увлеклась Керимом, — говорит Тобиас.

— Не говори глупости. Моя мама действительно одинока, иначе бы она ни за что сюда не приехала, но она не может на самом деле интересоваться Керимом. Он на сорок лет младше ее.

— Ладно, — говорит Тобиас, — но я вовсе не уверен, что Керим не заинтересовался ею. Она — хорошо сохранившаяся женщина, явно выгодная партия в свое время. Сколько ей, под семьдесят где-то? По нашим временам не так уж это и много. Вдова. Обеспеченная. Почему бы и нет?

— Никогда! Только не Керим.

— Мы о нем мало что знаем. Он действительно проводит с ней достаточно много времени. Он и сейчас в гостинной вместе с ней.

— Дурацкий разговор какой-то.

— Пробрерись туда и посмотри, что они там делают. Ты же хочешь этого.



— Ничего я не хочу.

— Ладно, тогда выключаю свет и будем спать.

Я ворочаюсь на кровати.

— Хорошо, я тихонечко загляну к ним — просто чтобы убедиться, что у них все в порядке...

Уже за полночь. Я осторожно спускаюсь по дубовой лестнице, переступая через те ступеньки, которые скрипят.

Через открытую дверь я вижу маму и Керима, которые сидят на диване перед печью. Слышу мамино кокетливое хихиканье. От которого в 57-м году парни теряли голову.

— О, вы меня немножечко подпоили. У меня в голове уже начинает путаться. Я никогда ничего не пила, когда жив был мой муж, но это действительно довольно приятно. Так о чем это я? Ах да, о сексе.

Я застываю на месте. Секс? Моя мама рассуждает о сексе?! Когда мне было десять, она лупила меня только за то, что я вслух произносила это слово.

— Проблема с обществом вседозволенности, — продолжает она, — состоит в том, что оно принесло столько... оно вынесло на свет столько *непристойности*.

Керим издает какой-то звук, который она воспринимает как одобрение и предложение продолжить.

— Секс несовершеннолетних, например, или секс вне брака. Конечно же, в наши дни мы знали, что это существует, но у нас не было возможности постоянно *слышать* об этом. Люди такими вещами не похвалялись. И эти гомосексуалисты... Геи, как их теперь называют. Раньше это было *хорошее* слово, а сейчас его невозможно употребить без опасения быть неправильно понятым. Я, конечно, знала некоторых педиков, но им и в голову не могло бы прийти поднимать вокруг этого шум. Я не желаю, чтобы меня принуждали думать о том, чем гомосексуалисты занимаются в постели. Это омерзительно! А сейчас стоит включить телевизор — и это либо показывают, либо рассказывают об этом. На днях показывали какого-то викария, который утверждал, что это нормально. Ничего подобного, это не так. И уж точно говорить об этом не во время



вечернего чая. И не по телевидению. Я очень рада, что у них в их ужасном доме нет этого ящика. То, что там показывают, просто неприлично.

Я на цыпочках возвращаюсь к Тобиасу.

— Думаю, нам не стоит волноваться по этому поводу, — шепотом говорю я. — Она рассказывает ему о некоторых своих взглядах на жизнь. А это способно отпугнуть любого, даже самого завязного охотника за богатством.

\* \* \*

Мы купили Фрейе серебристый, надутый гелием шарик в форме рыбки. Тобиас привязал его к пеленальному столику рядом с ее головой. Она поворачивается лицом к нему. Я верю в то, что она внимательно рассматривает его. Когда я вставляю его нитку в ее туго сжатый кулачок, кажется, что она держит его. Она двигает кулачком, и шарик дергается вверх-вниз.

— Случайность, — говорит Тобиас.

— А я думаю, что она может делать это осознанно.

— Нет, чепуха. Ты фантазируешь. Просто очень хочешь видеть, что она развивается, — ты это и видишь.

— А вы что думаете об этом, Жульен?

В последние дни я ловлю себя на том, что все чаще и чаще обращаюсь к нему, чтобы услышать его мнение. Он отвечает не сразу. И мы все несколько мгновений следим, как маленький кулачок вместе с шариком синхронно поднимается и опускается.

— Я не уверен, знает ли она, что ее рука соединена с ниткой, — наконец говорит он, — но мне кажется, она понимает, что, когда шевелит рукой, шарик тоже двигается.

— Вот видишь, Тобиас!

Жульен улыбается.

— Я пришел, чтобы пригласить вас на вечеринку, — говорит он. — У меня дома. Кажется, вы там еще не были. Это будет празднование прихода весны. И, пожалуйста, возьмите с собой Фрейю — в конце концов, она ведь тоже одна из нас.





Я до смешного тронута. Я склоняюсь над Фрейей и перекачиваю ее к себе; кулачок по-прежнему сжимает нитку. Она поднимает руку, и мы с ней оказываемся связанными.

— Разрешите, — говорит Тобиас. — Дайте-ка мне распутать свою семью.

В какой-то момент, когда он пытается ослабить нитку, рука его соскальзывает, и мы, расположившись по кругу, оказываемся связанными уже втроем. Я с некоторым удивлением вдруг думаю: мы — семья.

\* \* \*

Вечером, вместо того чтобы идти спать одной, я сижу рядом с Тобиасом в студии и смотрю на его сосредоточенное лицо, а он прослушивает в наушниках свою музыку. Оказалось, что на самом деле насчет «Мадам Бовари» ничего еще не ясно. Это какое-то совместное производство, и они не укладываются в смету финансирования. Снимать уже закончили, но нужны еще деньги на послесъемочные этапы работы над лентой. Салли хочет, чтобы Тобиас написал — и как можно дешевле — фрагменты музыкального сопровождения, а они продемонстрировали бы их потенциальным инвесторам.

— Что ты здесь делаешь? — спрашивает он.

— Жду тебя, — говорю я. — Не хочешь дать мне немного послушать?

Он снимает свои наушники.

— Оно... еще не готово. Не сейчас. Потом.

Однако он, похоже, не собирается занимать оборонительную позицию. В кои-то веки. И я решительно двигаюсь вперед.

— Почему до тебя так трудно достучаться в последние дни? Я тебя раньше никогда таким не видела, когда ты работал над музыкой.

— Это большая работа. Она действительно очень важна для меня.

— Но дело ведь не в этом, верно?

— Я не могу объяснить. Ты все равно не поймешь.



— А ты попробуй.

— Когда я в последнее время попадаю в студию, меня не покидает ощущение, что я пишу музыку ради того, чтобы выжить. В буквальном смысле этого слова. Что я уже поглощен и уничтожен, и только если я смогу удержаться и справиться с этой работой до конца, у меня может появиться какой-то шанс. Все это идет очень непросто: половину времени я пишу и переписываю одну и ту же сцену только для того, чтобы Салли написала мне по имейлу, что они ее вырезали в угоду какому-то потенциальному клиенту. У меня такое чувство, будто я пытаюсь плыть в патоке. Как будто я... корабль, получивший пробоину ниже ватерлинии и изо всех сил старающийся дотянуть до берега. Но я все равно тону, просто сам еще этого не знаю.

Он обнял меня и тихонько говорит это мне прямо в ухо. Я чувствую его дыхание, которое легко касается кожи моего лица.

— Понимаешь, Эмма Бовари попала в западню и окончательно запуталась. Не имело значения, кто она такая, насколько она красива, талантлива или, наоборот, порочна, насколько жив в ней мятежный дух, на что она надеется, о чем мечтает. В этом удушающем окружении она была обречена. Я чувствую то же самое. И это ощущение удушья... оно просачивается в мою музыку.

Я не могу уловить его мысль, но заставляю себя сочувственно кивать.

— Анна, мы с тобой оба сейчас в одиночестве на ощупь движемся в темноте, пытаюсь по-своему справляться с проблемами Фрейи. Я знаю, что я уходил, отдалялся... но мне было это необходимо. Мне нужен какой-то способ скрыться от всего этого, даже если оно только в моей голове. Знаешь, я так боюсь... Я все время пребываю в страхе.

— Чего ты боишься?

— О, множества разных вещей. Я боюсь, что ты влюбишься в нее, а я не посмею последовать за тобой. Потому что, чем больше мы позволяем себе любить ее, тем большую боль она

нам причинит. Я боюсь будущего. Боюсь, что нужно будет навещать уже взрослую Фрейю, всю в пролежнях, в какой-нибудь больнице. Я боюсь, что наша жизнь скроется в... в водовороте страдания по ребенку, который даже не будет знать, кто мы такие. Я чувствую себя все более и более одиноким. Ты мечешься, постоянно что-то делаешь, а я просто сижу здесь, бьюсь над музыкой, которая не выходит, и мучаюсь от постоянно нарастающего чувства, что если я не решу эту трудную задачку, то просто исчезну — исчезну без следа.

— Ш-ш-ш, — шепчу я, словно успокаиваю ребенка. Я крепче прижимаюсь к нему, и мы долго сидим, обнявшись. — Ох, Тобиас, я люблю тебя, — все так же шепотом говорю я. — Думаю, что без тебя я вообще бы не смогла жить. Я мечусь только потому, что мой метод преодоления кризиса — это уладить его. И все свое время я провожу за тем, чтобы попытаться... решить проблему с Фрейей. Упорядочить, казалось бы, несовместимые вещи, сообразить, как мне сохранить своего ребенка, своего мужа и при этом еще и не потерять рассудок. Как мне вернуть контроль над своей жизнью. Я тоже все время боюсь. А что, если мы не будем любить ее?

— Ох, Анна, ты так и не поняла. — Тобиас крепче обнимает меня, и его искренние голубые глаза испуганно расширяются. — Гораздо важнее, что получится, если мы будем любить ее?

\* \* \*

С каждым днем наш шарик потихоньку сдувается, рыбка с виду становится какой-то подвыпившей. Постепенно она тонет. И в один прекрасный день я ее выброшу. Но пока что я не могу заставить себя сделать это.

Я просыпаюсь рано, и восходящее солнце гонит меня из дома. Я оставляю Фрейю, спящую в своей колыбели, и Тобиаса, похрапывающего в постели.

На улице все золотистое и мокрое от росы, птички поют, как мне кажется, с каким-то удовлетворением, как будто знают, что впереди их ждет несколько месяцев хорошей погоды.



Время от времени я думаю, что на самом деле мне следовало бы вернуться в дом. Но чуть дальше по тропинке на глаза мне попадает что-то свежее и захватывающее: дикий нарцисс, черная с желтым саламандра, удод с абсурдно-экзотическим хохолком и искривленным клювом, похожим на ятаган.

На подходе к памятнику жертвам войны, в лесу я слышу далекие голоса. Это меня озадачивает: сейчас слишком уж рано, чтобы встретить тут еще кого-то.

Впереди я вижу группу пожилых мужчин в какой-то униформе. Среди них Людовик, грудь его увешана медалями. Пройти просто так, мимо, мне кажется неприличным, но я как-то не чувствую, что имею право навязываться. Так что я останавливаюсь вдали от группы и просто наблюдаю. Старики кажутся болезненными, а их медали — бесполезными перед лицом истории.

Когда группа немного распадается, Людовик замечает меня.

— *Ah, bonjour, la parisienne!*<sup>1</sup>

— Что вы здесь делаете?

— Вспоминаем. В этот день в 1944-м здесь произошло сражение. С бошами<sup>2</sup>.

— Не может быть, чтобы вы были таким старым, что успели повоевать! — Глупо было говорить такое: звучит как-то снисходительно.

— В 1944-м мне было пятнадцать лет. А разные поручения от *маки* — французского Сопротивления — я выполнял с тринадцати.

— Это было опасно?

Еще один дурацкий вопрос. Людовик не обращает на него внимания.

— Вы идете домой? — спрашивает он. — Я тоже. — Некоторое время мы идем молча, а потом он добавляет: — Это был очень важный для *маки* район.

---

<sup>1</sup> А, здравствуйте, парижаночка! (*фр.*)

<sup>2</sup> Презрительная кличка немцев во Франции, появившаяся во время Первой мировой войны 1914—1918 гг.

— Вы тоже участвовали в том бою? Ну, который вы все вместе вспоминали?

Он только качает головой.

— Посмотрите на этот лес, какой он густой, — говорит Людовик. — В 1944-м там был лагерь, жили люди — прятались среди сосен, как дикие звери. Никаких удобств, сплошная антисанитария. О, и еще этот запах: дым костров и дерьма... У каждого животного есть свой запах. У нас тоже. Я свистел особым свистом из двух нот, и на него из ниоткуда появлялись люди. Я приносил им еду — всего понемножку: немного масла, немного хлеба, немного сыра.

Мы сошли с тропы и углубились в сосны. Мы с Тобиасом всегда обходим этот лес стороной: он слишком мрачный и слишком бесплодный. Деревья растут очень близко друг к другу, заслоняя солнечный свет даже своим нижним ветвям. Под ними ничего не растет. Удручающее место.

— Прямо здесь, вот под этим деревом, лежал большой рюкзак со взрывчаткой, — говорит он. — А сюда Бенедикт притащил зеркало в оправе из красного дерева. Мы подшучивали над ним, потому что он каждый день брился. Его не стоило осуждать за это: у него была красивая молодая жена.

— И что же случилось?

— Какой-то подлый осведомитель рассказал бошам про этот лагерь. И те провели операцию. Меня в тот день здесь не было, вот я и выжил.

Он мотает головой, а я стою рядом и глупо пялюсь на его медали, сияющие под утренним солнцем так, будто их только что отчеканили. Похоже, что сказать мне на это просто нечего.

— Я думал о вашей проблеме с мышами, — наконец говорит Людовик. — Может быть, это у вас и не мыши. Вероятно, это *loirs*. — Он изображает руками быстро бегающее животное. — Такие маленькие зверьки с большими глазами и толстыми хвостами. У меня на чердаке как-то завелись эти *loirs*. В итоге мне пришлось взять цемент-пушку и пройтись ею по всем стенам и потолку — единственный выход.



— О, думаю, что нам бы не хотелось этого делать.

— Если это *loirs*, то это единственный выход, — повторяет Людовик.

\* \* \*

— Соня-полчок, — говорит Тобиас, роющийся в интернете.

— Что?

— *Loir*. Соня-полчок, их еще называют «соня съедобная». Смотри, вот она на картинке. — Похоже, что его заинтересовала только определенная часть рассказа Людовика.

Несмотря на титанические усилия Керима, всякий раз, когда я захожу на кухню, меня издевательски встречают свежие катышки помета. Совершенно очевидно, что эти грызуны все равно находят, как пробраться сюда.

— Выглядят такими симпатичными.

Соня-полчок — это почти бурундук. И иметь на кухне их, а не мышей, намного приятнее.

— Они вырастают до двадцати сантиметров в длину. Это может объяснить, почему их помет великоват по размеру для мышиноного, — говорит Тобиас. — О, взгляни-ка: эти сони когда-то считались деликатесом! Римляне держали их в больших глиняных горшках, которые назывались *долиум*, и откармливали их на диете, изобиловавшей грецкими орехами. Подавали их на десерт, залитыми медом с маком.

— Что ж, хороший рецепт для моих будущих кулинарных учеников.

— Не хотелось бы мне быть животным, — говорит Тобиас, — в название которого входит слово «съедобный».

Мы дружно смеемся — впервые, кажется, за целую вечность. В хорошие дни у меня хватает резервов мощности быть великодушной к Тобиасу и дать ему помокнуть в ванной, пока я кормлю Фрейю. В хорошие дни мне удастся дожидаться, пока он выйдет из своей студии, чтобы мы с ним могли пойти спать в одно время. В хорошие дни он благодарен мне за это и, соответственно, очень мил со мной. Мы с ним оба чув-



ствуем себя на лезвии ножа и балансируем на пределе того, что в состоянии выдержать.

\* \* \*

Ивонн начала работать в нашей кухне для обработки дичи. Она приходит и занимается своим таинственным делом без всякой суеты. Время от времени из этой кухни доносятся манящие аппетитные запахи, но сам процесс закрыт завесой секретности.

Мы с ней становимся подругами. В отличие от остальных темпераментных личностей, время от времени появляющихся в нашем доме, она — величина постоянная: надежная, предсказуемая, заслуживающая доверия. Она всегда готова помочь присмотреть за ребенком и часто работает, блаженно прижав Фрейю к своей пышной груди.

— Вы как-то говорили, что хотели бы, чтобы я помог вам по саду? — спрашивает Жульен вскоре после ее первого визита. — Я тут подумал, что пара монет мне, в конечном счете, не помешает. Но из-за особенности моей ситуации, я, конечно, должен работать неофициально.

За свои услуги он называет цену, демонстрирующую удивительно точное знание им расценок на рынке труда в современном мире.

«Не обольщайся, — говорю я себе, — он здесь исключительно потому, что на нашей кухне для дичи трудится Ивонн. Наконец-то у меня появилось то, что ему нужно».

\* \* \*

Этим утром в нашем почтовом ящике находится письмо для Керима. С написанным от руки адресом. Пока мы ждем юношу к завтраку, моя мама рассматривает его.

— Возможно, это от его матери, — говорит она.

Минуты проходят за минутами. Появляется Керим.

— О, Керим, дорогой, вот и вы! — выводит свою трель моя мама. — Здесь для вас письмо. Откройте же его! Мы томимся в неизвестности.



Керим смотрит на конверт. Краска начинает заливать его от самой шеи и доходит до границы волос. Затем он быстро распечатывает его и жадно пробегает содержание.

— Ко мне приезжает *fiancée*<sup>1</sup>. И школьный друг тоже. *Oh, putain!*<sup>2</sup> Сегодня! Это на них похоже. Мне нужно бежать на вокзал прямо сейчас. Можно мне одолжить вашу «Астру»?

Лицо его сияет. Мы уже привыкли к его улыбке в тысячу ватт, но сейчас все по-другому: у него как будто меж глаз горит лампочка.

— Конечно, вперед! — говорю я.

— Я привезу их познакомиться с вами сегодня на вечеринку к Жульену.

Мы сидим ошеломленные и слышим, как хлопнула передняя дверь и во дворе завелась машина. В конце концов молчание нарушает моя мама:

— Вот это номер! Проклятье. Я знала, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой...

\* \* \*

Моя мама вся как на иголках. Сегодня она особенно тщательно занимается своим туалетом.

— Дорогая, ты не могла бы помочь мне уложить волосы? А я могла бы помочь тебе. Я думаю, нам следует постараться ради молодой дамы Керима. Она может подумать, что он попал в банду головорезов.

Тобиас понял ее абсолютно неправильно. Да, она любит пофлиртовать, но только до известной степени. И теперь она по-детски искренне возбуждена возможностью познакомиться с невестой Керима.

— Я очень надеюсь, что она хорошая девушка. Мне бы не хотелось видеть, что он разменивает себя на кого попало. Как бы то ни было, мы должны на некоторое время оставить ее у себя. Мне так хочется произвести на нее хорошее впечатление.

---

<sup>1</sup> Невеста (*фр.*).

<sup>2</sup> Ох, черт! (*фр.*)



ние! Интересно, почему он о ней никогда не упоминал? Только о своей матери. Мне это так в нем нравится — что он столько говорит о своей маме!

Сразу после полудня мы засовываем Фрейю в перевязь и карабкаемся по гряде скал, которая соединяет нашу гору с соседней.

— Мне всегда казалось, что она похожа на хребет дракона, — говорит Лизи.

— Не смей меня, — возражает моя мама, но Лизи права: именно так все это и выглядит.

Мы представляем себе, что идем по спине какого-то спящего чудища. На полпути я вдруг спрашиваю:

— Что за изумительный запах?

Мы останавливаемся и стараемся определить местонахождение источника благоухания, такого знакомого, связанного с детством и почему-то пожилыми дамами. Однако вокруг, кроме зазубренных скал, ничего такого не видно.

— Вон там, — говорит Лизи, показывая на горную расщелину.

Когда я в последний раз заглядывала туда, бока каменного дракона были коричневыми, с пятнами зеленого мха. Сейчас же они поразительного фиолетового цвета.

— Фиалки!

Они кажутся невозможно хрупкими, растущими прямо из камня, а их аромат одновременно и нежный, и всепроникающий.

У «заводи с невидимым краем» Лизи ведет нас по крутой тропе. Мы подходим к громадному белому дубу, у подножия которого лежит большая каменная плита, опирающаяся на две другие. На ней сидит большой серый кот с янтарно-желтыми глазами и, не мигая, как сова, смотрит на нас.

— Да это же дольмен! — возбужденно говорит Тобиас, внимательно рассматривая каменную плиту. — Посмотрите — на нем изображение чаши и кольца. Поразительно! Подумать только, этот камень пролежал здесь многие тысячи лет!

— Священное место, — с придыханием говорит Лизи.



— Это домашний очаг, — говорю я. — Кухня. Здесь горшки и сковородки, а под ними место для огня.

Я замечаю деревянную лестницу, рядом с которой вверх по стволу дерева, как поручень, уходит живая вьющаяся лоза. Я прикрываю глаза от солнца ладонью и смотрю вверх: там дом. Не просто шалаш на дереве. Настоящий дом. С окнами. И кровельной дранкой на крыше вместо черепицы. И с верандой.

— Нет-нет, дорогие мои, — говорит моя мама. — Нам явно не туда. Вечеринка будет проходить *вон там*.

Она показывает за дуб, в сторону вишневого сада с прекрасным открытым видом на горы. Под деревьями на козлах стоят столы со скамьями вокруг них.

В саду шумно. Он заполнен какими-то дерущимися собаками, детьми, носящимися, как пули, людьми, курящими травку, танцующими язычниками; здесь и оркестр музыкантов с диджериду<sup>1</sup> и другими заморскими инструментами. Вокруг полно медных котлов с тушеным мясом, на открытом огне жарится целый барашек, стоят пластиковые ведра с медовухой. Сад до краев полон жизни.

В самом центре событий, где плотность биомассы людей и животных наивысшая, мы замечаем Жульена. Он явно целое утро пробовал медовуху и теперь очень рад нас видеть.

— Я не думал, что вы все вот так сделаете, — постоянно повторяет он.

— Жульен, как вы, черт возьми, оказались здесь? — спрашивает Тобиас.

— Я здесь родился. В юрте. Дом на дереве я построил сам. Давайте я вам покажу.

Он бросается в сторону дуба. Я удивляюсь, как он собирается подниматься туда в таком состоянии, но он ловок, как горный козел. За ним, как верный пес, следует его кот. Мы

---

<sup>1</sup> Музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии, представляющий собой деревянную или бамбуковую трубу длиной около двух метров.



пыхтим следом, цепляясь за лозу-перила, спотыкаясь на неровных деревянных ступеньках. Когда я бегу, Фрейя глухо бьется о мою грудь в своей перевязи.

— Добро пожаловать в мой дом! Здесь открывается самый лучший вид на горы — ну, возможно, за исключением вида из вашего дома.

— Вау! — говорю я. — Очень... впечатляет. — Я имею в виду лозу.

— Это *glycine*, — говорит Жульен. — Глициния.

На ней еще нет листьев, из темной древесины, как дымка, проступают лишь намеки на те места, где скоро будут цветы. А сама лоза похожа на гигантскую руку, схватившую хижину своими корявыми черными когтями.

— Что за дом? — Тобиас удивлен.

Хижина гнездится на изгибе дерева между стволом и большой веткой. Здесь нет никаких прямых линий: стены изогнуты, даже окна скруглены, а оконные стекла разделены раздвоенными ветками. Крыша из кровельной дранки, спускаясь, соединяется с верандой на глицинии.

— Здесь есть все современные удобства. Передняя дверь из настоящего дуба, ключ не нужен, потому что она никогда не запирается.

Он распахивает дверь. Внутри мы видим единственную комнату с печью, которая топится дровами. Никакой мебели, кроме деревянной кровати, подвешенной на живой ветке, каким-то образом входящей в конструкцию дома. Стены, пол, потолок, — все сделано из дерева.

— Здесь трудно понять, где заканчивается комната и начинается дерево.

— Я построил его *на* дереве и *из* дерева, — говорит Жульен.

— А кухня? — строго спрашивает моя мама.

— Внизу — отвечает Жульен, провожая нас обратно к дольмену.

— Я догадалась, — говорю я.

— Очень практично, — говорит Жульен. — Я не разрушаю камни и могу приготовить любое блюдо, какое только захочу.



— Ванная комната? — продолжает допытываться моя мама. Жульен указывает куда-то в сторону тропинки.

— Моя ванная — это заводь с невидимым краем. Немного холодновато зимой, но, согласитесь, вид оттуда все компенсирует.

— Вы оригинальный горный человек, — говорит Тобиас. — Приходите к нам принять горячий душ в любое время, когда захотите.

— А вы родом из этих мест? — спрашиваю я.

Он качает головой.

— Мои родители переехали в Лангедок из Парижа после 1968 года. Думаю, что вы могли бы назвать их представителями поколения хиппи. В те времена была масса людей, которые пробовали вернуться обратно к земле. Потомственные крестьяне сначала относились к ним подозрительно.

— Должно быть, это было жесткое противостояние, — заметил Тобиас.

— Многие люди этого не выдержали и вернулись домой. Мои родители упорно работали и остались здесь. Они в принципе не верили в частную собственность. Один старик одолжил им этот участок земли в обмен на то, что они будут собирать вишни у него в саду. Они поставили здесь юрту, и в конечном счете родился я. Никаких свидетельств о рождении, никакой регистрации, никакого налогообложения. Сейчас мои родители уже умерли, как и тот старик, но его сын позволил мне остаться здесь на тех же условиях.

Через его плечо я замечаю Ивонн, которая в лакированных розовых туфлях на невысоком каблуке пробирается через грязь; на ней белая узкая прямая юбка и блузка с глубоким вырезом, подчеркивающая ее формы, соломенно-желтые волосы перехвачены вызывающей банданой в розовый горошек, а аксессуары — блестящие пластмассовые сережки, пластмассовое ожерелье, сумочка и даже губная помада, — все подобрано в том же цвете ядовито-розовой жевательной резинки, что и ее туфли.

Я замечая ее раньше Жульена. А он тем временем рассказывает еще один случай из своей жизни:

— Местная школа была настоящим адом. Дети... короче, с ними было нелегко. Однажды я пас овцу моих родителей, мне тогда было одиннадцать. Меня увидел один из местных *paysans*. Его сын учился в той же школе, на несколько классов старше меня — один из моих главных мучителей. Он тогда как раз уехал в город искать работу. Так вот, в тот день его отец спросил у меня: «Такое утро, Жульен, как у тебя дела?» Только это, ничего более. Но это ощущение я не забуду никогда: впервые местные признали меня своим в одиннадцать лет. От этого на душе стало очень тепло.

Он усмехается. Когда он вот такой, расслабленный и задумчиво-непроницаемый, перед ним трудно устоять. Затем в поле его зрения попадает Ивонн в своей бандане в розовый горошек и узкой юбке, и он забывает, о чем только что говорил. Рядом с ней он становится косноязычным и скованным, теряет все свое обаяние и уверенность в себе.

Несмотря на нелепый наряд, Ивонн выглядит красивее, чем всегда. Она похожа на искусно раскрашенную фарфоровую куклу. И это должно было стоить ей немалых усилий. Без сомнений, это означает, что она его тоже любит.

\* \* \*

Жульен уходит суетиться вокруг Ивонн. Чары разрушены.

Мимо нас неровной походкой, попыхивая косячком, проходит бородатый хиппи.

— Вы пришли или уходите? — спрашивает он.

— Я ухажу предсказывать всем судьбу по линиям руки, — объявляет Лизи.

Я вижу, как вокруг нее сразу же собирается небольшая толпа из потенциальных клиентов, протягивающих к ней свои раскрытые ладони.

Я угнетаю бедную Лизи своими требованиями выполнения домашней работы. Я настолько погружена в свои собствен-



ные планы и разочарования, что совсем забыла, какая она на самом деле свобододлюбивая и жизнерадостная.

— Я не могу читать судьбу по всем рукам сразу, — смеется она.

— Мне, мне следующему, — настаивает Тобиас, хотя не верит ни в какие гороскопы.

Она берет его руку и, продолжая смеяться, переворачивает ее.

— Я должна посмотреть на ваши ногти, — говорит она, — чтобы узнать, есть ли у вас характер.

Он улыбается:

— К этому времени ты это и так должна была бы уже знать!

— Я действую без предубеждения. Просто читаю то, что вижу на вашей руке.

— Ну так как же?

— Что?

— Есть у меня характер?

— Посмотрите — вот здесь холм Венеры. Вы очень страстный человек. И творческий. И добрый.

— И неотразимо привлекательный? — подначивает он ее.

Она внимательно изучает его ладонь.

— Это кто как думает. На руке этого быть не может. Вот это ваша линия головы.

— Умный?

— Ленивый.

Она, по сути, всего лишь подросток, но ведет себя спокойно и очень уверенно. Мужчины могут легко влюбиться в Лизи. Тобиас, похоже, испытывает к ней слабость. А если еще и она будет испытывать слабость к нему — что ж, тогда мой плохой характер очень все для нее упростит.

Внезапно мне ужасно хочется убраться подальше от этого предсказания судеб. Я беру свою медовуху и иду через сад.

Ивонн сидит на бревне, поджав ноги и подтянув свою белую прямую юбку до самых бедер, чтобы уберечь ее от грязи, которой и так уже забрызганы лакированные розовые кожаные туфли. Жульен принес ей стакан с медовухой, но она сер-



дито оттолкнула его руку. Ее лаковая сумочка такого же розового цвета — видимо, тоже самая лучшая у нее — лежит рядом. Бандана в розовый горошек на ее опущенной голове висит, как поникший флаг побежденной армии. Такое впечатление, что она изо всех сил старается сдержать слезы.

Я сажусь рядом с ней.

— Вы замечательно выглядите, — говорю я.

Она смотрит на всю эту вакханалию.

— Это... неподходящая публика. И Жульен тоже... Я думала, что когда-нибудь... Но он никогда не станет *правильным*. Все дело в его воспитании.

— Я наблюдала за ним, — говорю я. — Когда он видит вас, он ни на чем не может сосредоточиться.

На мгновение мне кажется, что я зашла слишком далеко. В конце концов, это совершенно не мое дело. Но ее вдруг прерывает:

— Мой отец взял бы его в помощники. Мы смогли бы урегулировать проблемы с его бумагами... Лет через десять он мог бы стать в нашей деревне мясником. У него появилось бы положение в обществе. Мы могли бы купить участок земли и построить хороший особняк на краю города. С оборудованной кухней, а может быть, даже с бассейном...

— Ах, Ивонн, не думаю, что он мог бы быть счастлив в особняке.

Она издает какой-то глухой хрип, идущий откуда-то изнутри, который начинается всхлипыванием, а заканчивается скорбным воплем души:

— А как, скажите на милость, я могу быть счастлива, живя с ним здесь, *на дереве*?

\* \* \*

Садится солнце, зажигаются штормовые фонари, вовсю играет неистовый оркестр, медовуха течет рекой, завывают собаки и дети, а грязь взбивается ногами в пенящееся месиво. Моя мама танцует с лучшими мужчинами. Сначала ее кружит Жульен, затем — пожилой мужчина с длинной седой бородой



и наконец какой-то новоявленный кельт в непонятном войлочном одеянии и с охотничьим рогом, болтающимся на цепи, которой кельт подпоясан.

— Дорогая! Это все равно, что танцевать просто твист, — кричит мне она, и я вижу ее молодой, неотразимой, переполненной *joie de vivre*<sup>1</sup>.

Затем она кричит:

— Керим! Керим! Ох, дорогая, он здесь. Ее я не вижу, но с ним его школьный друг. Керим! Где же ваши манеры, дорогой мой? Представьте нам вашего друга. И где же ваша *fiancé*?

— Позвольте представить вам Густава.

— Здравствуйте, Густав. Я очень рада познакомиться с любими друзьями Керима.

— Это и есть *fiancé*.

Кажется, что в этот миг музыка с грохотом обрывается, танцоры замирают на ходу, а на поляну обрушивается мертвая тишина. Это, конечно, не так, но следующие слова моей мамы почему-то звучат очень громко, и их слышат буквально все.

— Боже мой! — вскрикивает она. — О, это просто ужасно! Какие вы оба *отвратительные* мальчики!

---

<sup>1</sup> Радость бытия (фр.).



MaU



В долине считается дурным тоном покупать овощи летом. Даже если вы живете на холмах, где почва не такая плодородная, это правило распространяется и на вас.

— Целый евро за пучок латука в супермаркете! — возмущается Людовик. — Чистое мотовство. Из одного пакета семян можно вырастить их целую сотню.

На огороде у Людовика все высажено по прямым как стрела линиям. Фасоль подвязана к бамбуковым стойкам. Рассада помидоров у него на целый дюйм выше нормальной величины. Людовик — поклонник всяких пестицидов, средств против слизняков, ловушек для насекомых. Ниже по склону его фруктовые деревья тарахтят подвешенными пластиковыми бутылками, которые указывают на то, что их опрыскали различными ядохимикатами. Под его безукоризненными виноградными лозами нет сорняков — шелестит только коричневая сухая трава.

— Что? Вы пропалываете вручную? — говорит он. — А я пользуюсь отличным препаратом: «раундап» от фирмы «Монсанто». Наносите его на листья сорняка, оно проникает внутрь и всех убивает.

Керим с Тобиасом трудятся над тем, чтобы заставить работать *béal* — оросительный канал. Он представляет собой потрясающий образец крестьянской изобретательности: примитивный, выдолбленный в горной породе акведук длиной примерно с километр, с деревянным шлюзом наверху. Все это сооружено для того, чтобы отвести жалкий ручеек воды от реки и направить его на участок огорода.



— Людовик, — спрашиваю я, — а не поднимется шум, что мы берем воду из речки?

— Теперь уже нет. Шестьдесят лет назад все должны были делать это по очереди; *béal* можно было использовать только по определенным дням. Но сейчас тут уже никого не осталось. Когда Ле Ражон принадлежал моему дяде, тут все было по-другому.

— А чем занимался ваш дядя?

— Он? Он был *maître d'école*, школьным учителем, как и моя мать. И еще *chef de résistance*<sup>1</sup> у партизан в наших краях во время войны.

— Каким он был человеком?

— Сильный характер, отважный. Сами можете прикинуть, если он позволял своему племяннику и его сестре идти на такой риск.

— Роза тоже участвовала в Сопротивлении?!

— Да. Не в качестве бойца. А как *agent de liaison*<sup>2</sup>. Опасная работа, но никто не смог остановить Розу. Даже мой отец.

— А он пытался?

— О да! Он ненавидел войну. Он потерял руку, сражаясь в окопах во время Первой мировой. «И немцы, и *маки* — все они преступники», — говорил он. Но Роза — она и слушать ничего не хотела. У нее был платок с розами — подарок моего отца. Она носила его все время, а он и не знал, что она подшивала его двойным рубцом, когда нужно было перенести зашифрованное донесение.

— Он этого так никогда и не узнал?

Глаза Людовика вспыхивают, и он пропускает мой вопрос мимо ушей.

— У нее было идеальное прикрытие: она — школьная учительница в деревушке, расположенной дальше по тропе, наверху, в каштановой роще рядом с лагерем.

— Мы нашли ту деревушку, — говорю я. — Она вся разрушена, и сейчас лес совсем поглотил ее.

---

<sup>1</sup> Командир Сопротивления (фр.).

<sup>2</sup> Связной (фр.).

Он кивает.

— *Боии* сожгли ее тогда же, когда разгромили лагерь *маки*. Подозревали, что ее жители помогают Сопротивлению.

Он делает короткую паузу, а потом говорит:

— По пятницам мой отец ездил забрать Розу на выходные. У него у первого во всем нашем районе была машина — *gazogene*, которая ездила на газу из древесины. Я, как сейчас, вижу его: едет по дороге, по всем этим поворотам, на высокой скорости, громко сигналист, держит руль одной рукой. Овцы перед ним разбегаются... Впечатляющая картина.

Он опирается на свои вилы и улыбается нахлынувшим воспоминаниям.

— Хорошие были времена, когда Ле Ражон принадлежал моему дяде.

— А когда ваш дядя потерял эту ферму?

— После войны. Ему нужно было выбирать: сохранить дом, но потерять виноградники, или продать дом. Простой выбор. Он оставил себе виноградники, сейчас они принадлежат мне. Он продал дом чужаку, а себе построил бунгало в деревне. Мой дядя был разумным человеком.

\* \* \*

Я пытаюсь засадить нашу половину огорода. Жульен помогает мне. Пока я мучаюсь со своими вилами, его лопата ловко входит в землю, выворачивает комок темной и плотной, как шоколад, почвы, переворачивает его и снова вонзается в грядку. Иногда я вижу капли пота на его плечах, иногда слышу, как он кряхтит от напряжения, но на этом наше общение и заканчивается.

По его совету к нам приехала супружеская пара хиппи на телеге, запряженной ослом, и привезла нам конский навоз, который сейчас дымящейся кучей лежит на краю огорода.

— Он немного свежеват, — говорит он. — Нам нужно будет хорошенько его прикопать.

— Это обязательно?

— Чем больше мы внесем навоза, тем больше овощей соберем. Все предельно просто.



Пока мы вскапываем огород, Фрейя лежит в своей переносной корзинке, завешенной противомоскитной сеткой. Почти неподвижная, она тем не менее является точкой притяжения для всех наших домочадцев: все собираются вокруг нее.

Я знаю, что ей здесь нравится, только не знаю, откуда мне это известно. Улыбаться она не может, и глаза ее плохо фокусируются. Я знаю только, что, когда я ставлю ее корзинку под яблоню рядом с огородом, она сосредотачивается и затихает — так бывает с ней, когда она купается в ванночке.

Жульен на мгновение прерывает работу и смотрит на Фрейю.

— Она смотрит на небо, — говорит он.

— Вы так думаете?

— Я это знаю. Несколько лет назад я съел плохой гриб. Не мог пошевелить ни одной мышцей — просто лежал на земле под деревом, совсем как она. Я смотрел в небо, такое ясное и синее, сквозь полог из молоденьких листочков. В голове крутилась одна-единственная мысль: какой замечательный день, чтобы умереть...

Иногда копать нам помогает Густав. Он редко разговаривает, и это не только потому, что он не очень хорошо говорит по-английски: из него и на французском слова не вытянешь. Все, что мне известно о нем, я узнала от Керима: он только что закончил курс обучения у парикмахера в Тулузе, и Керим убедил его поступить в ту же самую школу английского языка на острове Уайт, которую в свое время посещал он сам.

— Было бы очень здорово, если бы вы разрешили ему остаться здесь на пару недель, — говорит он. — Только до тех пор, пока не начнется учеба в начале следующего месяца. Он не доставит вам никакого беспокойства.

— Конечно, он может остаться.

Красивое лицо Керима озабоченно хмурится.

— Есть еще один момент, Анна, о котором я должен вам сказать. Я не мог жить с ним в его студенческом общежитии, когда он был в Тулузе, но обещал присоединиться к нему в Британии. Одному ему будет там очень тяжело: он почти не говорит по-английски. К тому же мне нужно работать,

чтобы платить за его обучение. Я сказал, что появлюсь к концу июля.

Я не могу себе представить, что мы будем делать без Керима — он стал частью нашей семьи. Несмотря на свою молчаливость, Густав мне тоже начинает нравиться. За этой короткой армейской стрижкой и облегающими майками цвета хаки я чувствую нежную и ранимую душу.

\* \* \*

Лизи с большим энтузиазмом поддерживает концепцию «жить засчет земли».

— Весна вызывает у меня трепет! — постоянно повторяет она. — В это время года я оживаю.

— А я вот думаю: не могла бы ты нам немного помочь с прополкой?

— *Разумеется*, нет. Я читала в одной великой книге, что сорняки на самом деле хорошие. Вы не должны их вырывать. Просто доверьтесь природе.

Жульен фыркает:

— Лизи, давай я тебе лучше покажу, как вскапывать землю в два яруса.

— Согласно моему гороскопу, — с достоинством отвечает Лизи, — сегодня у меня день мечтаний, а не действий.

— В ее словах что-то есть, — говорит Тобиас. — Жалко переводить день с такой сказочной погодой на вскапывание огорода. К тому же один евро за пучок латука кажется мне не так уж и дорого.

Он садится рядом с ней в высокую траву, и очень скоро до нас начинает доноситься их хихиканье. Я хмурюсь и втыкаю свои вилы в землю глубже, чем собиралась. Жульен смотрит на меня.

— У меня есть для вас рассада, — говорит он. — Я сейчас уже иду домой. Почему бы вам не сделать перерыв и не пойти со мной, чтобы взглянуть на мой огород? Если, конечно, вы не против того, чтобы карабкаться в гору.

Я киваю.

— Тобиас, присмотри за Фрейей, хорошо?



— Но, дорогая...

— Я уйду всего на часок. Ее даже кормить пока не нужно.

— Не беспокойтесь, — радостно говорит Лизи. — Я спою ей.

Мы с Жульеном идем по гряде на соседний склон. Весной все постоянно меняется, всегда вас ждут какие-то сюрпризы. Сегодня, когда я смотрю вниз на бока дракона, я вижу, что они все покрыты розовыми, белыми и фиолетовыми пятнами. И аромат тоже совсем другой.

— Ладанник, — говорит Жульен. — И дикая лаванда.

Сами кустики лаванды маленькие и приземистые, но цветы у них насыщенного синего цвета — я таких раньше никогда не видела. Запах очень сильный, почти медицинский — такое впечатление, будто в суровых условиях одновременно усиливаются и цвет, и аромат. Я радостно смеюсь от счастья.

— Что такое? — спрашивает Жульен.

— Ничего, правда, просто место такое. Всегда, когда я чувствую себя немного растерянной, на глаза сразу попадает что-то, тут же уводящее мои мысли в сторону.

Дальше мы карабкаемся по склону молча, пока не добиремся до громадного дуба, на котором стоит дом Жульена.

— Ох! — вырывается у меня. — Ваша глициния распустилась!

Накануне цветы были еще в бутонах, но сейчас они уже вовсю цветут обильными соцветиями, похожими на гроздья винограда.

— Они выглядят манящими, — говорю я. — Как будто приглашают в другой мир.

Я умолкаю, боясь показаться глупой. Он улыбается:

— Это *и есть* другой мир. Мой мир.

Я еще некоторое время стою, восхищаясь сплетением цветов у подножия дерева — что-то среднее между дикостью и английским коттеджным садом.

— Сад цветов у вас очаровательный. А где же ваш огород?

— Посмотрите внимательнее еще разок.

Среди беспорядочной массы цветов я наконец замечаю горох, фасоль и нежные зеленые всходы листьев моркови меж

тугих стрелок лука. Полная противоположность сверхупорядоченному подходу Людовика.

— Здесь такая путаница, — говорю я. — В хорошем смысле этого слова, я имею в виду. Я и не знала, что такое *разрешается*.

— Тут все не случайно. Некоторые растения растут лучше, если их посадить рядом с определенными другими растениями. Я разместил лук рядом с морковью, потому что морковь отгоняет луковую мушку, а лук — морковную. Постарался поместить мяту между горохом: она помогает бороться с белокрылкой, и к тому же всегда удобно иметь ее под рукой, чтобы есть вместе с горохом. И совсем не обязательно сажать все под линейку.

— Но у вас на одной грядке растут овощи и цветы!

— Цветы тоже приносят пользу. Вот календула, например, содержит природные инсектициды. Лаванда обладает сильным запахом и таким образом защищает от вредителей помидоры. Настурция — настоящая ловушка для черной тли. Герань — средство от гусениц капустницы. Огуречник помогает расти клубнике. Ромашка тонизирует почву и вообще она хороша практически для всего. Хризантемы и георгины подавляют круглых червей.

Мне хочется наслаждаться этим цветочным волшебством, а не слушать, как оно работает. Но Жульен, когда хочет, может быть неумолимым. Когда я восхищаюсь прелестью роз, обвивающих его яблони, он продолжает свое:

— Розы нуждаются в опоре, а взамен они привлекают пчел, помогая опылять цветы яблонь.

Когда я восторженно восклицаю по поводу ярко-зеленых ростков, пробивающихся сквозь темную землю, он говорит мне о необходимости подготовки грунта и прикапывания навоза.

— О Жульен, своей прозой вы портите все очарование!

— Так вы думаете, что все это происходит само собой? — Он почти злится. — Думаете, все приходит без труда? Могу вас заверить — это не так. На это уходят *годы* труда. К примеру, в первый год вы сажаете картофель, но приходит колорадский жук, и вам нужно снять каждую его личинку руками, или



вы потеряете весь свой урожай. Поэтому на следующий год вы все свое внимание уделяете поискам жука, а в это время кила — есть такая болячка — поражает корни вашей капусты. Или приходит дикий кабан и перерывает вам посадку малины. Вам нужно держаться на шаг впереди природы, но это никогда не удастся — полностью, по крайней мере. Вам нужна природа, и вы ее боитесь, работаете с ней и вокруг нее. Но превыше всего — вы ее уважаете. Обращаете на нее внимание. Чтобы у вас что-то выросло, необходим системный подход и дисциплина.

Возвращаясь домой, я задерживаюсь на тропе вдоль леса, чтобы внимательно разобрать надпись на памятнике бойцам, которые здесь погибли:

*Passant pour que tu vives libre dans cette forêt le 17 avril 1944 dix-sept maquisards ont été tués au combat.*

«В этом лесу в бою 17 апреля 1944 года были убиты семнадцать бойцов Сопротивления, отдавших свою жизнь за то, чтобы вы могли жить свободно».

Ниже идет список тех, кто погиб в тот день, когда немцы напали на лагерь *маки*. В самом низу стоит знакомое мне имя: Роза Доннадье.

\* \* \*

Моя мама избегает Керима. Под глазами у нее черные круги. Я не могу уйти от мысли, что тем, что она узнала на вечеринке у Жульена, она убита гораздо больше, чем новостью о том, что мозг у моего ребенка напоминает плохо приготовленный омлет.

Во-первых, она перестала наряжаться. Просто апатично движется по дому: полирует, моет, гладит.

Керим предпринимает тщетные попытки вернуть ее дружбу.

— Могу я что-нибудь сделать для вас?

— Нет, спасибо.

— Может быть, чашечку хорошего чаю?

— Нет, лучше не надо.

Чем больше она отвергает его, тем больше он ищет ее расположения. На это больно смотреть.



Теперь, когда ее внимание не отвлекается на Керима, она вновь принялась за меня.

— О дорогая, ты выглядишь не лучшим образом! Ты начала казаться такой *старой*. И твои *пальцы на ногах*...

— Мои пальцы? Да еще *на ногах*? О господи, из всего, к чему ты могла прицепиться... Что хоть не так с моими пальцами?

— Ты допустила, что лак на твоих ногтях облупился, дорогая. И ты не хочешь замечать тревожные сигналы. В мое время с такими ногтями ходили только девушки вполне *определенного* толка.

Керим по-прежнему неистово встает на ее защиту.

— Вы не должны так жестко вести себя по отношению к своей матери, — говорит он, когда застает меня одну на кухне, считающей до десяти, чтобы успокоиться. — Она действительно необыкновенная женщина. И она очень вас любит.

— Все это мне известно. Дело в том, что она постоянно говорит такие вещи, которые действуют мне на нервы. И более того — вещи очень неприятные. И не только о вас с Густавом. Когда она говорит о Фрейе, это просто оскорбительно.

— Она не специально, — говорит он. — Она пережила тяжелые времена. Ее муж умер, и теперь она пытается разобраться в том, что произошло с Фрейей.

— Это я пытаюсь разобраться в том, что произошло с Фрейей. Но это не заставляет меня превращаться в тайного адепта фашистов. И мне очень жаль, Керим, что она так себя ведет по отношению к вам.

— Нет, это моя вина. Мне следовало быть с ней честным с самого начала. Я разочаровал ее.

— Не говорите глупости, Керим. Вы невозможно строги к себе. Всем видно, что вы прекрасный человек.

— Прекрасный. — Голос его полон горечи. — Никакой я не *прекрасный*.

— Именно прекрасный. Вы прекрасно ведете себя по отношению к моей матери и к своей, кстати, тоже.

— К моей матери? — Он погружается в унылое задумчивое молчание, наклонившись вперед и рассеянно играясь выклю-



чателем электрочайника: нажимает его и держит кнопку, пока вода не начинает шипеть. Потом резко отпускает его. Он проделывает это несколько раз, проверяя, как быстро может среагировать на звук. Это постоянное включение и выключение чайника уже начинает действовать мне на нервы.

— Моя мама покончила с собой, — говорит он, не глядя на меня. — Когда мне было девять лет.

— О господи...

— Самое смешное, что я не мог плакать. Даже на ее похоронах. Люди говорили, что я очень стойко это переношу. Но я все это время чувствовал себя просто ужасно.

Я помню, что, когда родилась Фрейя, слезы были для меня большим облегчением: они приносили мне успокоение.

— И до сегодняшнего дня я все время так *мило* веду себя с людьми, что мне уже выть хочется. — Он по-прежнему не смотрит на меня; его идеальной формы губы брезгливо поджаты, как будто он сам у себя вызывает отвращение. — И ничего прекрасного в этом нет, — говорит он. — Я трус. Я не смею никому возразить. Я не могу смириться с риском, что кто-то может так же отвергнуть меня опять. Никогда.

\* \* \*

— Этот ребенок, дорогая, реагирует на твой голос, когда тыходишь в комнату, — говорит моя мама. Она держит Фрейю на руках, пока я достаю все для кофе.

— О нет, чепуха.

— Сама ты чепуха. Конечно, реагирует. Глупая ты девочка, мозг ей для этого и не нужен. Ты ведь ее мать.

Похоже, это является частью нашего с ней негласного договора о взаимоотношениях: я никогда не соглашаюсь с тем, что говорит моя мама, и она, в свою очередь, платит мне той же монетой. Поэтому я беру у нее Фрейю и удерживаю ее у себя на плече, не обращая внимания на ее слова, хотя и сама иногда удивляюсь и думаю, не появилась ли на самом деле между нами какая-то связь.



Когда она лежит рядом со мной на кровати, ее рука как-то сама собой касается меня. Нет такого, чтобы я могла когда-то сказать: «А вот сейчас она протягивает ко мне руку». Но всегда какая-то часть ее тела находится в контакте со мной.

Когда я кормлю ее, она смотрит мне в глаза. Сегодня утром я скопировала выражение ее лица, то, как она заносчиво задирала головку вверх, словно Муссолини в миниатюре. После нескольких глотков она перестала сосать и пристально уставилась на меня. Я уверена, что это сработало: она сообразила. Я почти уверена, что ее голова движется тогда, когда движется моя: она копирует меня, копирующую ее.

Моя любовь к ней изменилась. Она сейчас менее физическая, менее автоматическая, но при этом более глубокая.

Мысли мои прерывает Керим, который просовывает голову в дверь гостиной.

— Мы тут пьем кофе, — говорю я. — Проходите и садитесь с нами.

Он умоляюще смотрит на место рядом с Амелией, но она отворачивается и демонстративно отодвигается подальше от свободного стула.

— Нет, благодарю, — говорит он и выходит из комнаты.

— Мама, ты не должна так вести себя с Керимом. Это действительно обижает его.

— На самом деле это обижает *меня*. Он выслушивал все мои взгляды и, казалось, соглашался со мной. Я доверяла ему. А он меня предал.

Я не уверена, имею ли право пересказывать ей его признания насчет матери. Это определенно вызвало бы ее сочувствие. Но мысль, что она может предпринять какой-то неловкий ход в связи с этим, ужасна, и, не желая рисковать, я просто говорю ей:

— Если ты посмотришь на это с другой стороны, то это *он* доверил нам свою личную жизнь, а мы обманываем его ожидания. Он ведь по-прежнему то же самый Керим. Неужели ты этого не видишь?

— Не вижу, не вижу. Все изменилось. Того Керима нет.



В голосе ее слышатся слезы, и я вдруг понимаю, что она оплакивает его. Она потеряла человека, которого, как ей казалось, знала.

Как раз в это мгновение я чувствую нежное прикосновение ручки Фрейи у себя на шее. В том, как она делает это, нет ничего осмысленного или преднамеренного. Совпадение? Или все-таки контакт? А может, она действительно пытается достучаться до меня?

Всю вторую половину дня по дому разносится грохот молотка. Керим, сняв рубашку и обнажив свой потрясающий торс, в дальней спальне срывает свое разочарование на гнилых досках пола, как какой-нибудь скандинавский бог грома. Очевидно, он надеется вернуть расположение Амелии путем героической работы по дому.

Время от времени, когда моя мама считает, что он ее не видит, она бросает на него быстрый зачарованный взгляд. Я могу читать ее мысли, словно они, как в комиксах, написаны на облачке рядом с ее головой: не так уж и легко найти такого привлекательного молодого человека с кувалдой в руках, который был бы у тебя на побегушках.

\* \* \*

Людовик вторгся на нашу землю. Он выгнал своих овец на наши поля и натянул везде пугающие электрические ограждения. Аккумуляторы этих ограждений он привязал цепями с висячими замками, чтобы мы не могли их отключить.

— В этих местах полно *voleurs*. Причем воры эти сегодня повсюду. Вы должны защищать свою собственность.

— Тобиас, ты давал Людовику разрешение устанавливать на нашей земле электрические заборы?

Тобиас выглядит смущенным.

— Ну, у нас с ним был какой-то разговор на эту тему. Я думаю, что будет лучше дать ему делать то, что он хочет. Нам следует поддерживать хорошие отношения с соседями.



Французский Тобиаса потихоньку движется вперед. Точнее, он учится провансальскому наречию, не имеющему ничего общего с литературным французским. Он ведет долгие разговоры с Людовиком и другими малопонятными мне *raysans*. Причем часто он больше понимает из сказанного ими, чем я. Однако он по-прежнему так и не научился говорить «нет» ни на одном из языков.

Так что Людовик ездит на своем тракторе через наши поля, пренебрежительно фыркает по поводу нашей оросительной системы и только качает головой, глядя на нашу половину огорода. Но хуже всего то, что когда я пошла вчера посмотреть на наши виноградники, то нашла травку с мелкими цветочками, которая окружала нашу лозу, всю увядшей и коричневой.

— Я побрызгал ее «Раундапом де Монсанта». У меня осталось немного в моем *pulvérisateur*<sup>1</sup>.

— Ох, Людовик, я не уверена, что...

— Чепуха. Если ваши сорняки выбросят семена, страдать будут все ваши соседи. Вы должны быть строги с природой, пока она не стала строгой с вами. *Il faut empoisonner*<sup>2</sup>.

\* \* \*

Склон холма весь покрыт цветами.

Уходя гулять, мы берем с собой корзины, чтобы собирать соковища, которыми изобилует эта сельская местность: шиповник и нежная дикая малина на вершинах гор, цветы бузины, растущей вдоль тропы, черника в лесу, крошечная земляника на лугах. В моем огороде разворачивает свои нежные листочки ревень. Появляется первая клубника и молодые стебли малины, возвращаются к жизни кусты черной и красной смородины. То, что мы любители и садовники из нас неважные, почти не имеет значения. Труд предыдущих поколений все равно приносит свои плоды в буквальном смысле этого слова.

---

<sup>1</sup> Опрыскиватель (фр.).

<sup>2</sup> Нужно (их) травить (фр.).



— Вот, я вам тут кое-что принес, — говорит Людовик, когда я встречаю его. С этими словами он вручает мне тонкую тетрадку. — Розина книжка рецептов, — говорит он. — Вы же шеф — вам может пригодиться.

— Людовик, это очень ценная вещь. Не знаю даже, как вас и благодарить.

— Да все нормально. Кроме того, я все еще жду, что вы пригласите меня на жаркое из дикого кабана.

Как только у меня появляется свободная минута, я сажусь, чтобы просмотреть тетрадь. На потрепанной синей бумажной обложке безупречно каллиграфическим почерком выведено: «Роза Доннадье». Бумага времен войны очень тонкая и расчерчена в клеточку.

Страницы исписаны аккуратным почерком школьной учительницы. Многие рецепты касаются варенья и консервов, исходя из времени года и местных продуктов.

Несколько листов посвящены наблюдениям за жизнью в удаленной горной деревушке, где Роза учительствовала, — возможно, это наброски ее писем. Я читаю, и мне кажется, что я почти слышу ее прерывистый голос, когда она несколько неодобрительно отзывается об отсталости людей, среди которых ей доводится жить.

*Мои ученики приходят в школу в деревянных башимаках. Мне приходится строго отчитывать некоторых родителей за то, что они не пускают своих детей на уроки, заставляя их ухаживать за овцами.*

*По правде говоря, жить тут тяжело. Зимние ночи здесь ужасно холодные. Нет ни водопровода, ни электричества. Женщины стирают одежду золой из костра прямо в реке.*

В середине тетрадки несколько пустых листов, а дальше, от конца к началу, идут записи ее хозяйственных расходов: страницу за страницей она дотошно записывала, сколько франков заплатила за хлеб, сахар, чай и жир.

Нет даже намека на то, что она вела двойную жизнь как партизанский *agent de liaison*.

\* \* \*

Во время приступов Фрейя начала делать новые движения. Ее ножки гротескно гребут, как будто она плывет по-собачьи, а ручки делают правый и левый джеб на боксерский манер — нелепые огибающие удары. Ее мышцы полностью сжимаются каждые пару секунд в течение нескольких минут. Я не понимаю, как ее маленькое тельце может такое выдержать.

— Тобиас, у нее опять началось. Я только что покормила ее, и каждый раз, когда ей нужно срыгнуть, у нее начинается приступ. Пожалуйста, позвони доктору Фернандес и выясни, что нам делать.

Я сижу с Фрейе на руках и секундомером отмеряю продолжительность ее конвульсий.

— Доктор совершенно спокойна по этому поводу, — докладывает Тобиас. — Она не хочет еще увеличивать дозу фенобарбитона. Говорит, чтобы мы привезли к ней Фрейю, когда в следующий раз будем в Лондоне. А если приступ будет длиться больше пяти минут, нужно использовать ректальный валиум или же звонить в скорую.

— Прошло уже четыре с половиной минуты. Я сейчас распакую валиум.

— Мне кажется, что этот приступ закончился. Она уже сделала несколько вдохов.

— Но теперь все началось снова.

— Ну, тогда это уже новый приступ — начинай отсчитывать время заново.

— Ты уверен?

— Да, конечно.

Даже через столько лет меня по-прежнему дурачит этот его уверенный тон.

— Очнись, моя хорошая, — говорю я. — Посмотри на свою маму.



Конвульсии Фрейи постепенно затихают, и она погружается в состояние оцепенения, как всегда после приступа. К утру я вымотанная, обессиленная, пустая. Я беру в руки тетрадку Розы.

*Плоды шиповника богаты витамином С. Аккуратно удалить семена и кипятить мякоть для получения отвара. Для поддержания здоровья детей давать им ежедневно пить один стакан отвара, разведенного в трех частях воды.*

Не будет никакого вреда, если я попробую несколько рецептов из ее записей. Смотраться вниз в деревню, чтобы купить стеклянные банки для варенья и сахар, не займет у меня много времени.

\* \* \*

Проснувшись этим утром, я чувствую нежное благоухание. Выглянув в окно нашей спальни, я вижу, что оно обрамлено розовыми розами. Я не могу дождаться, когда займусь заготовками.

*Землянику никогда не следует мыть перед приготовлением варенья, это изменит ее тонкий аромат. Кипятить три части ягод на две части сахара, добавив столовую ложку лимонного сока для загустения.*

Я прячу свой запас варенья в аккуратных красивых банках, снабженных этикетками. Выстраиваю их стройными рядами на своих полках. Я уже сделала разные желе, сиропы, приправы и столько варенья, что нам его не съесть никогда.

— Вам нужно как-то сдерживать себя, — говорит Жюльен. — Сезон фруктов только начинается. Так вы до осени не доживете от измождения.

Я не удостаиваю его ответом. Кухня — это моя художественная студия, моя научная лаборатория. И сейчас в ней главенствует Роза.

Словно в противопоставление аскетичной скудости войны, она с тоской записала здесь изобильно щедрые рецепты довоенного времени.

*Варенье из съедобных цветов требует терпения, но это вовсе не трудно, и, когда можно достать сахар, является местным фирменным блюдом.*





По ее инструкциям я экспериментировала с густо-красными дамасскими розами, варила их с сахаром, получив варенье насыщенного розового цвета, навевающее мысли о жаркой погоде и турецких наслаждениях. Мне удалось сохранить окраску и запах фиалок, покрыв каждый нежный лепесток консервирующей смесью из яичного белка с сахаром. Цветки одуванчика я переработала в насыщенный желтый напиток.

— «Клубничное варенье, партия 2, 40 процентов сахара», — читает Жульен. — «Настой из одуванчиков». «Шампанское из цветов бузины». Эти наклейки у вас немного унылые.

— Унылые? Что вы имеете в виду?

— Ну... если вы берете на себя труд что-то заготавливать, вам следовало бы сохранить то, что они означают для вас.

Он берет ножницы и начинает отрезать длинные полосы бумаги.

— Дайте мне ручку. Сейчас покажу.

Он пишет, а я заглядываю через его плечо: «Это клубничное варенье было приготовлено великолепным майским утром, когда Анна надела свое синее платье».

Я хихикаю. Он вручает ручку мне.

— Ваша очередь.

— Ну, не знаю. Что я должна тут написать?

— Что угодно — то, что для вас наиболее важно именно в данный момент.

Я беру ручку и пишу: «Это настой из одуванчика, который Анна приготовила в тот день, когда Фрейя впервые взяла ее за волосы».

Он улыбается.

— Вот видите — у вас тоже получается.

— Я рассказываю по бутылкам свои воспоминания, — говорю я. — Когда мы через шесть месяцев откроем, я вспомню, как это было здесь, сейчас.

\* \* \*

— Сегодня День Победы, — говорит Людовик. — Возможно, вам тоже нужно прийти на митинг.



Мы с Тобиасом спускаемся в Эг, взяв с собой Фрейю в перевязи. Мы пришли туда в резиновых сапогах и рабочей одежде, но, увидев толпу, собравшуюся возле памятника, сразу понимаем, что совершили ошибку: здесь все одеты в черные костюмы и темные платья. Ивонн украсила место проведения собрания цветами в красных, белых и синих тонах<sup>1</sup> — правда, для красного она использовала оранжевые цветы, а для синего — бирюзовые.

— Яркие цвета более экзотичны, — шепчет она мне. — Поднимите свою *la petite*, чтобы ей было их видно.

Практически в каждой деревне Франции есть свой памятник с длинным списком тех, кто погиб во время Первой мировой войны. Эг — не исключение. Но, в отличие от других, тут также есть длинный перечень тех, кто был убит во время Второй мировой.

Людовик уже на месте, со всеми своими медалями на груди.

— Он был таким соблазнителем, — говорит Ивонн. — Никогда не пропускал ни одной дамы — можно заметить, что он и сейчас совсем не изменился.

Мэр приветствует собравшихся.

— Сегодня, — говорит он, — мы в шестьдесят третий раз празднуем нашу победу, и наш долг — продолжать это делать как можно дольше. Поэтому мы должны рассказывать молодым поколениям, что произошло тогда...

— Восьмое мая 1945 года, я ранен, лежу в госпитале в Арденнах, — доверительным тихим голосом говорит мне Людовик. — Они приходят, находят меня и несут на свои плечах. Мне только шестнадцать, но я сыграл свою роль. Я — герой Сопротивления.

Мэр заканчивает свое приветствие, и наступает короткая пауза, пока он возится с допотопным кассетным магнитофоном.

— А как умерла Роза? — спрашиваю я. — Я видела ее имя на памятнике в лесу.

---

<sup>1</sup> Цвета французского флага.

Но Людовик, обычно такой словоохотливый, игнорирует мой вопрос.

— Каждый год кассетный магнитофон ломается. Это скандал, — говорит он. — Нам нужно провести *лотерею*, чтобы собрать деньги на новый.

Магнитофон все-таки оживает, и вокруг разносится сигнал горна в честь погибших. Флаги Франции и Сопротивления торжественно приспускаются.

Звучит «Марсельеза», за которой следует гимн Сопротивления «*Le Chant des Partisans*»<sup>1</sup>. Все удивительно трогательно: тихо развевающиеся на ветру флаги, толпа местных жителей в строгих одеждах, Людовик с немного слезящимися глазами, слегка заедающая кассета, отчего кажется, что голос певца срывается.

Мэр выключает магнитофон за мгновение до окончания песни. Он неторопливо разворачивает лист бумаги и начинает свою речь:

— Во время Второй мировой войны честь Франции была поддержана меньшинством, которое с каждым днем становилось все более многочисленным. Мы должны помнить о том, что Франция, наряду с Британией, была единственной страной, которая объявила войну Германии сразу после ее вторжения в Польшу. После оккупации честь страны защищало Сопротивление. Очень важно признать это и передать своим детям.

— Интересно, а где был мэр во время войны? — кричит мне прямо в ухо Людовик. — В Сопротивлении его не было, хотя он на год старше меня.

Мэр сворачивает свою бумажку.

— Митинг памяти на этом закончен, — говорит он. — Как всегда, мэрия приглашает всех в кафе Ивонн, поднять тост за победу.

Толпа людей начинает перемещаться на другую сторону площади. Мы с Людовиком идем в ногу друг с другом позади мэра.

---

<sup>1</sup> «Песнь партизан» (фр.).



— Мой друг Роланд, — говорит Людовик, — очень хороший мастер по дереву. Он делал для нас такие миниатюрные гробики. Я выходил ночью и совал их в почтовые ящики тех, кто слишком много болтает. Внутри записка: «Держи язык за зубами, иначе...» Срабатывало просто прекрасно. Это было мое первое настоящее дело у *маки*. Красивые маленькие гробики, но не думаю, чтобы тот, кто такое получил, сохранил бы это у себя. — Он сверлит глазами спину мэра. — А знаете, однажды я отнес один такой его отцу...

В кафе Ивонн наливает всем анисовый ликер пастис, и атмосфера становится приятной и непринужденной. Людовик хлопает мэра по спине и поздравляет с хорошей речью.

\* \* \*

На нашем огороде полно угрей. Просто бедствие библейских масштабов. В моем состоянии повышенной тревожности это воспринимается как предупреждение, что Фрейе становится хуже.

— Должно быть, они припыли через *béal* прошлой ночью, — говорит Тобиас.

— А я думала, что они под угрозой исчезновения.

— Ну, эти так точно.

Мы находим парочку еще живых и бросаем их обратно в реку. Мне жутко думать, как эти бедняги плыли по нашему *béal*, думая, что вырвутся на свободу, в открытое море, а вместо этого закончили здесь, попав в заточение в нашей грязи.

У Фрейи происходит два-три приступа за ночь. Я по-прежнему хожу к ней, но уже медленнее. Я не всегда беру ее на руки. Порой я просто стою и смотрю, как она синееет. Я смотрю на ее конвульсии и желаю ей, чтобы она восстановила свое дыхание. Я не хочу, чтобы она дожила до своего среднего возраста, когда мы станем уже стариками. Если рассуждать логически, это означает, что я желаю ей умереть раньше меня.

Но не сейчас, только не сейчас... Я невольно начинаю молиться.

Из-за того, что она целыми днями лежит, волосы у нее на затылке редкие. Иногда я переворачиваю ее на животик: предполагается, что ей это полезно. Она пытается координировать движения рук и ног в попытке ползть, но из этого ничего не выходит. Она забывает пользоваться одной рукой, беспомощно дрыгает ногами, с трудом старается поднять голову и в изнеможении роняет ее. От разочарования и злости она жалобно постанывает.

Не сейчас, только не сейчас...

У меня нет на нее времени. Или, точнее, я сама не выделяю времени на нее. Поспевает черешня. Между появлением плодов и тем моментом, когда они, бесполезные и сморщенные, опадут на землю, очень короткий промежуток. И я должна сохранить их.

Варенье из черешни — мое любимое: густое, как патока, темное, как вино, с плотными кусочками ягод, которые нужно разжевывать. Я варю его с лепестками розовой розы, растущей за моим окном, по рецепту Розы. Ее инструкции точны и обнадеживающе педантичны: *Обязательно используйте только медную кастрюлю и деревянную ложку. Если нет сахара, можно использовать сироп из прокипяченного винограда. Добавлять лепестки розы ровно за четыре с половиной минуты до окончания варки ягод.*

Когда бросаешь в кастрюлю лепестки, тебя окутывает облако волшебного аромата. Я представляю себе, как она делала то же самое, на той же самой кухне, только много лет назад. Постепенно запах розы ослабевает, смешиваясь с более низкой нотой черешни. Но, когда открываешь банку, он возвращается снова, как будто там было пойманное лето.

Черешни продолжают наступать: неудержимая атака, шквал, *tour de force*<sup>1</sup>.

Керим с Густавом собирают их в нашем саду ящиками, тачками, кучами. Ягоды созревают волнами, в зависимости от сорта. Сначала ярко-красные, потом громадные, почти черные,

---

<sup>1</sup> Проявление силы (фр.).



а после них местная разновидность — желтые с алыми боками, похожие на миниатюрные яблочки.

Я купила машинку для извлечения косточек из черешен. Я работаю с ней несколько часов подряд. Если оставить все на милость природы, черешни сгниют за считанные дни. Если я хочу сохранить их, то должна работать быстро.

Мои руки до локтя вымазаны в соке ягод. Ногти и костяшки пальцев черные. Руководствуясь указаниями Розы, я сделала засахаренную черешню, черешню в роме, черешню в винном уксусе, сушеную черешню, черешневый шербет. А они все прибывают. Никто не в состоянии съесть такое количество черешни даже за тысячу жизней.

Я постоянно уговариваю себя, что мое консервное производство является частью нашего будущего. Что однажды я буду вести курсы по домашнему консервированию или буду продавать свое варенье клиентам. Но на самом деле я просто подавлена пропадающей без толку расточительностью природы. Я затариваюсь.

Куда бы мы ни пошли, повсюду бесхозные вишневые деревья бросают к нашим ногам свои сокровища. Они поломаны и наполовину мертвы, но в них все еще жива жажда воспроизводства.

Посреди своей заготовочной кампании я делаю открытие: мыши прогрызли дырку прямо в пластмассовой крышке «Нутеллы». Банка, которая была полной, когда мы только переехали сюда, сейчас вылизана дочиستا. На дне я нашла аккуратно обгрызенный пластиковый кружочек.

Сразу же возникает тягостный вопрос: означает ли это, что они, в принципе, могут прогрызть и мои пластиковые контейнеры?

— Тобиас, ты только посмотри, что они сделали! Как думаешь, может, мне нужно сложить все в стеклянные банки с герметичными крышками? В них-то они точно не залезут, верно?

Но Тобиаса, такого уравновешенного, с таким чувством юмора — любовь всей моей жизни, — в последнее время частенько посещают приступы необъяснимой злости.

— Да брось ты к черту все эти свои банки и контейнеры! Я не могу следить за всеми твоими схемами массовых перестановок продуктов. Анна, ради бога, неужели ты не видишь?! Сколько бы ты ни сделала банок варенья, как бы глубоко тебя ни захватила эта Роза и все эти дела из ее прошлого, наша дочь все равно будет дефективной. А если ты в самое ближайшее время не оторвешься от нее, то и сама такой сделаешься.

\* \* \*

Густав, должно быть, очень любит Керима. Он осмеливается обратиться к моей матери на своем медленном и на удивление любезном английском:

— Мадам, пожалуйста, разрешите мне как-нибудь сделать прическу из ваших великолепных волос. Я учился этому искусству в одной из лучших *salon de coiffure*<sup>1</sup> в Тулузе.

На мгновение она явно в замешательстве. В другой вселенной, в той, в которой она спустилась со своего пьедестала, Керим мог бы выполнять для нее всякие поручения, а Густав мог бы делать ей прически. Я вижу, как она борется с противоречивыми чувствами, напоминая вращающуюся вокруг солнца планету, на которую одновременно действуют силы притяжения и отталкивания.

\* \* \*

Зайдя в гостиную, я вижу, что мама загнала Керима в угол и читает ему лекцию:

— Дорогой мой, вы должны понять, что вы не гомосексуалист. На самом-то деле.

— Амелия, — говорит Керим, — я знаю, что вам это очень трудно понять, однако...

При виде этой картины я закусываю губу: мне хочется, чтобы он не спасовал перед ней, чтобы заставил ее хотя бы раз в жизни увидеть мир таким, какой он есть, а не таким, как она хочет, чтобы он был. Я чувствую, он очень близок к тому, чтобы,

---

<sup>1</sup> Парикмахерская (фр.).



собравшись с мужеством, встряхнуть ее и вывести из состояния перманентного неприятия.

— Я люблю Густава, — говорит он, но голос его в конце фразы дрожит, отчего интонация получается почти вопросительная.

Она обрывает его возгласом, близким к паническому. В глазах у нее стоят слезы.

И он сразу же идет на попятную и следующие слова уже произносит тихо и невнятно:

— Мы вместе учились в школе. Были лучшими друзьями...

Она мгновенно пользуется своим преимуществом.

— Конечно, — успокаивающим тоном говорит она, — это вполне естественно. Вы были молоды, и это сбilo вас с толку. Вы просто экспериментировали. Возможно, это он подбил вас.

Она упирается руками в свои не потерявшие форму бедра и смотрит на него так, как смотрела на меня в подростковом возрасте, когда хотела обсудить то, что она называла «факты жизни».

— А глупая размолвка с вашей матерью, — говорит она. — Я подозреваю, это может быть связано с тем, что она узнала о вас с Густавом.

Наступает молчание; в его глазах появляется едва заметный намек на то, что она права.

— Вы, дорогой мой, должны взглянуть на это ее глазами. Вероятно, она в замешательстве, ей больно за вас. Вы не должны забывать, что она по-прежнему вас любит. И все будет хорошо, когда она поймет, что у вас это была просто... болезнь роста.

В который раз моя мать поражает меня своей способностью напрочь игнорировать неудобные для нее факты. Но отказываясь видеть всю эту вопиющую реальность, которая находится у нее прямо под носом, она превосходит саму себя.

— Почему бы вам не дать мне ее адрес? — говорит она. — Я напишу ей письмо. Если в этом есть необходимость, я поеду к ней и все объясню. Куда угодно. Даже в Алжир. Знаете, дорогой, я уверена, что мы с ней сможем уладить это глупое недоразумение по-женски, как мать с матерью.



Но согласиться на это не может себя заставить даже Керим.

— Дорогой, я не хочу вас подталкивать, — говорит она. — Просто подумайте над этим некоторое время.

Выходя из комнаты, она бросает на меня торжествующий взгляд. Я смотрю на Керима. Он сидит за кухонным столом, где она оставила его, совершенно неподвижно и блуждающим взглядом своих миндалевидных глаз рассеянно смотрит в окно.

\* \* \*

Сейчас середина дня. Я планировала приготовить буйабес, но ингредиенты не подготовила, не говоря уже о том, что не проварила их на медленном огне, как учил меня Рене Лекомт. Поэтому я обращаюсь к тетрадке Розы.

У нее там есть рецепт бурриды из города Сет на побережье Лангедока — блюда, которое намного проще, чем буйабес. Вместо рыбного бульона для него требуется пряный отвар из трав и овощей. И вместо четырех сортов рыбы — всего один: морской черт. Просто отварить на медленном огне морского черта, взбить в миске айоли<sup>1</sup> и смешать его с бульоном, в котором готовилась рыба.

Простота скромных лангедокских блюд от Розы раскрепощает. В этом смешивании свежих ингредиентов я ощущаю истоки множества составных частей знаменитой высокой кухни, невольником которой я была в прошлом. Готовя по тетрадке Розы, я чувствую себя так, будто возвращаюсь к фундаментальным основам.

Я стою с венчиком-взбивалкой над дымящейся кастрюлей, рядом в коляске лежит Фрейя. Тобиас уже сидит за кухонным столом, привлеченный аппетитными запахами, исходящими от моей бурриды. Заходит моя мать.

— Дорогая, у Фрейи приступ, — говорит она.

— О'кей, минутку. Оно не должно закипеть, иначе все свернется. Уже начинает густеть.

— А она вообще дышит, дорогая?

---

<sup>1</sup> Соус типа майонеза из чеснока и оливкового масла.



— С ней все хорошо, — коротко отвечаю я.

— Слушай, она выглядит довольно посиневшей.

— Ничего она не посиневшая. — Я даже не смотрю в сторону коляски.

— Что ж, тебе лучше знать, дорогая, — говорит она. — Ты ее мать. Ты всегда будешь делать то, что для нее лучше.

И тут меня прорывает:

— Меня уже тошнит от твоего чертова культа материнства. И я каким-то сверхъестественным образом не наделена мистической способностью делать то, что будет лучше всего моему ребенку. Я не спала целую неделю. Ты хоть немножко можешь себе представить, каково это — следить за ней ночи напролет? Не зная, сможет ли она прорваться на этот раз?

Моя мать смотрит на меня, прищурившись.

— Ты неважно выглядишь, дорогая. Дай-ка я пощупаю твой лоб. — Она протягивает ко мне руку.

— Ради бога! У меня не простуда — у меня просто очень серьезно больная дочь. Меня тошнит от людей, которые говорят нам, что у нас все фантастически хорошо или что она всегда будет для нас замечательным ребенком. Она не всегда замечательная, а у меня далеко не все в порядке. Я держусь только потому, что уже устала соображать, что мне еще сделать. Если ей однажды суждено умереть, то почему не сегодня? Ее существование все равно бессмысленно.

— Мне кажется, что на самом деле ты не хотела использовать слово «бессмысленный» по отношению к моей внучке, верно, дорогая?

— Ладно, тогда ты сама скажи мне — вот возьми и скажи. В чем ее смысл?

Желая поспорить, моя мать тем не менее испытывает заметные трудности.

— Ну, она чувствует тепло и холод, радость и печаль. — Вдруг ее, похоже, осеняет новая мысль: — И как знать, может быть, будет возможно выучить ее.

— Выучить?

Лицо ее светлеет.

— Выучить! Ну да, мы определенно сможем выучить ее. В конце концов, научить чему-то можно даже *слизняка*.

— Ради бога, мама, — говорю я. — Это и есть твое предложение?

— Она просто очень хитрый, строптивый ребенок, дорогая, ты сама увидишь. Со всеми молодыми мамочками такое бывает. С тобой все будет хорошо. Как и с ней. — Наступает пауза, и я стараюсь не замечать, как подрагивает ее нижняя губа. Затем она бросает: — У тебя все *просто* *обязано* быть хорошо, дорогая. Иначе я этого не вынесу.

С тех пор как мне исполнилось шестнадцать, моя мать постоянно говорила, планировала и с нетерпением ждала того дня, когда она станет бабушкой. Ее подавляющее все другое желание, чтобы у меня появился ребенок, возможно, и было настоящей причиной того, что я с этим так затянула. Я не озабочивалась тем, чтобы спросить ее об этом, но, должно быть, она тоже горюет по Фрейе.

Я уже открываю рот, чтобы как-то успокоить ее, но тут вмешивается Тобиас.

— Анна права, Амелия, — говорит он. — Мы должны быть реалистами. Такие вещи просто невозможно преодолеть. Никогда.

— Моя дочь справится с этим, — говорит моя мать. — И это приказ, Анна.

— Нет, не справится, — говорит Тобиас. — Из-за самого факта существования этого ребенка рушатся наши жизни. И чем больше мы будем пытаться проникнуться любовью к ней, тем пагубнее это отразится на нашей жизни. Не знаю, почему вы защищаете Фрейю, потому что эта... тамагочи ломает жизнь вашей дочери.

Моя мать переводит глаза с меня на Фрейю и обратно с выражением лица, близким к панике, и я читаю ее мысли так же отчетливо, как если бы она произнесла их вслух. Как это может быть так, что она выбирает между нами? На мгновение я заглядываю под макияж, шейный платок от «Гермеса» и весь тот антураж, которым моя мать себя окружила, и это напоминает мне



крушение поезда в замедленном показе: видишь перекошенные от ужаса лица пассажиров в обреченных вагонах, летящих с рельсов в пропасть, и знаешь, что ты ничего, абсолютно ничего не можешь с этим поделать.

И тут на сцену выступает Керим, который вместе с Густавом пришел на обед.

— Тобиас, вы говорите чепуху, — говорит он. — Ваша жизнь вовсе не рушится.

Голос его неузнаваем, он полон спокойной уверенности и авторитета. Любые следы нервозности исчезли.

— Не вижу, — упрямо говорит Тобиас, — почему вы можете так говорить.

— Потому что, — говорит Керим, — я этого не допущу.

Тобиас смотрит на него воинственно, но Керим тверд. У него всегда была привлекательная внешность, но сейчас он выглядит еще и мужественно.

Наступает короткое молчание. А затем, странно охнув, Амелия падает на руки Кериму. Однако, прежде чем она успевает что-то сообразить, к ним бросается Густав. На какое-то мгновение мне кажется, что мама раздумывает, стоит ли менять свою непримиримую позицию. В следующий миг они уже обнимаются на кухне втроем.

— Я тут долго думала... — говорит она, незаметно освобождаясь от объятий Густава. — Теперь, когда я загорела, возможно, мои волосы будут выглядеть лучше, если будут на тон светлее. Может быть, попробуем, как вы считаете?

\* \* \*

Фрейя простудилась, у нее температура, заложен нос и проблемы с дыханием, что усугубляет кислородное голодание при ее приступах.

Я сижу на диване, держу ее на коленях, протираю губкой ее горячее тельце, и у нее происходит следующий приступ. Когда она в таком состоянии, мне невыносимо оставаться одной.

— Тобиас! — кричу я.

Тобиас не отзывается. Он опять прикидывается, что не слышит меня. Это сводит меня с ума в буквальном смысле, и я действую иррационально. Позвав его еще пару раз, я кричу:

— Иди сюда быстрее — она не дышит!

Тобиас появляется бегом. Он смотрит на меня с явным раздражением:

— Она прекрасно дышит.

Тело ее напряглось, глаза закатились, головка повернута направо, одна рука поднята, одна нога опущена — она застыла, как охотничий пойнтер в стойке. Когда я переворачиваю ее, поза ее не меняется. Затем постепенно она начинает выходить из припадка, и губы ее издают тихий щелкающий звук.

— Я иду спать, — говорит Тобиас. — Сейчас твоя *очередь*. У нее было по крайней мере три не менее сильных приступа, когда я прошлой ночью сидел с ней внизу, а ты пошла спать, и я *тебя* не будил.

Оставшись одна, я легонько целую Фрейю. А она дарит мне улыбку, неожиданную и заговорщицкую. Я совершенно уверена, что это улыбка: выражение лица сейчас сильно отличается от ее перекошенной гримасы и очень подходит к моменту.

Я делаю ей ванну, и это чудо повторяется снова. Она улыбается скрытной, внутренней улыбкой, робкой и мимолетной.

Когда я кладу ее в колыбель, то вдруг понимаю, как легко ее могут забрать — не только ее жизнь, но всю ее сущность. Большую часть времени я над этим не задумываюсь: мое сознание не позволяет мне принять это знание.

— Тобиас.

— Хм-м.

— Тобиас, пожалуйста, проснись.

Но он продолжает храпеть. Я не сплю, лежу и прислушиваюсь к ее затрудненному дыханию, сдерживая собственное, когда эти звуки затихают, и не смея думать о сне: вдруг она не задышит снова.



\* \* \*

Фрейя находится в центре многих наших ссор. Я предлагаю — он упирается. «Может быть, нам нужно попробовать ректальный валиум?» — «Какая в нем польза?» — «Может, нужно вызвать скорую?» — «Врачи в двух часах езды отсюда, и если вас еще раз положат в больницу, я этого не выдержу». — «Может, тогда позвонишь доктору Фернандес?» — «Нет, я звонил ей в прошлый раз». — «Слушай, я очень устала, я не буду ей звонить». — «Тогда почему это должен делать я?»

До сих пор она всегда выходила из этих припадков. Оставлять ее уже легче. Оставить ее стало уже почти делом чести. Она, словно мяч в опасной игре, на самой грани. И где-то в тайных закоулках нашего сознания сидит страх — или надежда, — что на этот раз она не выгребет.

— Тобиас, я видела, как Фрейя, ну, на миг, не вполне, конечно... но все-таки... да, я думаю, что она улыбнулась. Такой *довольный* вид.

— Чушь, — говорит Тобиас. — Она не улыбается. Просто скривилась.

Я думаю, что он не смеет надеяться на лучший исход.

\* \* \*

В доме полно комаров, мух и разных кусающихся насекомых. Это выводит меня из себя. Нам нужны сетки на окна. Нам нужны сетки вокруг наших кроватей. Я уже сбилась со счета, сколько нам всего нужно.

Лицо Фрейи покрыто следами укусов, но она не замечает этого: в разгаре приступ, и она лежит на диване в гостиной. Сейчас это случается от шести до восьми раз в день. Мы больше уже не измеряем их продолжительность.

Фрейя конвульсивно дергается и сбрасывает на пол мягкую игрушку. Нагнувшись, чтобы поднять ее, я замечаю неровную дыру в плинтусе, в глубине которой что-то виднеется. Плинтус все равно болтается, так что я тяну за его край. Он сопротивляется, но пружинит. Я тяну сильнее, и под скре-



жет выдираемых гвоздей плинтус отрывается по всей своей длине.

Меня отбрасывает назад. В воздух по параболе взлетает какой-то предмет. Я приземляюсь на спину, а эта тварь падает мне на грудь. Желтая, иссушенная, длиннозубая, лысая, с усами. Я не сразу соображаю, что это мумифицированное тело какого-то грызуна. Который намного, намного больше любой мыши.

В испуге я бешено ору:

— Керим! У меня должны быть эти шкафы с решеткой! Это не мыши! Это крысы! Неудивительно, что от них столько шума. Неудивительно, что дерьма столько много. Неудивительно, что тут стоит такой странный дух.

Прибегает Керим и осторожно поднимает меня с пола.

— Ох, Анна! Не хотел вам говорить. Мне ужасно жаль.

— Керим, теперь вы обязательно должны сделать эти шкафы. И могли бы вы поставить на место этот плинтус? Чтобы они не могли залезть сюда опять.

Он открывает рот, но потом закрывает. Наступает пауза. Я слышу, как в висках у меня пульсирует кровь. Тут он открывает рот снова.

Когда он начинает говорить, в голосе его слышны командные нотки:

— Анна, вы потеряли способность видеть то, что находится прямо у вас под носом. Вы должны бросить эту безумную мышцеизоляцию и заняться Фрейей. Позвоните в скорую помощь. Сделайте это сейчас. Мне жаль говорить вам это, но вы с Тобиасом убиваете своего ребенка.



Проблема с вызовом скорой заключается в том, что сам этот факт декларирует данный момент точкой кризиса. Мы неделями спорили с Тобиасом, достаточно ли Фрейя плоха, чтобы отправляться в больницу. Теперь, когда я произнесла в трубку слова «ребенок» и «конвульсии», мы уже находимся в другом мире.

— Сколько ей лет? Сколько длится приступ? Мы вышлем пожарную машину с медицинским оборудованием — она и побыстрее будет, и там аппаратура для поддержания дыхания получше.

Я начинаю паковать сумку в больницу с вещами для себя и Фрейи. Прежде чем я успеваю закончить, на дороге по склону холма уже ревет пожарная сирена.

— Это настоящая красная пожарная машина, — говорит Тобиас, который, похоже, считает необходимым держаться отстраненно. — Дыхательное оборудование здесь, конечно, чтобы откачивать от дыма. У французов очень слаженная спасательная служба.

Шестеро крепких пожарных укладывают Фрейю на носилки и относят в машину.

— Запрыгивайте, — говорит один из них.

Тобиас теряет все свое самообладание и, вскочив, тоже заходит в фургон.

Еще минуту назад со мной все было в порядке, а сейчас я уже сметена драматизмом ситуации: крошечная детская фигурка лежит на взрослых носилках, лицо ее закрыто кислородной маской, над головой ее мигает монитор. Я прижимаюсь к Тобиасу и плачу.



Пожарная машина с ревом несется по крутым виражам горной дороги в долину. Через маленькое, высоко расположенное окошко в задней двери я мельком вижу пролетающие мимо виноградники и ухоженные огороды, на которых, опираясь на лопаты, стоят старики, переставшие копать, чтобы посмотреть, как мы проезжаем.

Сама долина реки Эг находится в горном Лангедоке. По мере того как мы спускаемся, холмы становятся более низкими и более скругленными, а затем вообще исчезают. Вытянув шею, я смотрю вперед через ветровое стекло и вижу широкую, залитую солнцем равнину, за которой вдали поблескивает Средиземное море.

Мы на большой скорости летим по иссушенному желтому ландшафту.

— К концу лета все здесь будет сухим, как пыль, — говорит командир пожарных. — Деревья будут готовы вспыхнуть от малейшей искры. А если пожар начнется еще и в ветреный день, ну тогда...

Он безнадежно надувает губы. Коренастый и крепко сбитый, он не похож на героя — скорее, один из *chasseurs*<sup>1</sup>. Я представляю себе, как он и его люди отправляются в пылающий ад лесного пожара просто потому, что кто-то должен попытаться его погасить. Таких людей должно было быть очень много среди *маки*.

В отделении экстренной помощи центральной больницы Монпелье мы с ними прощаемся. Командир пожарных похлопывает нас по спине и произносит короткую импровизированную речь:

— *De l'avant! Il faut toujours aller de l'avant! Bon courage!*<sup>2</sup>

Они по очереди жмут нам руку.

— Что ж, — говорит Тобиас, — ты сама слышала, что сказали эти парни. Лучше будем двигаться вперед.

---

<sup>1</sup> Егерь (фр.).

<sup>2</sup> Вперед! Всегда нужно решительно идти вперед! Не падайте духом! (фр.)



В отделении скорой помощи нам велят подождать: на авто-страде произошла автомобильная катастрофа. «Что мы делаем здесь, — думаю я, — среди всех этих людей с настоящими травмами, настоящей кровью, заливающей их лица?»

Затем у Фрейи снова начинается приступ.

Я хватаю ее с носилок и бегу к медсестре, протягивая скованное маленькое тельце на вытянутых руках, как жертвоприношение. Медсестра выхватывает ее у меня. Вокруг суетятся доктора, которые дают ей кислородную маску и пытаются поставить катетер. Они долго не могут найти подходящую вену и колют ее иглой снова и снова. Она выходит из припадкаи и кричит во всю мощь своих маленьких легких. Интерн втыкает иглу ей в ногу. Хлынувшая кровь забрызгивает его.

Ее быстро увозят по коридору, чтобы эти люди в белых халатах творили с ней разные таинственные вещи.

— Она снова становится их объектом, — говорит Тобиас. — Теперь она принадлежит им.

\* \* \*

В больнице разрешают ночевать только одному из родителей, поэтому мы поселяемся в расположенной рядом убогой гостинице. Белье на вид чистое, но среди ночи от матрасов поднимается какой-то теплый животный дух, который пробирается в мои сны в образе толстых потных рук, затягивающих меня в болото.

Когда я просыпаюсь, руки исчезают, но запах пота никуда не уходит. В гостиничном номере невыносимо душно. В три часа ночи я встаю и тихо одеваюсь, уговаривая себя, что мне нужно выйти, чтобы глотнуть свежего воздуха.

Я прохожу по пустынному приемному отделению больницы и на лифте поднимаюсь к палате Фрейи. У ночной сиделки я, похоже, не вызываю ни удивления, ни интереса.

— Приступы у нее идут каждый час или около того, — говорит она. — Пока вы здесь, можете записывать момент на-

чала приступа и сколько времени он длится. Если он будет продолжаться больше пяти минут, я увижу это у себя на мониторе и приду. — Она показывает мне в сторону двери. — Заходите потихоньку — там лежит еще один ребенок.

В палате Фрейи всего две детские кроватки. Рядом с каждой из них стоит взрослая кровать, причем заметно, что одна из них уже примята. Фрейя лежит, обложенная подушками, и крепко спит, издавая громкие хрипящие звуки. Одна трубка воткнута ей в нос, другая выходит изо рта.

Я скованно укладываюсь на свою кровать и смотрю, как над ее кроваткой мигают лампочки монитора. Удары ее сердца выстраиваются на графике горной грядой. Тонкая зеленая линия без устали взбирается по одному склону и скатывается вниз по другому. Линия пониже показывает ее дыхание — она более неровная, но такая же подвижная, как зигзаг занятого своей работой паука. Обе линии достигают правого края экрана точно в один и тот же момент, срываются вниз и начинают выписывать новые графики слева без даже мгновенной паузы.

Фрейя издает стон. Паутинки линий останавливаются. Пищит сигнал тревоги.

Я подхожу к ее кроватке и вижу, что ее рука делает знакомое качающее движение. Я отмечаю время на лежащем рядом листке бумаги: 3.45. Я глажу ее лобик и подавляю горячее желание схватить своего ребенка и забрать ее из этого места. Приступ прекращается через три минуты — он недостаточно долгий, чтобы тревожить медсестру. Монитор с датчиком дыхания перестает пикать и возвращается к вычерчиванию своих графиков — неумолимому, скрупулезному.

Неожиданно меня охватывает непреодолимое желание взять моего ребенка на руки. Я стою у ее кроватки в холодном воздухе под больничным кондиционером и соображаю, как мне забрать ее, чтобы не поднять тревогу. Меня трясет. В конце концов я замечаю кнопку с надписью: «Отключение тревоги на две минуты». Нажав ее, я отсоединяю всякие проводки



и быстро укладываю Фрейю на мою кровать. Я засыпаю, глядя на ее посапывающее личико и чувствуя на своей щеке ее мягкое дыхание.

Дневная сиделка будит меня в шесть. Когда я открываю глаза, у меня такое ощущение, что мне их высасывают через трубку. Никто даже не вспоминает о том факте, что Фрейя находится в моей кровати.

Женщина, которая встает с соседней кровати, выглядит помятой, копна черных волос беспорядочно рассыпалась по плечам. Она скручивает ее, и живописная грива преобразуется в аккуратный узел, отчего ее приятное худощавое лицо сразу становится аскетичным и строгим. Она набрасывает на голову платок.

— Я Найла. А вы англичанка? Мы по происхождению тоже иностранцы. Хотя теперь уже, конечно, французы.

Из кровати рядом с ней раздается короткий крик, и она склоняется над своим ребенком.

— Это Сами. Ему уже девятнадцать месяцев.

Сами очень чахлый. Его длинные руки и ноги болезненного цвета похожи на побеги бамбука, а суставы на них выпирают, как какие-то узлы. Он смотрит на меня громадными черными глазами.

У Найлы извиняющийся вид.

— Мы пытались кормить его, но он не ест, — говорит она, и в голосе ее слышатся грустные нотки. — У него конвульсии, много конвульсий; он устал. Мы очень долго пробовали кормить его дома. Завтра они должны научить нас, как вставлять ему в нос трубку.

В восемь часов появляется Тобиас с чашкой кофе для меня.

— О, — говорит Найла. — Ваш муж. Мой муж не очень-то любит приходить ко мне. Он работает, а его мать сидит у нас дома и присматривает за нашими остальными детьми.

Внезапно оказывается, что Фрейя еще не самый худший вариант.



— Вы познакомитесь с моим мужем завтра, — говорит Найла. — Они сказали ему, что он должен прийти сюда, чтобы научиться вставлять ему трубку в нос.

У нас палатный обход. Наш консультант, молодая и профессионально строгая врач, представляется как доктор Дюпон. На ней белый больничный халат и серебристые сандалии на ремешках. За ней тянутся два интерна с планшетами для записей в руках. В самом конце следует толпа медсестер.

— Фрейя сильно заторможена, — говорит доктор Дюпон на великолепном английском. — У нее было несколько приступов сразу по прибытии и в течение ночи. Мы дали ей большую дозу фенobarбитона.

— С ней все будет в порядке? Вы сможете стабилизировать ее состояние?

— Есть один курс лечения, который мы могли бы попробовать. Это лечение кортикостероидами. Никто не знает, как оно работает, но это может облегчить приступы. Дело это простое: например, ребенок может стать раздражительным, может не спать ночью и быть сонным днем, может много плакать, могут быть отеки, задержка жидкости. Вы должны хорошенько подумать. У вас в Великобритании есть специалист, который знает вашу дочь. Там ваши друзья и родственники. Вы не знаете французскую систему здравоохранения. Возможно, было бы лучше организовать ей отправку домой под наблюдение врачей. Остаться вам тут самим и проходить такой курс лечения здесь... В общем, тогда вам нужно будет подготовиться к очень тяжелым временам.

Мы уходим из больницы с ощущением, что нас тут не любят. Кажется, что все стараются отфутболить нас. Тобиас кладет руку мне на плечо.

— Эй, все не так уж и плохо, — говорит он. — За нашим ребенком круглосуточно присматривают. Давай попытаемся воспользоваться этим в плане ознакомительных экскурсий по городу.



Остаток дня мы проводим, бродя по Монпелье. Это большой город; кажется, что каждая улица выводит тебя на еще одну средневековую площадь, где полно баров и ресторанов. Опускаются сумерки, и сюда выходят покутить студенты университета. Из распахнутых дверей и окон звучит музыка. Мы усаживаемся в уличном кафе и едим изысканную еду, которую в Британии можно заказать только в самых роскошных заведениях: свежие устрицы, мозговая косточка в бульоне, соленая треска. Мы выпиваем на двоих бутылку охлажденного белого вина.

— Я не хочу возвращаться в Лондон, — говорит Тобиас.

Я чувствую то же самое. В данный момент Лондон кажется олицетворением смерти и поражения. Жизнь и надежда для нас находятся здесь, во Франции.

— О'кей, — говорю я. — Давай продолжать. *De l'avant*<sup>1</sup>.

\* \* \*

Родителей Сами учат, как кормить его через трубочку. Последние полчаса они стояли, беспомощные и безмолвные, глядя, как медсестра пытается затолкать ему трубочку через нос, в то время как он все кричит, кричит и кричит.

Отец Сами — суетливый полный маленький мужчина. Перед этим суровым испытанием он был таким открытым и очень важничал, подчеркнуто официально представляясь нам:

— Я чрезвычайно рад познакомиться с вами. Меня зовут мсье Хаким. Вы уже знакомы с моей женой Найлой и моим младшим сыном Сами. Все дети — это благословение Аллаха. Но, по нашему верованию, такие дети, как Сами, особенно благословенны.

Найла, как я заметила, во всем полагается на него и спрашивает его мнение о таких вещах, в которых, безусловно, разбирается лучше, чем он: как следует одеть Сами к приходу медсестры, что ее сын предпочитает есть.

---

<sup>1</sup> Вперед (*фр.*).

Когда же появляется медсестра, он вновь раздражается напыщенной речью насчет Аллаха и детей вроде Сами.

— Внимательно следите за моими действиями, — прерывает его медсестра. — В следующий раз вам придется делать это самим.

Только увидев трубку, мальчик начинает молотить своими отчаянно худыми конечностями. С громадным трудом медсестре все-таки удается вставить кончик трубки ему в ноздрю. Она прижимает этот маленький скелет к себе и начинает проталкивать трубку вниз. Сами громко рыгает.

— Если он рыгает, сделайте небольшую паузу, а затем продолжайте, — говорит медсестра. — Вы должны открыть ему рот и убедиться, что трубка не свернулась в кольцо у него на небе. Смотрите, я использую для этого фонарик.

Она продолжает проталкивать трубку вниз, и кажется, что она прошла уже куда-то дальше, чем позволяет желудок. В криках Сами появилась какая-то безысходность: теперь, когда им приходится прорываться мимо предмета, вставленного ему в пищевод, они стали булькающими и сдавленными.

Я бы не смогла этого сделать. Ну, возможно, и смогла бы, но я *не стану* этого делать.

— Вы должны проверить, что трубка у него в желудке, а не попала в легкие, — говорит медсестра. — Подуйте немного в нее, вот так, и послушайте в стетоскоп, какой будет звук. Затем втяните поршень и выведите немного жидкости — проверьте ее кислотность, чтобы убедиться, что это желудочный сок.

Мсье Хаким весь белый — в лице не осталось ни кровинки. Он наклонил голову и устоял в одну точку, куда-то вниз и влево от корчащейся в страданиях фигурки Сами.

— Все хорошо, Сами, — говорит Найла, глядя его по руке. Сами старается оттолкнуть ее.

— Они уже не могут отказаться от него в этом возрасте, даже если бы захотели, — шипит мне в ухо Тобиас. — Он уже слишком взрослый. Он уже может бояться. Видишь, сейчас он узнаёт их.



Медсестра вытаскивает трубку и поворачивается к мсье Хакиму.

— Теперь ваша очередь, — говорит она.

Он пятится на шаг назад:

— Нет-нет. Это делает моя жена.

— Нет, — настаивает медсестра, которая сейчас говорит с ним медленно и нарочито разборчиво, как с умственно отсталым. — Вы тоже должны учиться. А вдруг ваша жена однажды заболеет. Очень важно, чтобы вы оба умели это делать.

С огромной неохотой мсье Хаким берет трубку.

— Это временно, — ободряет его медсестра. — Если он не начнет есть снова, мы поставим ему трубку в желудок. Это будет намного проще.

Пакет с питанием перекачивается в руке мсье Хакима. Мальчик смотрит на него черными как угольки глазами. Потом, когда он понимает, что его опять предали, лицо мальчика сморщивается, и он раздражается новым потоком криков.

— Нам нужно избавиться от Фрейи, — говорит мне Тобиас, — пока она еще маленькая. Ты должна сделать это пораньше, иначе... привяжешься к ней. Дела у нее идут все хуже и хуже, и к тому времени, когда все станет просто ужасным, будет уже слишком поздно. Она будет уже доверять нам. И мы никогда не будем в состоянии что-то ей объяснить. Мы погрязнем в этом на всю жизнь, а когда однажды умрем, она все равно окажется в приюте. И ей от этого будет намного хуже, потому что она привыкнет к другому.

Отец Сами потихоньку приближается к своему сыну.

— Я подержу его, — говорит медсестра. Ей с большим трудом удастся сдерживать его тоненькие ручки и ножки.

— Система социального обеспечения у французов замечательная, — лстивым тоном продолжает Тобиас. — Но это не должно нас обманывать: у них все это действует точно так же, как в Великобритании. Если мы не заберем ее отсюда домой, они *обязаны будут* найти какой-то другой вариант.

Я не могу оторвать взгляда от мальчика, зажатого в объятиях медсестры. Он забросил голову назад, как можно даль-





ше от ненавистой трубки. Со своими длинными конечностями и большими черными глазами он похож на бьющегося в панике жеребенка.

Его отец предпринимает тщетную попытку приблизить трубку к его носу. Мальчик уже не может отбиваться от нее, но издает низкий испуганный стон.

Мужчина тут же бросает трубку.

— Я возвращаюсь в свой магазин, — говорит он. — Это делает моя жена.

Дверь за ним захлопывается. Медсестра что-то сердито бормочет и отпускает Сами. Потом она берет трубку и дает ее в руки его матери.

— О'кей. Он может попробовать сделать это потом. Теперь ваша очередь.

Найла смотрит на закрытую дверь и открывает рот. Затем закрывает его. У нее такой вид, что она вот-вот расплачется.

— Посмотри, — говорит Тобиас, — уход за ребенком вроде Фрейи занимает все время. Это работа для профессионалов. Несправедливо заставлять родителей делать эти вещи самим.

Он протягивает ко мне обе ладони со слегка раздвинутыми пальцами, как будто предлагает вытащить меня из бассейна. Руки у него всегда были замечательными — руки музыканта: пальцы длинные, ровные, надежные. Руки, которые я так хорошо знаю.

На лице его умоляющее выражение.

— Я люблю тебя. Ты мне необходима. Мне очень жаль ставить тебя в такое сложное положение, но ты должна выбирать. Или я, или она. Я возвращаюсь обратно, на наши холмы.

Есть ли у меня этот выбор на самом деле?

Не говоря ни слова, я беру его за руку, после чего мы разворачиваемся и уходим.

\* \* \*

Наступает сезон зеленого инжира. Роза называет его *La fleur de figue* — цветок инжира. Рано начинающих созревать фрук-



тов не так много, как в основной урожай поздним летом, но зато они слаще — обещание приближающегося изобилия.

Нам позвонили из больницы и едко поинтересовались, куда мы делись. «Я бы приехала, моя маленькая детка, я бы приехала к тебе, но мне нужно закрыть фрукты в банки».

Сбор инжира — работа успокаивающая. Деревья эти открытые и щедрые. Их широкие листья напоминают протянутые ладони, предлагающие еду и тень. Когда срываешь лист, на стебле выступает липкое белое молочко. Я знаю, какое оно на ощупь: я пытаюсь остановить молоко, сочащееся из моей груди: это делает меня слишком зависимой от Фрейи, слишком связанной с ней.

Это не такая уж бессмысленная вещь. Ей сейчас шесть месяцев. Большинство работающих мамочек в Лондоне делают то же самое. Кроме того, она становится прожорливее: я уже начала дополнять ее меню детскими молочными смесями.

Когда вы кормите грудью, ваш ребенок и ваша грудь образуют некий альянс, который диктует вам свои условия. Вы должны быть готовы практически без предупреждения — в любой момент — отложить все остальные дела. Что бы там ни говорили, кормление грудью и занятие серьезной работой на хорошей должности обычно несовместимы.

Конечно, серьезной работы у меня больше нет. Однако это не означает, что у меня нет обязанностей. *Инжир должен быть собран*, — пишет Роза в своей тетрадке, — *в le bon moment*<sup>1</sup>.

Эта концепция мне по душе. Никаких жестких крайних сроков — ни в последний момент, ни в первый, а именно в подходящий. Это может зависеть от целого ряда различных факторов: погода, место на склоне долины, положение конкретного фрукта на ветке. Слишком рано — и у фрукта нет вкуса. Слишком поздно — и он увял на солнце и превратился в джем.

— Роза иногда посылала меня собирать инжир два-три раза в день, — говорит Людовик, — обеспечивая, чтобы я срывал каждый плод именно в *le bon moment*.

---

<sup>1</sup> Подходящий момент (фр.).



Добавление небольшого количества красного вина улучшает вкус и цвет варенья из инжира, — пишет Роза. — Сахар не нужен, хотя, если у вас есть улей, можно добавить мед. Самый простой метод заготовки заключается в высушивании инжира на солнце. Проденьте нитку у ножки плодов и развесьте их на дереве на веревках. Если у вас есть выжимки винограда, имеет смысл положить их вместе с инжиром в большой, плотно закрывающийся глиняный горшок.

— Я не могу достать плоды на верхушке дерева, — говорю я.

— Сорвите их с помощью пустой консервной банки на палке, — советует Людовик. — Плод упадет в банку. Или нагнийте ветки вниз с помощью крючка — дерево инжира очень гибкое. Я вам помогу.

Мы собираем фрукты примерно с полчаса: Людовик наклоняет ветки, а я обрываю плоды. Я рада принять предложенную помощь, откуда бы она ни поступала. Тобиаса никогда не допросишься. Моя мама занята гладкой. Густав уехал в английский колледж, пока мы были в больнице, а Керим обновляет спальни. Ну а Лизи занята чем-то своим.

— Как ваша *la petite*? — спрашивает Людовик.

Я считаю его хорошим вежливым соседом, поэтому отвечаю уклончиво, что она получает великолепный уход в больнице. Но он наезжает на меня:

— А что послужило причиной? Это были конвульсии? Или инфекция дыхательных путей? В какую больницу ее отвезли? Что говорят доктора? Кто ее лечащий врач?

Он пошел гораздо дальше, чем предполагает обычный соседский интерес. И чем предполагает вежливость. Его вопросы уводят меня от крупных спелых инжирин, падающих в мою корзинку, обратно к стерильности больничного отделения и его мониторам, отслеживающим дыхание.

— Тридцать лет назад у нас с Терезой был ребенок, — говорит он. — Мальчик. Мы назвали его Томасом. Прошло несколько месяцев, прежде чем мы вынуждены были признать, что у него болезнь Дауна. Тереза тогда была уже стара для материнства: после этого она уже не могла бы родить ребенка.



Она всегда любила его без всяких вопросов. А вот я... для меня все это было не так просто.

Я никогда не думала о Людовике как о чьем-то отце, хотя он на это и намекал.

— Честно говоря, — говорит он, — мне хотелось, чтобы он исчез. Но самое удивительное, что, когда он в конце концов действительно умер, я был убит горем. — Он сделал паузу и нагнул еще одну ветку. Предлагая мне свои лучшие плоды, она сложилась почти вдвое. — Думаю, я, должно быть, его любил, сам того не зная, — говорит он. — Должно быть, я любил его все это время.

\* \* \*

Крысы заняты устройством гнезд. Они стянули проволочную мочалку из строительных инструментов Керима, тянут стекловолокно с крыши, вещи из наших шкафов.

— Обычные ловушки тут не помогут, — говорит Людовик. — Крысы — животные коммуникабельные. Они разговаривают друг с другом. Вам нужно взять сухую штукатурку и смешать ее с пармезаном. Потом расставить это в мисках по дому. Одна крыса наестся штукатурки, и та превратится в камень у нее в желудке. Затем эта крыса будет медленно умирать, издавая своеобразный предсмертный крик. Все крысы тогда испугаются. Они оставят ваш дом и больше никогда сюда не вернуться.

— Ради бога, в этом доме с его шипящим привидением и так уже достаточно хреново, — говорит Тобиас. — Не хочу я тут жить еще и под предсмертный крысиный крик.

В настоящее время он постоянно на взводе. Он находит присутствие моей матери угнетающим. Да, честно говоря, и мое тоже. Он проводит все свое время в студии звукозаписи с изоляцией из яичных упаковок: его агент шлет ему поток заказов на музыку к документальным фильмам, и Тобиас не смеет отказаться от них, потому что понятия не имеет, когда ему заплатят за «Мадам Бовари», если вообще заплатят.

— Им всегда это нужно было еще вчера, — ворчит он. — Мне только что позвонил режиссер шоу о жизни дикой

природы с канала «Дискавери». Он хочет получить музыку к фильму об акулах и медведях сегодня к шести вечера, а завтра это будут угри с барсуками.

Когда он не работает, он уходит вниз по течению реки, где обычно можно найти Лизи.

В доме полно людей, которым от меня что-то требуется. Мне нужно, чтобы он тоже в этом поучаствовал. Но загнать Тобиаса в угол — это все равно, что поймать руками волну: он не сопротивляется, а просто ускользает через щели.

— Дорогой, Керим спрашивает, что ему делать дальше. Не мог бы ты пойти поговорить с ним? Я бы сама это сделала, но очень занята с инжиром.

— Конечно, — рассеянно говорит Тобиас, отправляя в рот полную ложку инжирного варенья. — Мне кажется, что ты положила слишком много сахара.

— Моя мама говорит, что у нее в комнате что-то скребется. Я сказала ей, что это белки на дереве инжира за окном, но боюсь, что это... ты сам знаешь кто. Не мог бы ты посмотреть, есть ли там под плинтусом щели, через которые туда могли бы пробраться эти грызуны?

— Конечно.

— К нам на обед должен заглянуть Жульен. Я должна сделать курицу, где-то к шести часам. Думаю, это будет «Коронованная курица» с жареным картофелем и салатом из домашней зелени. Ты забрал курицу, которую мы заказывали у отца Ивонн вчера?

— Конечно.

— И где же она тогда?

Тобиас смотрит на меня отсутствующим взглядом.

— Курица. От отца Ивонн.

Он хлопает себя ладонью по лбу:

— Черт! Знал же, что я что-то забыл.

— Тобиас, — говорю я, стараясь убрать из голоса раздраженные нотки, — пойдди, пожалуйста, сейчас и забери курицу, или никакого ужина не будет, а, видит Бог, команда эта поест умеет.



— Конечно, — говорит он. — Только я сначала сделаю себе кофе. И приму душ.

— Сейчас двадцать минут двенадцатого. Магазин закрывается в двенадцать. Можешь попить кофе или принять душ, но что-нибудь одно — не оба варианта сразу.

Тобиас смотрит на меня обиженными глазами и включает кипяtilьник. Затем идет в ванную. Я слышу, как шумит открытый душ.

— Я чувствую себя сварливой каргой, — жалуясь я своей матери. — Это так несправедливо! Тобиас *заставляет* меня придираться к нему. Я совсем не властный человек, в отличие от тебя. И мне очень не нравится быть такой.

Моя мама выглядит озадаченной.

— Ну, разумеется, ты должна придираться к Тобиасу, — говорит она. — Иначе как он узнает, что ты его любишь?

— Я собираюсь прекратить это. Прямо сейчас. Это того не стоит. Я не буду превращаться в *сварливую жену*.

— Я тут подумала, дорогая, — говорит она. — Если тебе трудно найти время, чтобы посетить Фрейю в больнице, может быть, я должна поехать вместо тебя?

— Не думаю, что...

— Я могу легко доехать на автобусе и, возможно, что у них в отделении найдется какая-нибудь раскладушка. Я уверена, что появление бабушки будет для нее *почти* так же приятно, как мамы.

— Я действительно не хочу...

— Я могу сказать им, что у тебя дома есть другие дети, за которыми нужно ухаживать. Я уверена, что это разрешается. Как ты можешь бросить других детей?

— Мама! Нет!

Я снова ору на нее. Ну почему у меня все всегда кончается криком?!

— Ладно, ладно, дорогая, — говорит она, старательно делая вид, что не обиделась. — Это было просто на уровне идеи, на случай, если это тебе бы помогло. Собственно, видеть Фрейю

мне совсем не важно. Абсолютно. Единственный человек, ради которого я приехала во Францию, — это *ты*.

\* \* \*

Когда я заготавливаю фрукты, мне нравится думать, что этим я спасаю их от неизбежного в противном случае процесса разложения и порчи. Без меня жить им предстояло бы несколько дней. А в плотно закрытых банках они смогут сохранять свою замечательную форму до года.

Я представляю себе, что инжир в моих банках приветствует меня как своего спасителя, а плоды, еще оставшиеся на деревьях, умоляют собрать их. Сегодня, во второй половине дня, я закатываю пятьдесят поллитровых банок инжира в виноградных выжимках.

— Не рассчитывал застать вас здесь, — говорит Жульен. — Я слышал, что Фрейя в больнице.

— Это действительно так.

— Скорая помощь на пожарной машине... Об этом толкует вся долина. Когда она возвращается?

— Пока что она там. Мы... нам нужна передышка.

Произнося эти слова, я инстинктивно смотрю в землю. Внезапно я чувствую, что мне необходимо посмотреть ему в глаза. Он задерживает свой взгляд на мне на мгновение дольше, чем это было бы комфортно. Затем коротко улыбается.

— Итак, вы заготавливаете инжир.

Не знаю почему, но мне хочется оправдываться.

— Возможно, мы могли бы снабдить их наклейками и продавать туристам. Кто знает, может, мы на этом заработали бы.

— Я подпишу вам несколько наклеек. Впрочем, это не для туристов. Сколько банок вы хотите оставить себе?

— О, где-нибудь двадцать.

Некоторое время мы работаем вместе. Никто из нас не заговаривает; мне нравится это в Жульене: он не боится молчать. Я слышу скрежет его фломастера, когда он подписывает ярлыки для наших банок.



— Надеюсь, что Фрейе скоро станет лучше.

Прежде чем я успела обернуться, он уже ушел.

Заканчиваю я только к полуночи. Выставляя банки на полки, я впервые читаю, что он написал на наклейках.

*Это инжир, который вы закрыли тогда, когда наша маленькая Фрейя была в больнице. Когда эта банка откроется, пусть она будет снова со своей мамой, где и должна быть.*

Из моей груди начало сочиться молоко. Мне невыносима мысль о том, чтобы отказаться от Фрейи. Никогда.

\* \* \*

Без десяти шесть утра я жду автобус на Монпелье. Тобиас категорически отказался ехать со мной, и еще он говорит, что ему необходима машина. Он заставил меня пообещать, что я вернусь автобусом, который идет обратно после обеда.

К девяти я уже в больнице. Вид Фрейи, подключенной ко всем этим мониторам, трубкам и электродам, больше не вызывает у меня ужаса. Я на шаг отделилась от нее.

Фрейя на стероидах. Вместо того чтобы прижиматься ко мне всем телом, она лежит негнущаяся и конвульсивно молотит меня своими кулачками, издавая протестующие крики. У нее постоянно дергается челюсть и дикий взгляд человека, наглотившегося таблеток, — похоже, она сейчас вообще не спит.

Я держу ее на руках и, отказавшись от своих намерений, даю ей взять губами мой сосок. Она сосет ритмично, но без удовольствия.

В соседней кровати спит Сами. На щеке его высохший след от слезы. Рядом сидит Найла и держит его за руку.

— Как он? — спрашиваю я.

Она только безнадежно машет рукой.

— Ему это не нравится. Как и мне. Но что я могу сделать? Я его мать.

Проснувшись этим утром, я смотрю на лучи солнца, просвечивающие сквозь чистые занавески. Ветки инжира медленно



помахивают мне в своем ленивом приветствии. С дерева раздается какофония звуков: там полно мелких птичек, долбящих инжир своими клювами. Они дырявят плоды все до одного. Вот оно, окончание *le bon moment*. Я пропустила всего один день заготовки инжира, и все это закончилось.

Но теперь я обнаружила высоко в горах место, где до сих пор цветет бузина. Она обладает тяжелым ароматом, похожим на запах лекарств. Его можно поймать, этот дух раннего лета. Его можно закрыть в бутылку с сахаром и цедрой лимона. Через двадцать четыре часа эта смесь начинает пениться. И превращается в эссенцию.

Я люблю эту алхимию, эту определенность. Ингредиенты подчиняются правилам, которые хорошо известны и понятны. При определенных условиях все это ведет себя определенным образом. Но у моей любви есть границы. Я должна провести черту на песке.

Я расталкиваю Тобиаса.

— Тобиас, ты прав.

— Ш-шо?

— Я все решила. Я не собираюсь проходить через то, через что проходит та, другая семья. Я не могу. Я просто не могу.

— Правильно, — говорит Тобиас. — В этом я с тобой. На сто процентов. Значит, ты больше не поедешь в больницу?

— Ну, этого я как раз не говорила. Собственно, я даже не очень уверена, *что* именно хочу сказать.

— Мне кажется, что ты разрываешься в двух противоположных направлениях, — говорит он. — Полученная тобой возможность быть матерью тянет тебя к Фрейе, а инстинкт самосохранения отталкивает тебя от нее.

— Возможно, ты и прав, — говорю я. — И они... эти направления... они взаимоисключающие. Они просто как бы смяли меня. Я не могу думать, не могу даже что-то чувствовать. Могу только мучиться от навязчивой идеи взять все под свой контроль.

Мы некоторое время целуемся, потом я со вздохом отстраняюсь.



— Давай лучше пойдем вниз и позаботимся о завтраке для народных масс.

На кухне я распахиваю холодильник. Вместо желанного дыхания холода в лицо мне ударяет поток теплого вязкого воздуха.

— Глазам своим не верю, — говорю я, — холодильник поломался. Он же новехонький!

— О, наверное, просто вилка выскочила из розетки, — говорит Тобиас.

Вместе мы отодвигаем его от стены. Позади него мы находим труп жирной крысы с зажатым в зубах электрокабелем, который ее и убил.

\* \* \*

Сегодня утром Тобиас разрешает мне взять «Астру», чтобы съездить в Монпелье. Он провожает меня и целует на прощанье. Но ехать со мной не хочет, как я его об этом ни просила. На шоссе я чувствую знакомое ощущение где-то в животе — опустошенность и злость. Сама себе я представляюсь эдаким «Ё-ё». Сколько бы я ни скакала вверх-вниз, все мои усилия сохранить семью не имеют шанса на успех, если он не поддержит меня, чтобы моя нитка больше не раскручивалась.

Приехав в отделение, я вижу, что нянечки уже катают Фрейю в коляске.

Но мне она кажется странной. Куда подевался мой очаровательный хрупкий эльф? Что это за толстощекий рыжий ребенок с пороссячими глазками? Стероиды сделали свое дело. Я беру ее на руки. Она пахнет больницей. Я понимаю, почему животные бросают своих детенышей, если люди слишком долго держат их у себя. Она даже *по ощущениям* совсем другая: более тяжелая, более жесткая, с новой привычкой выгибать дугой шею назад. Мне хочется забрать ее домой, искупать, прижать к себе, хочется снова сделать ее своей. Но какая-то моя часть хочет уехать прямо сейчас, пока я еще могу это сделать. Чтобы больше никогда сюда не возвращаться.



К Сами пришли гости. Пожилая женщина — вероятно, его бабушка — и маленькая девочка лет четырех или пяти.

— Это мать моего мужа, — говорит Найла, — и с ней моя младшая дочка, Амина.

Пожилая женщина заговаривает со мной без приветствия и каких-то предисловий, как будто она знает меня уже сто лет:

— Опять больница, а погода такая жаркая. И все же это пройдет. Это пройдет...

\* \* \*

Когда я приплетаюсь наконец домой, то застаю в гостиной Тобиаса и Лизи, которые склонились над его компьютером.

— Я обучаю Лизи искусству поиска в интернете, — говорит Тобиас. — Я думаю, что компьютерная грамотность изменит ее жизнь.

— Я открыла для себя новую замечательную систему предсказаний, — говорит Лизи. — Инки выложили ее в интернет бесплатно. Анна, вы помните дату и точное, до минут, время рождения Фрейи? Я составляю ее гороскоп.

— Лизи, — говорю я, — как-нибудь в другой раз. Я ужасно устала. И к тому же, разве это не инки вырывали людям сердца заживо?

— О, да брось ты, Анна, это всего лишь будет забавно, — говорит Тобиас.

А Лизи взволнованно смотрит на меня широко открытыми глазами. Я раздраженно думаю, почему она еще здесь? Я должна убедить Тобиаса, что нам нужно избавиться от нее, и немедленно. Но сейчас я слишком утомлена, чтобы вступать в пререкания, которые это решение неминуемо повлечет за собой.

— Подумайте, будет достаточно даже просто даты, — говорит Лизи. Ее пальцы летают по клавиатуре, после чего она лихорадочно что-то пишет у себя в блокноте. Внезапно она восклицает: — Но это же все объясняет!

— Отлично, — говорю я.

Мой сарказм Лизи несколько не смущает.



— Фрейя не *делает*, она *есть*, — с триумфом в голосе говорит она. — Она влияет на жизнь людей вокруг нее. Она приносит с собой перемены.

— Лизи! — взрываюсь я. — Не смейте никогда нести всю эту чушь о моем ребенке!

Но Лизи, похоже, не слышит меня. С рассыпавшимися по плечам длинными черными волосами она сейчас похожа на какую-то шаманку из Южной Америки.

— Она пришла на землю, чтобы пробуждать чувства, особенно чувство любви, — говорит она. — Вот для чего она здесь. Чтобы притягивать к себе людей и открывать для них любовь.

\* \* \*

Сегодня Фрейю должны выписать.

Возможно, стероиды и сделали ее похожей на маленького борца сумо, но зато они по крайней мере позволили взять под контроль ее приступы. Они также вызвали у нее появление свирепого аппетита. Ее новые пухлые щечки розовые, как розочки. Она выглядит крепкой.

Я одеваю ее в наряд, который пошила моя мама: синее с белым хлопчатобумажное платьице с оборками на груди. В нем она выглядит очаровательно. Но, что еще лучше, она выглядит, как все остальные дети. В такой ситуации легко позволить надежде вновь закрасться в сердце.

Тобиас по-прежнему хочет оставить ее в больнице. Но я чувствую, что он сдастся. Несмотря на все его тирады, в душе он человек мягкосердечный. Он неохотно, но все же согласился поехать и встретиться с нашим консультантом.

Сначала мы слушаем бесконечные инструкции по лекарствам. Фрейя должна принимать их в обескураживающе огромных количествах: три противосудорожных средства разного типа, два препарата для защиты ее желудка от побочного действия медикаментов против эпилепсии и плюс ко всему целая батарея всевозможных витаминов и минералов. Необходимо дважды в день проверять ее мочу и кровяное

давление. Сеансы психотерапии три раза в неделю. Мы получили назначение к целой армии медиков и работников социальных служб, не говоря уже о направлениях к десятку других специалистов.

Она набрала больничных счетов на тридцать тысяч евро.

К счастью, согласно взаимному соглашению между всеми странами Евросоюза, мы со временем сможем потребовать возместить нам расходы на ее медицинское обслуживание. Но, к сожалению, мы еще не имеем права на действующие во Франции льготы по уходу за ребенком или инвалидом. В моем состоянии хронического недосыпания сама мысль о том, что по поводу программы ухода за Фрейей придется иметь дело с бюрократией Великобритании и Франции, кажется мне невообразимо пугающей.

— Во Франции, — говорит Тобиас, — можно не иметь мозга, и все будет о'кей, но если у тебя нет *carte d'identité*<sup>1</sup>, ты влип.

Из лучших побуждений доктор Дюпон начинает читать нам лекцию, чем еще больше усугубляет дело.

— Вы оба должны упорно трудиться, чтобы помочь Фрейе развить свой потенциал, — говорит она.

— А почему, собственно? — спрашивает Тобиас.

Она не улавливает опасную нотку в его интонации.

— Но это же естественно, что вы должны хотеть этого. Вы любите ее, потому что вы ее родители.

— На самом деле, — говорит Тобиас, — мы серьезно думаем над тем, чтобы отдать ее в приют. И не стоит нам рассказывать, нужно ли нам любить свою дочь и в каких количествах.

Доктор Дюпон выглядит ошарашенной и сразу меняет тон:

— Разумеется, это тяжело. Такие вещи могут разбить семью. И очень важно, что вы остаетесь вместе и что вы любите друг друга.

— А что будет, если мы не заберем ее домой? — смело спрашивает Тобиас.

---

<sup>1</sup> Удостоверение личности (*фр.*).



— Мы будем вынуждены обратиться в социальную службу. Но, знаете, во Франции большое внимание уделяется помощи семьям с детьми-инвалидами. И всегда есть возможность поместить ее в специальное учреждение, *un établissement*, через четыре-пять лет.

— Мы бы хотели знать, чего нам ожидать по медицинской части в течение ближайших месяцев, — говорит Тобиас. — Чтобы у нас была информация для принятия решения относительно ее будущего.

— Что ж, у Фрейи сейчас очень деликатный период. Это сложное для нее время, потому что в возрасте от четырех до восьми месяцев мозг формируется. Поскольку структура глубинной части ее мозга имеет сильные отклонения от нормы, весьма вероятно, что это отразится на данном процессе. Возможно, нам никогда не удастся полностью устранить ее припадки. Все, что мы можем сделать, — это попробовать управлять ими с помощью лекарств. И вы тоже должны внести свою лепту. Это довольно сложный режим, но он имеет для нее жизненно важное значение. Вы должны придерживаться графика и никогда не забывать давать ей лекарства — отклонение от этого может спровоцировать сильный приступ, который, в свою очередь, может привести к тому, что она потеряет и те способности, которые уже в себе выработала.

— Какие это способности? — спрашиваю я.

— Она может потерять способность сосать или независимо дышать.

Я чувствую, как у меня тоскливо заныло под ложечкой.

— Можно, мы на секунду прервемся? — спрашивает Тобиас.

Когда мы выходим из комнаты, я понимаю, что он плачет. Все его напускное безразличие просто является способом скрыть тот факт, что он в ужасе.

Я обнимаю его, чувствуя, как его плечи содрогаются у меня под рукой, и стараюсь успокоить.

— Она такая славная, — всхлипывает он. — И такая дефективная.



— Видела бы тебя сейчас наш консультант, — говорю я. — Она думает, что ты просто ужасный. Ты был таким... откровенным. Люди могут думать так, но они обычно об этом не говорят.

— Да пошла она, эта консультант. Пошли все они, — говорит он. — По мне, так лучше пусть меня считают полным ничтожеством, чем жалеют меня. Послушай, я уже высказал все невысказываемое. Самое тяжелое я уже сделал. Это может быть наш последний шанс выбраться из всего этого, пока еще не поздно.

— Этого не будет, — говорю я. — Именно это я имела в виду, когда говорила, что не собираюсь проходить через все это дерьмо, как семья Сами. Мы заключим соглашение: проведем черту на песке. Чтобы мы с тобой оба точно знали, насколько далеко готовы зайти.

— Ну и насколько? Просто, чтобы я знал.

— Как тебе такой вариант: кормление через трубку. И вентиляция легких. Первый признак одного из таких исходов — и мы вручаем ее прямиком в руки социальных служб. Идет?

— Ты думаешь, что сможешь это сделать? Потому что ты сама знаешь, что к этому придет. Доктору легко говорить. Сможешь ты взять ее домой, зная, что это ненадолго? Ты думаешь, что сможешь... быть достаточно жесткой, когда придет такой момент?

— Поверь мне, я буду достаточно жесткой. Я должна быть.

И я на самом деле так думаю. Я никогда больше не должна проходить через это снова. Я не могу себе позволить любить Фрейю без всяких условий. Я должна где-то сдерживать себя.



Я решила спрятать хорошую одежду Фрейи. В основном это подарки от друзей и родственников, сделанные до того, как они узнали о том, что она списана со счетов. Плюс несколько сверхщедрых от людей, уже узнавших эту новость.

Лично мне особенно нравится следующее: шерстяное впитывающее одеяло, которое я купила, когда была беременна, синее с белым платице со сделанными вручную оборками, которое пошила для нее моя мама, рубашечки из индийского батика от Марты. Это также украшенные вышивкой хлопчатобумажные носочки и трусики с ажурным кружевом. И еще льняное постельное детское белье с инициалами. Что толку от всего этого семимесячному младенцу, который даже не может держать головку? Возможно, я когда-нибудь смогу использовать все это для другого ребенка...

В последнее время я все чаще и чаще позволяю себе погружаться в блаженные грезы наяву.

...Я снова беременна. Нет никакой тошноты, недомоганий и дискомфорта, какие были у меня с Фрейей. На этот раз у меня близнецы: один запасной — на случай, если демоны продолжают преследовать нас. Я наконец научилась отчужденности — возможно, именно для этого и появилась Фрейя. Дети рождаются без всяких трудностей, и, когда они появляются на свет, Тобиас радостно плачет, как будто это в первый раз, и мы снова переживаем волшебный миг, только на этот раз за ним по пятам не следует кошмар.

Это безумная фантазия, но я должна верить, что такое когда-нибудь случится. Я надеюсь, что у меня с моими двойняш-



ками будет много забот и не останется времени на то, чтобы переживать, когда у меня заберут Фрейю. Когда ее поместят в детское учреждение, я буду руками стирать вышитые платица для деток, которые могут ходить и разговаривать, а не агонизировать по поводу того, что она лежит где-то одна, купаясь в собственной блевотине.

Я смотрю на Тобиаса, который по-прежнему спит на кровати. Фрейя лежит рядом с ним, и головы их указывают одно направление. Оба они забросили одну руку вверх. Они похрапывают. Они похожи как две капли воды. Такие умиротворенные, такие красивые. Оба. И прежде чем я успеваю опомниться, любовь снова подкрадывается ко мне и, вонзив свой нож, проворачивает его в ране.

Я стягиваю стопку детских вещей с полки и быстро просматриваю их. Я сую обратно все, что можно легко постирать в машине: комбинезончики из махровой ткани, акриловые кофточка, хлопчатобумажные рубашечки. Все, что из чистой шерсти, с оборками, вышивкой или нецветное тут же идет в сверхкрепкий, наглухо закрывающийся пластиковый пакет. Я кладу его повыше, на верхнюю полку — пусть подождет того дня, когда моя жизнь снова войдет в колею.

\* \* \*

Лизи переполняет странная энергия.

— Грядет новая эра! — постоянно говорит нам она. — Время изобилия!

В каком-то смысле я с ней согласна. Внизу, в долине у реки, процветают огородные участки: со стеблей свисают темно-красные помидоры, артишоки тянут вверх свои огромные головки, а стройные грядки пестреют огненно-красной фасолью, цукини, перцем и баклажанами.

Колбасы Ивонн висят на мясницком крюке в кладовой для дичи в восхитительном изобилии.

— Вау! — восклицаю я, когда мне позволено туда заглянуть. — Только они еще немного сыроваты.



— Это часть процесса, — объясняет она. — Лишняя вода должна стечь. Останется только чистое мясо. Влажность способствует росту диких дрожжей. Скоро они покроются белой плесенью.

— Замечательно!

— Это все равно что делать хорошее вино или сыр. Их нужно оставлять на воздухе в прохладном месте для выдержки — все небыстро и с любовью.

— А что вы здесь готовите? — спрашиваю я.

— Фрикандо, — говорит Ивонн. — Оно делается из нескольких кусков постной и нескольких кусков жирной свинины. А также, конечно, из *abats* ливера. Оно должно готовиться медленно в *crépine de porc* — в жиру, который окружает желудок свиньи. Очень вкусно! Ох, Анна, может быть, если я выиграю этот конкурс, я смогу иметь такую же *laboratoire*, как эта!

— Вы вполне можете пользоваться этой, Ивонн. Вы могли бы давать уроки моим ученикам. Трудно придумать лучшую рекламу для моей кулинарной школы, чем наличие своей собственной *charcutière*.

— Особенно, если я получу *médaille d'or*<sup>1</sup>, — мечтательно говорит Ивонн. — Наверное, мне следует посвятить свою жизнь собственной *charcutière*, а не замужеству. Потому что Жульен меня не любит.

— О, Ивонн, что вы, он любит вас.

— Если бы любил, он бы выучился какому-то серьезному делу. Стал бы мясником, например. Женился бы на мне. Он говорит, что не верит в женитьбу. — Взгляд ее падает на Фрейю, которая висит в перевязи у меня на груди. — Я боюсь, что могу упустить свой шанс, — говорит она. — Шанс стать *tatain*<sup>2</sup>.

— Вы же знаете, как Жульен любит всякие пирушки, — говорю я. — Возможно, если вы согласитесь сыграть неофициальную свадьбу там, у него на поляне, он на это пойдет.

---

<sup>1</sup> Золотая медаль (фр.).

<sup>2</sup> Матерью (фр.).

— Я не буду его сожительницей, — говорит Ивонн. — И не стану позориться перед всей долиной.

— Может быть, он пойдет и на официальную свадьбу, если вы согласитесь провести ее в домике на дереве.

Но Ивонн, обычно такая стоворчивая, в этом вопросе совершенно непреклонна:

— Я всегда хотела венчаться в церкви. В белом подвенечном платье. Папа купил бы мне такое.

Единственный проблеск надежды видится мне в том, что Жульен назначен хранителем *saucissons* — колбас. Ему единственному разрешено заглядывать в эту святая святых, он один может наблюдать за секретными процессами и ему единственному доверен ключ от этих дверей, который он, как я заметила, носит на цепочке на шее как какой-то знак принадлежности к клану жрецов.

Как я подозреваю, Ивонн еще не окончательно потеряла надежду, что в один прекрасный день его удастся уговорить стать учеником мясника.

\* \* \*

Сегодня утром солнце заливает нашу спальню своим светом с полседьмого. Как только луч касается Фрейи, она издает свое «уа-а-а!» и бьет меня кулачком. Рука мокрая в том месте, где она ее сосала. Она бьет меня по лицу и соскальзывает вниз по носу к губам, оставляя теплый липкий след.

Я поднимаю веки и смотрю ей в глаза. Они уже не голубовато-серые, как шифер. Один из них светло-коричневый, как у меня, а другой, со зрачком, напоминающим мазок краски, голубой, как у Тобиаса. Я лежу, смотрю на нее и думаю, как это интересно и необычно иметь ребенка, у которого глаза разного цвета.

Просыпается Тобиас и, наклонившись над ней, невольно улыбается.

Фрейя — мгновенно и абсолютно определенно — улыбается ему в ответ.

— Вау! — вырывается у Тобиаса.



Я никогда раньше не видела, чтобы он так смотрел на нее: сосредоточенно и восторженно, как будто наблюдая за рождением новой планеты.

И я думаю: это случилось, это все-таки наконец случилось... Он сражен. Та волшебная химия, которой обладают маленькие детки, чтобы пленять своих отцов, равно как и своих матерей, наконец-то вступила в действие.

— Это ее первая улыбка, — говорит Тобиас. — И она адресована мне, ее папе.

Время течет мимо. Мир сжимается, и в нем остаемся только мы троим. Наша кровать укачивает нас мягко и неутомимо, как на морских волнах. Мы с Тобиасом — преданные рабы Фрейи. Она переводит взгляд с одного на другого и дарит нам свою перекошенную улыбку. Она лежит между нами и полегучаючи лягает нас своими ножками, обоих одновременно. Она смотрит на свою вытянутую руку и, максимально сконцентрировавшись, умудряется поднести ее к своему лицу. После пары неудачных попыток ей удается сунуть в рот сустав своего пальца. Она ликует, словно ищет признания такого умного своего поступка.

— У нее режется зуб, — говорит Тобиас. — Посмотри — спереди внизу. Такой крошечный. Правда, замечательный?

Мы вдвоем воркуем над ее зубом, разумеется, как обычная семья, гордимся ее прогрессом — восторгаемся нормальными вещами.

— Это нужно отметить, — говорю я. — Я принесу нам кофе в постель.

Я спускаюсь на кухню, накрываю поднос матерчатой салфеткой, ставлю на него розу в вазочке из граненого стекла и лучший кофейный сервиз. Я ставлю детскую бутылочку на водяную баню и несу все это вместе наверх.

— Давай, — говорю я, протягивая Тобиасу кофе. — Это, может быть, для нас и праздничный день, но нам многое нужно сделать.

Он ставит свой кофе на прикроватную тумбочку, переносит Фрейю на лежащую на полу овечью шкуру, затем отбира-



ет у меня мою чашку и тянет меня на кровать рядом с собой. Его объятия наполовину страстные, наполовину игривые. Я смеюсь от счастья и думаю: все это было несерьезно. Просто потребовалось какое-то время, чтобы мы освоились и встали на ноги. И все будет хорошо.

Разные люди, в особенности женщины, всегда говорят мне, насколько привлекателен Тобиас, какие у него широкие плечи, какие голубые глаза, какие у него густые темные волосы, но я люблю его за другие вещи. Даже когда он серьезный, в уголках глаз у него собираются веселые морщинки, отчего кажется, что он в любой момент готов разразиться смехом. На подбородке у него есть небольшая ямочка, которая сводит его с ума, когда он бреется. Он понятия не имеет, что он — красивый мужчина.

Он строит мне рожицу, полную самоуничижения, и я отвечаю ему гримасой. Мы оба ведем себя застенчиво, как незнакомцы: осторожно кружим вокруг да около, тянемся друг к другу, как будто долго были в разлуке и преодолели громадное расстояние, чтобы опять быть вместе.

После этого мы лежим в объятиях друг друга, выплывая и вновь погружаясь в сладостный полусон. Мы чувствуем, как утро сменяется днем, и в нашей комнате становится жарко.

Из гостиной доносится монотонное песнопение.

— Лизи, — говорю я. — Слушай, я уже на самом деле сыта ею по самое горло.

Тобиас взирает на меня с невинным видом, как будто это для него большая новость.

— Не иметь из-за нее личного пространства, — продолжаю давить я. — Платить ей, даже если это всего лишь гроши. Полностью обеспечивать ее едой и жильем. Не говоря уже о том, чтобы таскать ее за собой на всякие общественные мероприятия, где она с ума сходит — так ей это нравится. За это помощница-иностранка должна бы, по идее, работать пять часов в день. Тобиас, прошу тебя, мы действительно должны ее уволить.



— Уф-ф-ф, — внезапно раздраженно говорит Тобиас. — Проклятая жарница! От нее кто угодно свихнуться может.

Он вскакивает и начинает рыться в гардеробе.

Продолжая лежать на спине, я закрываю глаза.

— Ладно, прости. Сейчас абсолютно неудачный момент, чтобы поднимать этот вопрос. А можно мне как-нибудь вернуть обратно моего сексуального Тобиаса?

Но момент уже упущен.

— Мое музыкальное оборудование плохо переносит такую жару, — говорит он, все еще копаясь в шкафу. — Хотя, честно говоря, финансирование «Мадам Бовари» снова застыло, и в данный момент заказов на документальное кино тоже нет. Так что я также могу сделать перерыв. Пойду посижу у реки. Если хочешь, возьму с собой Фрейю.

— Не стоит. Думаю, для нее на улице сегодня жарковато.

— На свежем воздухе все равно лучше, чем здесь, в этой печке.

— У реки много комаров. Я оставлю ее с собой.

— Тебе виднее.

От жары Тобиас всегда делается сварливым. Он с шумом выходит из дома, а я остаюсь, удивляясь, какого черта я вообще захотела переехать в теплую страну.

В спальне душно. Фрейя лежит, уставившись в белый потолок, и издает гнусавые протестующие звуки. Я пытаюсь протереть ее губкой; ее сердитое покрасневшее лицо представляет собой зеркальное отражение лица Тобиаса. Я иду к платяному шкафу, чтобы взять ей комбинезончик полегче, и, взглянув на полку, застываю на месте.

Вся лучшая одежда Фрейи аккуратными стопочками уложена обратно. Тобиас. Должно быть, это все он. От моего герметично закрывающегося пластикового пакета не осталось и следа.

\* \* \*

С тех пор как Фрейю выписали из больницы, все мои дни заполнены встречами. Нас рвется увидеть целая армия работ-

ников здравоохранения и социальной сферы, которые просто в ужасе оттого, что Фрейе так долго удавалось ускользывать от их радаров.

Сначала меня переполняло чувство облегчения. Как я не понимала, что здесь имеется сетка безопасности, предназначенная как раз для таких случаев, как у нас? Но постепенно я чувствую, что измождена и отупела от этого сурового испытания — необходимости снова и снова пересказывать длинную и жуткую историю моей Фрейи.

Тобиасу практически всегда удается сбегать с таких встреч.

— Твой французский намного лучше, чем у меня, — говорит он, выскакивая из комнаты якобы работать над своей музыкой. — К тому же ты всегда рыдаешь, и в результате это оказывается *гораздо* более действенным.

Насчет слез он прав, только это не помогает. Стоит мне начать рассказывать историю рождения Фрейи, как меня одолевают мучительные срывающиеся рыдания — как раз тогда, когда я хочу показать, какая я уравновешенная и здравомыслящая. Чиновники с пониманием смотрят на меня, строчат какие-то записи в объемных папках с историей нашей болезни и раздают обнадеживающие обещания помощи по дому и в уходе за ребенком.

Но для начала каждый такой чиновник делает свой вклад в обескураживающий пакет документов на французском языке, которые я понятия не имею, как заполнять, и которые должны рассматриваться минимум шесть месяцев соответствующими инстанциями двух стран. Эта раскачивающаяся гора разных бумаг уже занимает половину стола в гостиной, затмевая собой даже внушительную кипу документации, которая требуется для открытия кулинарной школы местной кухни.

А пока эти бумаги будут рассмотрены, те же самые люди, которые только что говорили, что наш случай для них первоочередной, говорят мне: *Mais vous n'avez pas le droit...* И с этими словами они удаляются.



«Однако вы не имеете права...» Эта фраза, наряду с *mal fait*, стала для нас самой пугающей фразой на французском языке.

Мы с Тобиасом оба от беспокойства просыпаемся затемно.

— Я слышу, как крысы грызут балки, — шепчу я.

— А чего ты шепотом? — спрашивает Тобиас. Тоже шепотом.

— Тс-с-с! Слышишь их? Такой ритмичный чавкающий звук. Боюсь, как бы из-за них не обвалилась крыша.

— Не знаю, что с этим можно сделать.

Я вздыхаю.

— Я знаю. Просто... — Я замолкаю.

— Что «просто»?

— Я знаю, неправильно ждать от тебя, чтобы ты мог сам делать такие вещи. Но это же вроде как... в общем, мужская работа. По крайней мере, все вокруг считают именно так.

— О боже, опять! Никак не уймешься, ничто не может заставить тебя перестать переживать по поводу этих крыс в перекрытиях.

— Я б и хотела, только не знаю как. Как бы там ни было, но я считаю, что уже и так выполняю предостаточно тяжелой работы. Сейчас пять часов, а через два часа мне вставать, чтобы готовить Фрейе ее утреннюю порцию лекарств. Тогда попытайся записать ее на прием к офтальмологу — я не могу пробиться через больничный коммутатор. Не говоря о том, что меня ждет еще один гнетущий день со всеми этими встречами и безуспешными попытками разобраться с ее бумагами. Может, мы будем как-то делить между собой эти обязанности?

— Опять ты на меня наезжаешь! Ты как учительница начальных классов: вместо «Черт, сделай же что-то!» начинаешь: «Давай установим правило...» Все, меня уже тошнит от этого!

— Ей нужно попасть на дополнительные приемы к специалистам по всем вопросам — от диеты до генетической струк-



туры. Большинство из них находится в Монпелье — это, кстати, почти два часа езды. И туда всегда езжу только я.

— А теперь подумай: какое все это имеет отношение к крысам?

— Не говоря уже о том, что я за день смешиваю пять разных комбинаций лекарств. Регулирую дозировку. Два раза в день меряю ей давление, если наступает абреакция<sup>1</sup>. Проверяю ее мочу. Это огромная ответственность.

— Ну почему все эти дискуссии обязательно происходят среди ночи?

— Тобиас, мне нужно, чтобы ты меня понял правильно. Каждый день я чувствую себя так, будто... иду по натянутому канату. Я постоянно балансирую с Фрейей и ее лекарствами. Чуть больше доза — откажет ее печень и еще бог знает какие органы; доза недостаточная — начнутся конвульсии. Невероятно шаткое равновесие. Но оно работает, стабилизировало ее приступы. Именно это позволяет ей сейчас проявлять свою личность. Именно поэтому она начала нам улыбаться. Так что я должна продолжать. Если же мы промахнемся... Неужели ты не видишь, что я нахожусь в постоянном ужасе, оттого что могу ошибиться?

Тобиас смягчается.

— О'кей, какая из этих обязанностей пугает тебя больше всего?

— Ну, думаю, вся эта бумажная волокита в попытке заставить национальную систему здравоохранения возместить нам французские медицинские счета. В данный момент мы ежемесячно тратим две сотни фунтов на лекарства. Не говоря уже о том, что мы задолжали больнице. Я так переживаю из-за денег! Все время.

— Дай мне еще немного поспать, и я помогу тебе с этим сегодня утром. Обещаю.

Я смотрю на него подозрительно.

— Правда? Точно поможешь?

---

<sup>1</sup> Здесь: разрядка, снятие эмоционального напряжения. (Примеч. ред.)



— Честное слово скаута.

— Когда конкретно? В какое время?

— Анна, тебе обязательно нужно поймать меня на слове.

Ну, скажем, в девять.

— О, Тобиас, у меня прямо гора с плеч!

Мы обнимаемся, и я думаю о любви между нами. Мне нужно за нее держаться.

\* \* \*

Я то проваливаюсь в дремоту, то просыпаюсь. Светает. В семь я в полусне даю Фрейе лекарства и укладываю ее к себе в постель, чтобы еще хоть немного поспать. Она уютно устраивается у меня под мышкой, выталкивая на самый край кровати.

Кажется, прошло всего несколько минут, а уже девять часов. Тобиаса рядом нет. Я вскакиваю и несусь вниз. В гостиной сидит Лизи и барабанит пальцами по клавиатуре ноутбука Тобиаса.

— Лизи, что ты делаешь? — спрашиваю я.

— Составляю для вас обоих гороскопы инков.

— Но мы ведь не верим во все эти вещи, верно, Тобиас?

— Так это Тобиас попросил меня составить их, — с невинным видом говорит Лизи. — Разве не так, Тобиас?

Тобиаса хватает на то, чтобы, по крайней мере, смутиться.

— Это совершенно безобидно, — мямлит он, хотя я точно знаю, что он считает эту идею Лизи идиотской. Я замечаю, что перед ней лежит листок бумаги, на котором рукой Тобиаса написаны наши с ним даты рождения.

— Тобиас — белый змей, он имеет дело с вещами физическими. Вы, Анна, — красная собака, ваша жизнь состоит в том, чтобы найти баланс между сердцем и головой.

— Лизи...

— Ваша неожиданная сила, — продолжает Лизи, — приходит через игру.

— Я по уши сыта всей этой ересью!

— Ваши взаимоотношения — это золотой орел.

— Никогда не говори о наших взаимоотношениях!



— Но золотой орел — это важно. Он означает, что вместе с Тобиасом вы можете видеть все в правильном свете.

— Тобиас, может, хочешь чашку кофе, прежде чем мы начнем разбираться с французскими бумагами?

— О да, пожалуйста.

Но еще до того как успевает закипеть вода в чайнике, Лизи говорит:

— Так вы не передумали насчет той прогулки сегодня?

И Тобиас отвечает:

— Конечно, не передумал.

— Он не может пойти: сегодня утром у нас много бумажной работы.

— Но мы должны пойти, потому что сегодня — день голубой галактической вспышки. В этот день нужно высвободить энергию и возвращать ее в космос.

— Почему бы тебе тоже не пойти с нами? — говорит Тобиас.

— Я не могу, нужно заниматься этими бумагами. Ты обещал мне помочь...

— Но сегодня ведь день галактической активности, Анна, — говорит Тобиас. — Ты же сама слышала.

Я чувствую, как меня охватывает злость. «Ну давай, — мрачно думаю я, — сделай все еще хуже, потому что тогда я смогу почувствовать свою ярость и беспомощность, к которым уже привыкла».

— Ладно, — ворчу я. — Я останусь дома и сделаю это сама. Как обычно.

— И помните, Анна, — бросает Лизи, прежде чем уйти, — делайте все это в стиле игры.

\* \* \*

Нет никаких сомнений, что Фрейя становится папиной дочкой. Тобиасу она дарит свои самые широкие и лучистые улыбки и с восхищением смотрит ему в глаза. А он в трансе смотрит на нее.

Сегодня утром она устала на нашу полосатую подушку.



— Тебе очень нравится, верно? — говорит Тобиас. — Ты думала, что тебе долго придется дожидаться, пока мы встанем.

Фрейя протягивает руку — причем открытую ладонь, а не кулак — и осторожно прикасается к подушке.

— Это твое самое любимое время дня, так? — слышу я слова Тобиаса, уходя делать кофе. — Твой папа и твоя полосатая подушка... Просто праздник!

Я останавливаюсь в дверях спальни и слежу за ними. Тобиас кладет себе на голову подушку и начинает из-под нее корчить Фрейе гримасы, пытаясь заставить ее улыбнуться. И сразу прекращает, когда видит, что я за ними наблюдаю.

\* \* \*

Дикая лаванда уже завяла, ее цветы скрылись при первом проявлении летней жары. Но она упрямая и полностью не исчезла: невозможно пройти по склону холма без того, чтобы на одежде и руках не осталось следов ее ароматического масла.

Теперь настала очередь цвести культурной лаванде. Над горшками с этими цветами, которые я выставила вдоль крытого мостика, служащего балконом рядом с нашей спальней, довольно жужжат пчелы. Когда мы впервые осматривали Ле Ражон, это было единственным местом, от которого не исходила угроза. Я рассматривала его как место личного уединения и поставила тут два стула в надежде, что мы с Тобиасом будем сидеть здесь по вечерам.

Но Тобиас превратил это в свой летний штаб, и оба стула ему нужны для занятий с Лизи по пользованию интернетом. Судя по их смеху, занятия эти весьма занимательные.

— Тебе следовало бы приглядывать за своим мужем, — говорит мне мама. — Все мужчины — дураки. А эта девочка-хиппи — та еще штучка, это каждому видно.

— Тобиас всегда был немного склонен пофлиртовать, — говорю я, — но я полностью ему доверяю.

Мы сидим с ней в прохладе нашей гостиной. Мама шьет, а я пытаюсь покормить Фрейю. С балкона раздается особен-



но продолжительный взрыв смеха, за которым следует звук глухих ударов.

Моя мама вскакивает на ноги и хватается за метлу.

— Поднимусь наверх с облавой, — говорит она.

Еще секунды три я молча борюсь с собой, после чего оставляю Фрейю на ее шатком детском стульчике и несусь наверх вслед за ней.

Тобиас и Лизи стоят на четвереньках, уставившись на балконную дверь.

— Нашествие гигантских муравьев! — возбужденно восклицает Тобиас. — Вы только гляньте на вот этого! Он длинной, должно быть, с целый дюйм!

Армия громадных муравьев цепочкой марширует от балкона к нашей спальне. Моя мама достает из кармана своего передника банку инсектицидного спрея.

— Когда я молюсь, — говорит она, — и обещаю быть доброй ко всем живым созданиям, муравьев я сюда не включаю. Я скажу так: «К *почти* всем живым созданиям». — Она несколько раз энергично пшикает на них. — Впрочем, от ос я тоже не слишком в восторге.

Тобиас печально смотрит на корчащихся в предсмертных судорогах муравьев.

— Я даю Лизи урок по компьютерным делам, — говорит Тобиас. — Думаю, что пора сделать перерыв. Бедное дитя не получило практически никакого образования.

Моя мама с вызовом упирается руками в бедра.

— Этому бедному дитяти, между прочим, платят деньги за то, чтобы она выполняла здесь кое-какую работу. Лизи, в саду поспели сливы — сходи, пожалуйста, и собери их прямо сейчас. Я собираюсь испечь пирог.

Тобиас уже открывает рот для протеста, но Лизи останавливает его.

— Хорошо, — живо говорит она. — Я проведу сливоуборочную медитацию.

Моя мама провожает ее вниз. Мы с Тобиасом остаемся на балконе одни. Я сажусь рядом с ним. Несколько минут никто



из нас не произносит ни слова. Мы молча следим, как пчелы наедаются нектаром из цветов лаванды.

Тишину нарушает Тобиас.

— Посмотри вот на эту, Анна, — говорит он. — Она похожа на колибри и так же неподвижно парит над цветком. Но это насекомое. Видишь, какой у нее хоботок. Может, ее нужно бы называть «пчелка-колибри»?

— Ты же не будешь крутить с ней роман? — говорю я. — Не влюбишься в нее? Потому что, если влюбишься, это разобьет мне сердце.

Я вижу, что он готов на что угодно, лишь бы отделаться от меня. Я сказала, не подумав, но теперь представляю себе, какой будет моя жизнь без Тобиаса. Невыносимой. Я пытаюсь соорудить гримасу, которая должна, по моим расчетам, быть ироничной и утонченной, но из этого ничего не выходит, и я с ужасом замечаю, что губы мои дрожат.

— Анна, что я могу тебе сказать? Знаешь, иногда просто приятно посидеть здесь и немного поржать, не задумываясь о том, все ли дела из твоего списка я выполнил или есть ли у нашего ребенка мозг.

— Это не моя вина, — возмущаюсь я, — что существуют вещи, которые необходимо делать. Дом валится в буквальном смысле.

— Об этом я и говорю, — взрывается он. — Я ведь не на твоей матери женился. То, что *она* живет здесь, похоже, на постоянной основе, само по себе уже достаточно плохо, а тут еще ты превращаешься в ее копию. Со всеми вытекающими последствиями. Рутинка, обязанности, тяжелая монотонная работа... Такое впечатление, что жизнь моя закончилась. Лизи — просто ребенок, и взгляды ее безумные, если не сказать больше. Но она *забавная*. Она полна энергии и энтузиазма. И это особенно важно именно в данный момент.

— Значит... она тебе нравится?

— Что за нелепость! — Я думаю, не слишком ли он поспешно ответил. Он смотрит прямо на меня, и в глазах его читает-



ся мольба. — А самой тебе никогда не хотелось просто почувствовать себя живой, чего бы это ни стоило?

— Тобиас, — говорю я, — ты во многих отношениях являешься полной моей противоположностью. Мне любую мелочь нужно добывать своим трудом — ты же наделен талантом без всяких усилий. Твоя музыка, даже если ты озвучиваешь какое-то вшивое документальное кино, очень красивая и трогательная. Но твое дарование заставляет тебя считать, что ты можешь лениться. Так вот: ты не можешь. Не здесь, по крайней мере. Тут масса усилий уходит только на то, чтобы поднять сюда воду. И никто не может позволить себе халяву.

Я ожидаю от него встречного выпада. Но он неожиданно предлагает полную капитуляцию.

— Я знаю, прости меня. По правде говоря, я тут все время прячусь. Я чувствую себя не в своей тарелке, как будто я какой-то неуместный здесь человек.

— С тобой все в порядке, — говорю я. — Возможно, это просто не то место.

Тобиас оглядывается на лаванду в горшках, на жужжащих пчел и качает головой:

— Нет, я люблю это место. И всегда любил, начиная с момента, когда впервые увидел. Но все еще хуже: я чувствую себя неправильным человеком в *правильном* месте. Крысы в перекрытиях, валяющийся дом... Я не умею делать ничего из того, что здесь нужно.

— У меня те же ощущения, — признаюсь я. — Беспомощность и бессилие. У нас не те навыки для этого окружения.

— В конце месяца уедет Керим, и тогда станет хуже, чем когда-либо. Мы будем жить тут одни с твоей матерью.

Я тянусь к нему со своего места и неуклюже, сбоку, обнимаю за плечи.

— Обещаю, что попрошу маму уехать. В ближайшее время, по крайней мере. Правда, попрошу.

— Все мужчины в округе могут построить дом, они возделывают поля, ухаживают за животными, — говорит Тобиас. —



А все, что могу делать я, — это писать музыку и устраивать шумные званые обеды.

— Я ничего из этого не променяла бы на твои голубые глаза и твой острый ум.

Пока мы вместе спускаемся вниз, я думаю, правда ли это на самом деле. Внизу нас дожидается Жульен.

— Хай, Тобиас, — говорит он.

— Привет, Жульен, — отвечает Тобиас.

Я вижу, что он весь напрягся. Рядом с жилистой фигурой Жульена он выглядит большим и неуклюжим.

— Я пришел напомнить насчет вашей питьевой воды, — говорит Жульен. — Сейчас на лето дожди прекратились. Вам нужно проверить вашу цистерну.

— Цистерну для воды? Да?

— Я могу помочь вам осмотреть ее, если хотите.

— Простите, я не могу прерваться. Я должен бежать и работать дальше над своей музыкой. Они еще раз все перекроили. Там жесткие сроки.

Мы с Жульеном смотрим на его удаляющуюся спину.

— Жульен, это действительно очень любезно с вашей стороны, — говорю я. — Я в вашем распоряжении, если вы покажете мне, что я должна делать.

Жульен улыбается своей загадочной улыбкой.

— Что ж, первое, что мы должны сделать, — это убедиться, что отсутствуют течи в самом баке и в водопроводе в доме. Из-за капающего крана можно потерять тысячу литров воды.

Он останавливается и серьезно смотрит на меня. Как это ни странно, я замечаю оттенок грусти в его глазах.

— Знаете, Анна, вполне возможно, что теперь хорошего дождя здесь не будет целый месяц, а то и два. В засушливый год — три месяца. Ваш бак вмещает десять тысяч литров. С этого момента вы должны дорожить каждой каплей воды. Никаких незакрученных кранов, никаких ванн, стирать только в реке, если это возможно. Вы уверены, что Тобиас осознаёт, насколько это серьезно?



— О да, я уверена, он все понимает. Просто... у него много работы. Кто-то же должен оплачивать счета.

— Итак, мы должны укрыть вашу цистерну. Если туда через щель будет пробиваться свет или она будет слишком нагреваться, вода испортится. Вам также нужно убедиться, что в воду не попали личинки комара. У вас есть фильтр?

— Э-э-э... нет. У Тобиаса руки так и не дошли до того, чтобы его заказать. Для себя и Фрейи я воду кипячу.

— С этого дня вам нужно кипятить ее не менее двадцати минут. И до тех пор, пока вам не установят фильтр, для мытья фруктов и зелени также используйте только кипяченую воду.

Целый день мы провели за тем, что делали именно то, что он говорил. И целый день я следила за тем, как его уверенные тонкие руки паяют наши трубы, герметизируют швы, чинят краны — словом, устраняют любые протекания воды.

Жульен мне ничего не говорит, но я чувствую, он не одобряет, что Тобиас не делает этого сам. Мне как женщине легче прижиться здесь. Я могу варить варенье и выращивать овощи. Но от Тобиаса ожидается, что он возьмет на себя громадный объем мужской работы. Неудивительно, что это пугает его.

Лизи вновь появляется из сада с жалкой горсточкой слив в руке.

— Это все, что там было? — спрашиваю я.

— На самом деле я думаю, что мы должны поделиться остальными сливами с червями и птицами, — говорит она.

— Лизи нужны еще друзья, — говорю я Жульену, когда она уходит. — Не могли бы вы познакомить ее с кем-нибудь из хиппи? Ну, с теми язычниками и им подобными, которые были на вашей пирушке? Она точно могла бы повалить с ними дурака.

— Хиппи здесь много и тяжело вкалывают, — сурово говорит Жульен. — Они возделывают землю, выращивают домашний скот, занимаются ремеслом, продавая свои изделия



туристам, воспитывают детей. А Лизи только несет всякую чушь и лазит по интернету.

Его слова — точная копия самоуничижительного описания Тобиасом самого себя. Возможно, именно это он видит и в ней. Они оба борются здесь, ищут место, к которому можно было бы приткнуться.

— Будьте внимательны, — перед уходом говорит Жульен. — Пока снова не начнутся дожди, вода здесь драгоценна. Поливайте свой огород. — Он смотрит вниз на Фрейю, которая сидит в своем шезлонге-качелях. — И помните: все, о чем вы не будете заботиться, умрет.

Я передвигаю ее креслице в самый прохладный угол гостиной, когда слышу узнаваемый стук Людовика в нашу дверь.

— Людовик, вы пришли поработать на своем огороде? Хотите кофе?

Лицо у Людовика убитое; его душат слезы. Он не заходит в гостиную, как обычно. Вместо этого он снимает свою охотничью шляпу и стоит на пороге, теребя ее в руках.

— Людовик? Что стряслось?

— Тереза. Она свалилась сегодня утром. Сейчас без сознания. Доктора говорят, что это аневризма.

Я не знаю, что сказать. В этой ситуации я на себе ощущаю тот дискомфорт, который испытывают люди, когда мы рассказываем им о Фрейе, — а в настоящее время мы так делаем с почти садистской жестокостью.

— Ох, Людовик. Могу я вам чем-нибудь помочь? Может быть, зайдете и посидите у нас немного?

Он стоит в дверях и выглядит совершенно потерянным. Наконец он качает головой.

— Я должен вернуться в больницу. Я просто хотел известить вас. В конце концов, вы мои соседи.

\* \* \*

Нам позвонила Ивонн и сообщила, что Тереза умерла вчера рано утром.

— Есть обычай, — сказала она, — прийти и отдать дань уважения телу перед похоронами. Я подумала, что мы могли бы пойти туда вместе. Я буду ждать вас перед бунгало Людовика через полчаса.

Я спускаюсь с холма с Фрейей в перевязи, и вместе с Ивонн мы проходим через забетонированный передний двор Людовика, через его дверь из ПВХ и оказываемся в оранжевом бунгало из шлакоблоков.

— Очаровательный дом, — шепчет мне Ивонн. — Знаете, он построил его полностью сам, здесь все *comme il faut*<sup>1</sup>.

Внутри дом Людовика такой же безупречный и стерильный, как и его огород. Нигде ни пылинки, все сияет. Диваны обтянуты прозрачной пленкой. На почетном месте в кухне стоит микроволновая печь, в гостиной доминирует огромный телевизор.

Мы находим Людовика, который, сгорбившись, сидит на самом краешке дивана. Несколько соседей уже собираются уходить, на прощанье из чистой формальности обнимая его и предлагая свою помощь. Не так уж плохо быть стариком в деревне. Люди здесь могут ссориться из-за пустяков, но когда речь идет о чем-то серьезном горе, они сплываются.

Тело Терезы при полном параде лежит в открытом гробу, обтянутом ярко-голубым сатином. Лицо ее сильно накрашено: в похоронном бюро попытались подправить природу, жирно подведя ей брови черным карандашом и густо нарумянив щеки. Она одета в юбку и жакет из розового полиэстера. Я понятия не имею, была ли у нее когда-нибудь возможность надеть этот наряд при жизни, полной тяжелой монотонной работы. Вероятно, он был куплен специально для такого случая.

Мне отчаянно хочется поскорее сбежать из этого стерильного окружения, но Людовик говорит:

— Присядьте на минуту.

---

<sup>1</sup> Как подобает (*фр.*).



Сказано это тоном, в котором чувствуется такая мольба, что мы с Ивонн безропотно неловко усаживаемся по обе стороны от него на затынутый пленкой диван. Его плечи начинают сотрясаться.

— *Pauvre*<sup>1</sup>, — шепчет Ивонн, обнимая его за плечи.

— Все ушли, — говорит Людовик. — Мой отец, Роза, мой сын. А теперь и Тереза. Я совсем один.

— Не говорите так! — говорит Ивонн. — Мы же здесь, ваши друзья тоже здесь.

— Мои друзья умерли! — взрывается Людовик. — Семнадцать моих друзей из отряда *маки* были застрелены в один день. Все мои ровесники. Мы должны были вместе с ними вырасти. Они должны были бы быть со мной здесь сегодня, чтобы разделить мое горе.

Он сует кулак в рот, словно так сможет физически остановить вырывающуюся наружу скорбь. Наступает долгое молчание. Я вслушиваюсь в равномерное тиканье пластмассовых часов на телевизоре и слежу за тем, как минутная стрелка движется по оранжевому циферблату, стараясь не обращать внимания на то, как рядом со мной содрогается тело Людовика, который старается сдержать слезы.

Он смотрит на Фрейю у меня на коленях.

— Тереза всегда хотела еще одного ребенка, — говорит он, и его руки с узловатыми пальцами делают инстинктивное движение в ее сторону.

Когда я предлагаю дочь ему, он берет ее на руки и начинает качать; похоже, это успокаивает его.

— Томас, — говорит он. — Мой Томас.

Я пытаюсь забрать Фрейю, но он удерживает ее, казалось, целую вечность, оплакивая своего покойного ребенка.

\* \* \*

— Думаю, что я нашел средство против ваших крыс, — говорит Жульен. — Но на это нужно какое-то время.

---

<sup>1</sup> Бедняга (*фр.*).



Мы находимся на чердаке и смотрим на те места, где крысы грызли балки перекрытия.

— Смотрите — здесь у них гнездо. Крысы не разрушают балки систематически. Они просто прокладывают себе путь внутрь.

— А что, если в результате крыша обрушится на Фрейю?

— Подайте мне эту штуку.

Я передаю ему металлическую арматурную проволоку, и он ловко обкручивает ею балку.

— Теперь будет безопасно. Арматура будет удерживать крышу, пока вы ее должным образом не почините. Но те скрежещающие звуки, которые вы слышали, в основном были не от крыс.

— Не от крыс? Слава тебе, Господи! А от кого же?

— От личинок древоточца. — Я шокирована, но он улыбается. — Не волнуйтесь: с такими толстыми стропилами им не справиться. Кого нужно опасаться, так это термитов. Вот они могут съесть всю внутренность дерева, не оставляя никаких следов снаружи, пока ваш дом не рухнет.

— Боже милостивый! Не хватало только еще об этом беспокоиться.

— Анна, вы и так беспокоитесь слишком много, — говорит Жульен. — Вам необходимо расслабиться.

Я убираю со лба влажную от пота прядь волос.

— Как бы мне хотелось, чтобы тут не было так жарко! Даже не верится, что это происходит здесь, в том же самом месте. Просто сил уже никаких.

Его прикосновение к моему обнаженному плечу прохладное и уверенное.

— А будет еще хуже, — говорит он. — Наступит вторая зима. Именно поэтому все растения растут весной так быстро — летом тут все умирает. Знаете, у Фрейды есть теория, согласно которой существует два конфликтующих начала, которые он назвал по имени греческих богов: Эрос и Танатос. Любовь и Смерть. Живя в этих краях, мне кажется, что мы проводим всю жизнь, переходя от одного к другому: в каждый отдельный



момент времени мы находимся на территории либо первого, либо второго. Весна — это определенно Эрос. А лето... Лето здесь — это Танатос.

— Жульен, как вы додумались до всего этого?

— У меня в распоряжении была уйма времени. Как бы там ни было, Анна, я хотел сказать вот что: сдается мне, что вы находитесь в шоке. Вся эта организаторская деятельность, борьба с мышами, заготовка ягод на всю оставшуюся жизнь — это от Танатоса. Вам необходимо вернуться на территорию жизни.

Я укладываю Фрейю в «Астру» и везу ее на дополнительный прием к невропатологу в Монпелье. Доктор Дюпон, как обычно, выглядит суровой и озабоченной.

Я говорю:

— Она набирает в весе.

Та качает головой и говорит:

— Это стероиды.

Я говорю:

— Приступы случаются у нее реже.

Но доктор Дюпон в ответ спрашивает:

— А она у вас всегда такая сонная?

Она хочет знать о приступах Фрейи все до мельчайших подробностей. Стали они другими? Более продолжительными? Они распределяются равномерно или одну сторону прихватывает чаще, чем другую? Отвечая на все эти вопросы, я чувствую, как мой оптимизм тает.

— Вы замечаете, что у нее наблюдается прогресс в плане развития?

— О да, — говорю я. — Она улыбается и смотрит на свои руки.

— Хм, — говорит доктор Дюпон. — Давайте пройдемся по основным вехам развития ребенка. Она начала ползать?

— Нет.

— Она реагирует на свое имя?

— Нет.



— Может она сидеть?

— О нет.

— Может она подавать вам предметы?

— Ну... нет.

— А хватать предметы?

— Нет.

— Бормочет она что-нибудь или, может быть, складывает слоги?

— Нет.

— Имитирует ли она звуки вроде «ба-ба» или «да-да»?

— Нет.

— Удерживает ли она свой вес на ногах, когда вы поднимаете ее за руки?

— Нет.

— Перекачивается?

— Нет.

Доктор Дюпон вздыхает.

— Боюсь, что это соответствует нашему прогнозу, который мы давали относительно нее, — говорит она, делая какие-то записи. — В Монпелье есть специализированный приют, куда принимают детей в возрасте от двух лет. Если мы будем бронировать место для нее там, нам нужно начинать оформлять бумаги уже сейчас.

Так что теперь я знаю худшее: вероятно, в конце концов она окажется в этом учреждении в Монпелье.

\* \* \*

Вернувшись домой, я поднимаюсь наверх, задерживаю шторы от слепящего солнечного света и ложусь на кровать, положив Фрейю рядом с собой.

В Монпелье никто с ней лежать на кровати не будет. Как она к этому отнесется? Будет ли чувствовать себя несчастной и покинутой? Может быть, мне следует приучать ее к той жизни, которая ее ожидает? Оставлять ее одну в кроватке? Прикасаться к ней только коротко и по необходимости? Или же я должна зарядить ее теплом объятий на всю ее жизнь,



прижимать ее к себе часами напролет, пока у меня еще есть такая возможность? Позволить, чтобы любовь текла между нами, словно электрический ток?

Она закидывает голову назад, чтобы посмотреть на меня, и улыбается мне своей перекошенной на одну сторону улыбкой. Я крепко прижимаю ее к себе и шепчу:

— Я никогда тебя никуда не отправлю. Никогда.

В данный момент это помогает. Но я знаю, что, если ее состояние ухудшится, я все равно вынуждена буду отвезти ее в Монпелье. Что любые обещания, которые я даю себе или ей, очень условны, а следовательно, ничего не стоят.

Мне необходимо вернуться к моим домашним обязанностям. Когда я несу ее вниз, Фрейя начинает плакать. Если она заплачет в Монпелье, придет ли кто-нибудь к ней, чтобы утешить? Лучше уж я буду приучать ее к худшему сама.

Я кладу ее в коляску и начинаю переставлять все на кухонных полках, стараясь отвлечься от отчаянных воплей и вида маленького личика, сморщенного и красного.

— Боже мой, дорогая, почему ты не возьмешь ребенка на руки?

Моя мама подхватывает Фрейю, и та мгновенно неподвижно замирает, как будто кто-то нажал на ней кнопку выключателя.

— Тебе нужна помощь, дорогая? В том, чтобы расставить все это? Или с Фрейей?

— Нет, у меня все в порядке, спасибо, мама.

— Это все твоя постоянная занятость. Я же вижу, что тебе так много нужно сделать. Знаешь, я бы могла сама прекрасно справиться с тем, чтобы расставить все эти вещи на полках. И мне было бы приятно почувствовать себя полезной.

Я качаю головой.

— Я ведь твоя мама, дорогая моя. И я знаю свою маленькую девочку. Она делает вид, что железная, хотя на самом деле очень хрупкая.

— Никакая я не хрупкая. Я не могу себе этого позволить. Моя мама вздыхает.



— Я переживаю за Густава и Керима, — говорит она. — У них произошла размолвка. Боюсь, что это из-за нас: Керим пытался задержаться здесь, чтобы помочь нам еще немного. Я подумала, что это неправильно с его стороны. В конце концов, он выпроводил Густава на остров Уайт и *пообещал* присоединиться к нему там.

Она делает паузу в ожидании моего ответа, но я продолжаю демонстративно заниматься своей работой.

— Как бы там ни было, дорогая, я хочу сказать, что с удовольствием осталась бы здесь, с тобой, но только в том случае, если я тебе *нужна*.

Я думаю о том, что пообещала Тобиасу. Это подходящий момент дать ей знать, что остаться она не может.

— Я могу справиться сама, — говорю я.

Она снова вздыхает.

— Что ж... если я тебе тут *абсолютно* не нужна, тогда я воспользуюсь возможностью уехать обратно в Англию вместе с Керимом. Вероятно, я могла бы пожить вместе с Густавом и Керимом, просто чтобы присмотреть за ними. — Голос ее падает до проникновенного шепота: — Между нами говоря, мне кажется, что бедный Густав находится у Керима под каблуком. — Когда ее голос возвращается к нормальной громкости, звучит он, возможно, даже тверже и решительнее, чем до этого: — Но после этого... Я уже приняла решение. Мое место — в моем собственном доме, мне необходимо привыкать быть одной.

Я наконец отрываюсь от своей работы. И понимаю, что просто не в состоянии что-либо сказать ей — такой покинутой я внезапно почувствовала себя от одной только мысли о том, что она уедет.

\* \* \*

Я решила проверить, действительно ли Лизи сидит с Фрейей, как от нее ожидается. Это часть некой изошренной игры, в которую мы играем с Тобиасом, и мне необходимо его участие. И если это будет означать доведение ситуации до кризисной — что ж, так тому и быть.



— Лизи, — говорю я, — не могла бы ты оторваться от компьютера и посидеть с Фрейей?

Она конвульсивно мотает головой и еще больше наклоняется над ноутбуком Тобиаса, словно хочет защитить его своим телом.

— Знаете эти белые хвосты, которые остаются за самолетами? — говорит она. — Они называются химическим следом, и ЦРУ отравляет их.

— Не вижу, почему это должно освобождать тебя от того, чтобы посидеть с ребенком, — говорю я. — Мне нужно в Эг.

— За Фрейей легко могу присмотреть и я, — говорит Керим. — Я обычно так и делаю...

— Нет, мне нужно, чтобы вы пошли со мной и помогли загрузить машину. Я обнаружила в *brocante*<sup>1</sup> массивный старый стол для разделки мяса и не знаю, как мы увезем его на нашей «Астре».

— Но Фрейя хочет кушать, — говорит Керим. — Я не уверен, сможет ли вообще Лизи...

— Что ж, тогда Лизи нужно учиться это делать, — говорю я и безжалостно добавляю: — Вы ведь, Керим, пробудете здесь еще недолго — мы должны переставать полагаться только на вас во всем подряд.

Я достаю бутылочку со свежеприготовленной едой и, стоя возле стула Лизи, встряхиваю ее перед ней.

— Это твоя *работа*, — говорю я. Лизи продолжает возиться с компьютером, видимо, не слыша меня. — Что ты там, собственно говоря, делаешь? Спасаешь мир?

— В общем, да, — говорит Лизи. — По крайней мере, я сделала несколько шагов к тому, чтобы спасти мир.

Но она все-таки отодвигается от компьютера и берет у меня из рук бутылочку.

Керим жестом зовет меня на кухню

— Вы думаете, это у нее уже какой-то психоз? — шепчет он.

— Не знаю, как еще это можно было бы назвать.

---

<sup>1</sup> Торговля случайными подержанными вещами (*фр.*).

Но я вижу, что с ней что-то не так. Ее глаза горят каким-то безумием, а под ними мешки, будто она не высыпается. И еще я уверена, что она теряет в весе.

Гостиная. Лизи начала кормить Фрейю. Она держит ее под неправильным углом: голова ребенка слишком сильно откинута назад, и наклон бутылки слишком большой. Фрейя голодная, она глотает свою молочную смесь чересчур быстро; в то же время тельце ее извивается, она безуспешно пытается бить по бутылочке руками, выгибаясь дугой назад, чтобы быть как можно дальше от нее.

Я бросаюсь вперед, чтобы вмешаться, но Лизи, которая ничего не слышит и ничего не говорит, только еще больше склоняется над Фрейей; бутылочка булькает все быстрее и быстрее, и внезапно меня захлестывает волна злости: ну почему я должна постоянно приглядывать за всеми, как за маленькими?

— Пойдемте, — угрюмо говорю я Кериму. — Давайте съездим в город.

Мы отсутствуем примерно час. Когда мы подъезжаем к парадной двери с мясницким разделочным столом, который лежит вверх ногами на заднем сиденье, я слышу вопли Фрейи.

Фрейя плачет не так часто, как другие дети, и зачастую даже не по поводу пищи. Она никогда не использует слезы в качестве аргумента, чтобы добиться своего, — она никогда не играет в эти интеллектуальные игры с манипуляцией людьми. Циник мог бы сказать, что это потому, что у нее нет интеллекта и даже мозга как такового, но я предпочитаю считать, что она просто стоическая натура. Сейчас я слышу, что она издает звуки, связанные с болью. Что-то вроде долгого «оу-у-у, оу-у-у, оу-у-у».

— Все в порядке, — говорит Керим, перехватывая мой встревоженный взгляд. — Если она плачет, значит, она в норме. — Но голос его звучит мрачно.

— Это колики, — говорю я. — Она наглоталась воздуха из бутылочки и не может от него избавиться.



Мы бросаемся в гостиную. Лизи снова сидит за компьютером, на голове у нее наушники, вероятно, чтобы заглушить вопли завывающей рядом с ней Фрейи.

Фрейя вся извивается. Она не может перекатиться в более удобное положение, чтобы ослабить боль. Я кидаюсь вперед, чтобы подхватить ее, но Керим опережает меня. Он кладет ее к себе на плечо, прижимая животиком к своей ключице так, что голова ее свесилась позади него, и поглаживает по спинке, чтобы она попыталась срыгнуть.

— Анна! — возмущенно взрывается он. — Мне бы хотелось остаться здесь, чтобы присматривать за вами, но я не могу... Густав нуждается во мне, и я не могу рисковать потерять его. Мне ужасно жаль, но я просто должен уехать, вы ведь понимаете?

Я сдержанно киваю. Фрейя мощно отрыгивает: громко, удовлетворенно, с облегчением.

— Послушайте, — говорит он. — Я понимаю, почему вы иногда закрываете глаза на вещи, связанные с уходом за ней и с ее будущим. Я знаю, что вам больно думать обо всем этом. Но вы все равно должны попытаться, Анна. Меня здесь не будет, чтобы вас подстраховать.

Я не знаю, что ему сказать, — сказать мне нечего. Я чувствую себя непригодной к роли матери. Это самое низкое чувство на свете: кажется, будто я уничтожена, сведена на нет. Я киваю и что-то мямлю насчет обеда, после чего, оставив ее у него на руках, ищу убежища у себя на кухне.

Я режу лук для оправдания своим слезам, когда дверь распахивает Жульен. Он даже не удосуживается поздороваться. Очевидно, он не замечает, что у меня красные глаза и течет из носа. Как только он видит меня, тут же начинает говорить:

— Знаете, что она устроила? Она выдвинула мне ультиматум: если я люблю ее, то должен на ней жениться. Как положено. В церкви. И заняться тем, что она называет настоящей работой. Но, скажите на милость, как можно ожидать от меня, что я буду жить в современной вилле в городе и работать на ее отца? Да я лучше загнусь в своей могиле!

— Жульен, — говорю я, — а почему бы вам действительно на ней не жениться? Свидетельство о браке — это всего лишь клочок бумаги. И тогда, может быть, Ивонн отцепилась бы от вас в каких-то других вопросах.

Но Жульен, который всегда готов дать совет относительно того, что будет лучше для меня, в решении собственных проблем кажется слепым.

— Это никогда не сработает, — пыхтит он. — Я сказал ей об этом, и мы окончательно порвали. Я уже больше не являюсь ее приложением. Я выбрал, что не буду ее рабом.

Он шагает по кухне туда-сюда.

— В итоге выясняется, что свобода мне более необходима, чем любовь. *Именно это* для меня самое главное.

\* \* \*

Наступает конец месяца, и моя мама вместе с Керимом укладывают в «Астру» свои вещи. К моему удивлению, Тобиаса нигде не видно; кстати, Лизи тоже.

— Все в порядке, Анна. Они уже попрощались с нами, — говорит Керим тоном, который заставляет меня усомниться, что он их оправдывает. — Можете себе представить, они даже собирались отправиться на прогулку лишь после того, как мы уедем. К счастью, мне удалось убедить их не совершать такую глупость.

— Я немного удивлена, что они не пришли проводить вас.

— Места в машине все равно не хватило бы, — говорит Керим. — Нет-нет, Амелия, позвольте *мне* сесть сзади.

Он прав — насчет места в машине, по крайней мере. Он кое-как втискивается между детским автомобильным сиденьем Фрейи и маминым громадным чемоданом, и мы едем на станцию.

На платформе наступает обычное неловкое ожидание.

— Ладно, до свидания, дорогие мои, — говорит моя мама.

Смотрит она на Фрейю, но обращается ко мне. Или, возможно, к нам обеим. Она осторожно наклоняется и целует ребенка, потом еще раз.



— Значит, доктор определенно говорит, что развиваться она не будет?

— Боюсь, что так.

— И она никогда не будет говорить или ходить?

— Нет.

— Она навсегда останется младенцем?

— Да.

— Она никогда не покинет дом и не уедет куда-нибудь?

— Никогда.

— И всю оставшуюся жизнь она будет нуждаться в тебе и зависеть от тебя?

— Да.

Моя мама выглядит очень серьезной, как будто обдумывает что-то важное.

— Все равно я хотела бы, чтобы это было у нее. Я уже пыталась отдать ей раньше, но момент был неподходящий, а потом это как-то вылетело у меня из головы.

К перрону подъезжает поезд.

— Ну ладно, я должна идти.

Она сует что-то мне в руку. Она даже не пытается поцеловать меня: присутствие поезда вызывает у нее панику. Она топчется, уходя по платформе.

Керим коротко обнимает меня и шепчет мне на ухо:

— Все будет хорошо, вот увидите. Помните, что я вам сказал.

Затем он бросается помогать моей маме садиться в поезд.

Я остаюсь стоять на платформе со своим плюшевым мишкой. Я кручу его в руках. Мишка Берни. Закадычный друг моего детства. Он потерял один глаз, голова его свисает на шее так же безвольно, как и у Фрейи, мех вытерся от любви.

Моя мама ожесточенно машет мне рукой и посылает из дверей вагона воздушные поцелуи. Она на мгновение исчезает, но тут же появляется, продолжая махать мне уже из окна своего купе. Я поднимаю Берни над головой и машу им ей в ответ. И еще долго продолжаю махать, хотя поезд уже отошел от станции и превратился в маленькую точку вдалеке и они



уже давно не видят меня. Часто я очень хотела отделаться от своей матери, но теперь, когда она уехала, я чувствую, как меня переполняет чувство, что я осталась одна.

\* \* \*

Когда я возвращаюсь в дом, Тобиаса и Лизи там еще нет. На кухне для дичи я застаю Ивонн.

— Вы видели Тобиаса? — спрашиваю я и добавляю уже помягче: — Или Лизи?

— Вы с ними разминувшись: они приходили, но потом сразу же ушли опять. Они направились на *le col des treize vents*<sup>1</sup>, — говорит она.

— Пойду поищу их, — говорю я. — Мне нужно с ним поговорить.

Она бросает на меня понимающий взгляд.

— Хотите, чтобы я присмотрела за Фрейей? Я буду тут всю вторую половину дня. Может быть, вы могли бы побыть вместе с Тобиасом...

— О, Ивонн, — говорю я, — это было бы так мило с вашей стороны! В холодильнике стоит пара бутылочек приготовленной для нее смеси.

— Можете не торопиться. Я знаю, как ухаживать за этой *petite puce*<sup>2</sup>. Я уверена, что, если вы пойдете прямо сейчас, вы легко найдете Тобиаса.

Когда я выхожу на склон холма, то понимаю, что вовсе не ищу Тобиаса. Я думаю только об Эресе и Танатосе и о том, что хочу чувствовать себя живой, чего бы это ни стоило.

Я быстро иду, почти бегу по хребту дракона, мимо заводи с невидимым краем, на опушку, к дому Жульена на дереве.

Я быстро взбираюсь по спиральной лестнице, едва замечая, что цветы глицинии опали, что ее листья потеряли свое неземное очарование и стали плотными и жесткими.

---

<sup>1</sup> Перевал тринадцати ветров (*фр.*).

<sup>2</sup> Маленькая кроха (*фр.*).



Я стучу в его дверь так громко, что он в тревоге распахивает ее передо мной.

Когда я целую его, губы у него тонкие и твердые, с привкусом дыма костра. Взгляд его ускользает от меня. На мгновение мне кажется: он этого не сделает. Мысль о том, что он сейчас отстранится от меня, подобна смерти. Я крепко обвиваю его шею руками, словно плющ.

Я чувствую, как он в нерешительности колеблется. Но затем увлекает меня внутрь, в самое сердце дерева. Когда мы двигаемся, я слышу его тихое поскрипывание и таинственный шепот его листьев.

Внутри нет ничего, кроме звуков природы: ветки, ветерок, крик совы, дерево. Ничего, кроме прикосновения живой древесины и подвесной кровати, которая раскачивает нас в своих объятиях.



# Август



Погода стоит убийственно знойная. Один идеально солнечный, без единого облачка день следует за другим. Как и предсказывал Жульен, это похоже на вторую зиму. Все, что мы не поливаем, умирает.

Жульен больше не заходит к нам по дороге вниз, в деревню. Думаю, что он избегает меня. Я и сама понятия не имею, почему сделала то, что сделала, и что к нему испытываю. Если бы я могла хотя бы хорошенько поплакать над ним или, по меньшей мере, испытать те эмоции, которые ожидаются в такой ситуации, вместо этого странного ощущения отчужденности от всего, которое время от времени выплескивается у меня в виде беспричинной злости и смятения.

Мое сознание — это черный ящик, и я стала весьма искушенной в том, чтобы совать туда все, что может причинить мне вред. Там находится и тот единственный эпизод с Жульеном — засунут среди нежелательных мыслей о будущем Фрейи.

Я скучаю по своей маме и по Кериму. И не только потому, что исчезли мои два самых надежных источника помощи по уходу за ребенком. Кажется, что они оба оказывали свое благотворное влияние, присматривая за нами — незаметно и не ожидая благодарности — в течение стольких месяцев.

Сейчас, когда погода стоит такая замечательная, создается впечатление, что все, кого мы только знаем в Англии, случайно собираются проезжать мимо и интересуются, нельзя ли остановиться у нас на несколько дней. Тобиас в восторге от перспективы провести лето в качестве бесплатного туристи-



ческого гида. Он забирает группы наших друзей в аэропорту и организует для них пикники у реки, на берегу озера, возле любой открытой воды.

Последние две недели я провела за тем, что постоянно собирала корзины для пикников. Я делаю салаты из дикого портулака и щавеля, смешивая их с нежными листочками нашего латука, или же из бобов и артишоков с нашего огорода, заправленных местным густым оливковым маслом с добавлением чеснока и лимонного сока. Я заливаю в термосы гаспаччо из наших собственных помидоров или *velouté de concombre*<sup>1</sup>, пакую корзины из ивовых прутьев с кусками сочной ветчины от Ивонн и ее *pâté*<sup>2</sup> с каштанами, местными пирожками *tielles sétoises* с начинкой из осьминога, а также свежими устрицами со льда, которые нужно открывать перочинным ножом и выпивать с соусом табаско и капелькой лимона; и еще пирогами с абрикосами, крамблами из черной смородины и яблок, пирогами киш с начинкой из нашего порея и форели из реки; сюда же идет рататуй из овощей, которые я собрала час назад, и моим домашним *confiture d'oignons doux*<sup>3</sup>, который нужно ложкой намазывать на хрустящий французский хлеб. И все это мы сдабриваем немалым количеством охлажденного местного белого вина *Picpoul de Pinet*.

Загадочным образом наши с Тобиасом отношения улучшились.

— Еда, которую ты готовишь, меняется, Анна, — говорит он, набивая полный рот *caviar d'aubergine*<sup>4</sup>.

Я удивлена и слегка встревожена.

— Тебе не нравится?

— Ужасно нравится. — Глаза его смотрят на меня необычно пристально. — Просто... Я часто думал, что на свете существует два вида поваров. Одни, как Николя, обучают других

---

<sup>1</sup> Суп-пюре из огурцов (фр.).

<sup>2</sup> Паштет (фр.).

<sup>3</sup> Конфитюр из сладкого лука (фр.).

<sup>4</sup> Икра из баклажанов (фр.).



и жестко следуют правилам. Они занимаются этим для совершенства. Но есть другие, которые рискуют, смешивая между собой разные ингредиенты, потому что им нравится готовить для других, они получают от этого удовольствие. Не пойми меня неправильно: твоя еда всегда была безупречна, но она всегда была под жестким контролем. И неожиданно ты позволила себе это отпустить.

Я уставилась на него, пораженная тем, что он вообще думал о моей стряпне, не говоря уже о том, что выстроил из этого такую стройную теорию.

— Должно быть, все дело в тетрадке Розы, — говорю я.

Но тихий голос в глубине моего сознания спрашивает, не связано ли это каким-то образом с Жульеном.

*Joie de vivre* нашей Лизи испаряется на глазах. Во-первых, она определенно сильно худеет.

— Объеденье, — говорит Тобиас, когда мы переходим к *seiche à la rouille* — каракатице в томатном соусе — самому популярному блюду города Сет на побережье Лангедока. Как и многие мои новые блюда этого региона, рецепт его взят из тетрадки Розы. — Лизи, давай я положу тебе немного *seiche*.

— Нет, спасибо.

— Брось. Ты же увянешь. Пора уже начинать кушать.

— Я стала вегетарианкой.

— О'кей, тогда возьми немного пудинга.

— Вегетарианство — это только первый шаг, — говорит она. — Я нашла один веб-сайт, где можно изменить свою ДНК, чтобы начать питаться светом.

— Светом? — переспрашивает Тобиас. — Ничем, кроме света?

Лизи надувает губы.

— Или легкой едой, — говорит она.

Я начинаю по-настоящему беспокоиться за нее. Я смотрю на него и беззвучно, одними губами говорю: «Интернет» и «Это все ты виноват», но он только пожимает плечами.

— Лизи, ты что, правда во все это веришь? — говорю я. — Всему тому, что ты читаешь в Интернете?



К моему удивлению, она вызывающе кивает головой, но под моим пристальным взглядом получается это у нее как-то нерешительно.

— Анна, я не знаю, почему это вас так пугает. Для меня это всего лишь немного общения, вот и все. В конце концов, больше у меня никого нет. Только я сама.

Она поспешно встает и уходит из-за стола; передняя дверь за ней захлопывается.

— Пойду верну ее, — говорю я.

Я выхожу как раз вовремя, чтобы заметить, как она пересекает двор и направляется в сторону своего морского контейнера. Со спины хорошо видно, какой тощей она стала. Когда я окликаю ее, она вздрагивает, как будто мой голос ударил ее физически. На мгновение мне кажется, что девушка просто продолжит идти дальше, но внезапно она оборачивается, резко и со злостью, и я вижу, как по щекам ее текут слезы.

Я осторожно иду к ней. Она не уходит, так что я подхожу совсем близко.

— Лизи, — говорю я, — что случилось? Расскажи мне, пожалуйста.

— Вы не поймете, — бросает она, совсем как подросток, каковым она, собственно, и является.

— А ты попробуй, — как можно мягче говорю я.

— Ну да. Теперь вы начнете меня *понимать*. Все, что мне нужно. Хотя на самом деле я приехала в Европу как раз, чтобы этого избежать. Понимания других людей.

— О'кей, — говорю я. Но всего лишь, чтобы как-то поддержать разговор. Понятия не имею, что мне сказать.

— Вы *не можете* меня понять. Потому что вас никогда не обливали дерьмом. Жизнь не обливала.

Я не верю своим ушам, что она могла такое сказать. Ей удалось задеть меня, несмотря на мои добрые намерения.

— Ты забываешь, — говорю я, — что моя дочь — глубокий инвалид.

Я оказываюсь неготовой к тому яростному презрению, с каким она встречает мои слова:

— Ну да. И вам себя по этому поводу жутко жалко. Что ваша дочка неполноценная. Большое дело!

Я открываю уже рот, чтобы что-то возразить, но она снова продолжает говорить:

— По крайней мере, она вас любит. Как любит вас и *он*. Вы что-то брюзжите на свою мать, но, по крайней мере, она у вас *есть*.

Подростковый сарказм уже растаял, и сейчас она говорит, как обиженный маленький ребенок:

— А моя мама отдала меня в приют. Необходимости в этом не было. Но она сделала такой выбор. А теперь даже *он* считает, что я становлюсь обузой. Я знаю, что он так думает. Я вижу это по его глазам.

Я с удивлением понимаю: она не просто дурачится — она влюблена в него.

Вообще-то это можно понять. Раньше никто и никогда не был добр к ней.

— Он думает, что я просто ребенок, — продолжает она. — Он любит *вас*.

Она не плачет в обычном понимании этого слова: нет никаких рыданий и всхлипываний, просто по щекам ее тихо текут слезы. И, не успев подумать, я подаюсь вперед и делаю то, что, как теперь понимаю, мне давно хотелось сделать, помимо того, чтобы отшлепать ее. Я обнимаю ее и прижимаю к себе так крепко, как только могу.

— Не говорите ему. Пожалуйста. Я этого не перенесу, — говорит она.

— Конечно, не скажу. — Я действительно так решила: не вижу никакого смысла унижать ее. — О Господи! — говорю я. — Вот так дела.

\* \* \*

Марта приезжает в Эг послеобеденным поездом. Я замечаю ее, когда она выходит из вагона, — выглядит очень стройной и лет на десять моложе меня. Я несколько недель с нетерпением ждала ее приезда. Но теперь я нервничаю. Раньше мы с ней



рассказывали друг другу буквально все. И я знаю, что в этом мой шанс хотя бы частично вернуть ту близость, которую мы с ней утратили после рождения Фрейи.

Она смотрит на меня с укоризненным выражением на лице.

— Анна, я рада видеть, что ты *жива*. Честно говоря, я очень беспокоилась за тебя. Ты так редко отвечаешь на мои имейлы, а если и отвечаешь, то никогда ничего *не рассказываешь*.

— Ты пишешь о новостях городской жизни, — говорю я, начиная оправдываться, — а мне нечего сообщить тебе взамен, кроме как сколько грязных подгузников я успела поменять.

Она поджимает губы и обнимает меня, крепко обнимает. Но в этих объятиях я все еще чувствую упрек.

Чуть позже мы вместе укладываем Фрейю спать.

— А вот, крошка, подарок для тебя, — говорит Марта. — Я подумала, что это будет ей интересно, потому что она мало передвигается. Пристегни это на край кровати.

Это коробочка, которая проецирует на потолок цветные картинки и при этом играет мелодию из мультика про Винни-Пуха. Там есть датчик движения, который сработает, когда Фрейя будет двигаться. Я ловлю себя на том, что почему-то сдерживаю подступившие слезы. Веселые кадры с изображением Винни-Пуха и его друзей, эта успокаивающая музыка относятся к миру нормальных детей, у которых впереди счастливое будущее. А здесь, в комнате Фрейи, они выглядят фальшиво и лицемерно.

— В чем дело? — спрашивает Марта.

Мы с ней всегда умели объяснить друг другу все что угодно.

— Ох, Марта, — вырывается у меня. — Просто... У меня такое чувство, что она не *настоящий* ребенок. Я обнимаю ее, погружаюсь в нее с головой, но где-то в глубине души чувствую, что это вроде как жульничество какое-то. Как будто я вовсе не настоящая мать, а все вокруг просто потворствуют моим странным фантазиям, выдавая желаемое за действительное. Как будто весь мир, за исключением меня одной, видит, что это... сплошное притворство. Как какая-то игрушка.

— Не говори глупости, — говорит она.

— Разумеется, — с горькой иронией говорю я, — мы предпочли бы модель, у которой бы ручки все хватали, как настоящие.

— Что бы ты там ни говорила, чтобы шокировать меня, я знаю, ты бы прикрыла грудью своего ребенка, чтобы защитить его, дойди дело до этого.

Я чувствую, как моя печаль растворяется в приступе злости. Такие всплески эмоций со мной по-прежнему случаются.

— Нет, ничего подобного! — почти кричу я. — Я не могу себе этого позволить. Я не могу любить Фрейю безусловно, потому что я не смею этого делать. Все, на что я способна... это любовь другого рода. Изю дня в день. Определенное количество любви, которое можно отдать ребенку, который не ведет себя как ребенок и которого в любой момент могут забрать.

На ужин я готовлю *travers de porc aux navets noirs de Pardailhan*<sup>1</sup> по рецепту из тетрадки Розы. Никто этого не ест. Меня мутит. Тобиас не голоден. Лизи, похоже, вообще перестала есть. Марта ушла спать пораньше, сославшись на головную боль.

Оставшись в своей комнате одна, я смотрю на себя в зеркало. После того, как я родила Фрейю, к концу дня обычно тело у меня отекает, и сегодня мой живот выглядит громадным.

Раздается легкий стук, и дверь открывается.

— Я думала над тем, что ты мне сказала, — говорит Марта. — Я не могу делать вид, что понимаю, каково это было для тебя. Мне не следовало обижаться.

Это как оливковая ветвь, предложение примирения. Не знаю, почему я не могу принять его с изящной готовностью. Вместо этого я натянуто улыбаюсь нашему с ней отражению в зеркале.

— Какая ирония в том, чтобы постоянно *выглядеть* беременной, — говорю я.

— А ты проверялась, делала тест? — спрашивает она.

— О, не говори глупости.

---

<sup>1</sup> Свиные ребрышки с черной репой по-пардайлански (фр.).



- Ну а задержка-то есть?
- Пара недель. Я не следила.
- А контрацептивами пользовалась?
- Нет.
- Тогда сделай тест.

Чувствуя себя довольно глупо, я нахожу тест на беременность, который остался у меня с тех времен, когда я надеялась на рождение Фрейи, и уношу его с собой в ванную комнату. А потом пораженно наблюдаю за тем, как к первой голубой полоске присоединяется вторая...

Я несусь обратно в спальню и размахиваю тестом перед глазами у Марты. Она выхватывает его у меня с воплем:

- Бежим расскажем Тобиасу! Он обрадуется.
- Я пока что не хочу ему об этом говорить, — возражаю я. — Тут все не так просто.
- Непросто?
- У меня было что-то вроде интрижки. Даже и так не назовешь. Переспали разок. Станным образом. С Жульеном.
- Станным образом один раз переспали?
- Я ничего не имела в виду. То есть я думала, что это означает что-то, но только касалось это Фрейи и ощущения себя живой. А вовсе не Жульена. Или Тобиаса.

— Боже мой, не верю своим ушам, что ты говоришь такие вещи!

— Беременность *должна* быть от Тобиаса. Если ей больше двух недель, то это должно быть так. — Потом я медленно добавляю: — Но не исключено, что она может быть и от Жульена.

— Так это потому ты такая встревоженная?

— Я совершенно точно не могу сказать об этом Тобиасу. И Жульену тоже.

— А как ты себя чувствуешь? — спрашивает Марта.

— Хорошо, — говорю я. А сама думаю: это будет моя тайна — семя, которое растет внутри меня.

И тут, как динамитная шашка с очень длинным бикфордовым шнуром, Марта наконец взрывается.



— У тебя была интрижка? И ты мне ничего не сказала! Не обсудила это со мной! И теперь ты беременна! А я понятия не имею, что ты при этом чувствуешь!

Когда она говорит это, я чувствую, как стенки черного ящика в моей голове начинают изгибаться и давить на череп изнутри. А если он раскроется, клянусь, голова моя не выдержит и разлетится на куски.

— Я не могу себе позволить чувства такого рода, — говорю я. — Будь то в отношении Жульена, Фрейи или чего-то еще. Все чувства переплетены между собой, как корни травы. Все они соединяются где-то под землей. Если я отпущу одно, они все... разлетятся. Я должна держать их под контролем.

— Под контролем? Да слишком поздно! Ты уже полностью вышла из-под контроля. И я тебя совсем не узнаю. С тех пор, как родилась Фрейя.

На мгновение она выдыхается, но уже в следующую секунду заводится снова:

— Мне тридцать восемь, и я не замужем. У меня может никогда не быть своего ребенка. Я думала — возможно, я была самонадеянна, но я *предполагала*, — что ты могла бы сделать меня крестной твоей Фрейи...

— Мы так и собирались, — с несчастным видом говорю я. — Просто Фрейя, в ее состоянии... Мы подумали, что ты можешь не захотеть...

— Вы, по крайней мере, должны были дать мне право решить это самой! Анна, на последних сроках твоей беременности мы с тобой говорили по телефону каждый день. А иногда и дважды в день. Тобиас и слышать ничего не хотел обо всем необходимом для ребенка — это я ходила с тобой выбирать переносную корзинку-кровать с ручками. Да ради бога! Мы с тобой вместе принимали решение насчет *гигиенических салфеток* для твоей груди. А потом — в ту минуту, когда она родилась, — все это вдруг прекратилось. Я с ума сходила, когда ты была в роддоме. А потом ты сбежала во Францию и забрала ее с собой. Ты даже не дала мне возможности с ней познакомиться.



Я знаю, что она права. Но я едва держу себя в руках. И не могу себе позволить отпустить эту хватку.

— Прости, — говорю я. — Я просто делала то, что должна была. Чтобы выжить.

Она качает головой, отмечая все извинения, которые идут не от сердца.

— Это не ты, Анна. Настоящая ты не может так вести себя по отношению к друзьям. И ты не та женщина, которая не знает, кто отец ее ребенка.

\* \* \*

Этим утром, когда я иду посмотреть на Фрейю в ее кроватке, я, к своему изумлению, вижу, что она заметила коробочку с картинками Винни-Пуха и в восторге от нее. Она еще не вполне сообразила, что может заставить ее работать, стукнув по ней кулачком, но когда музыка прекращается, она громко говорит «ва!» негодующим тоном, как мне кажется, и пристально смотрит на пустой потолок, как будто ищет там цветные блики.

Я бегу вниз, чтобы обо всем этом рассказать Марте за завтраком, надеясь, что это поможет поправить ситуацию после вчерашнего вечера. По крайней мере, она хотя бы согласилась не выкладывать все о моей беременности Тобиасу.

— Ночью я глаз не сомкнула, — говорит она. — С потолка все время какой-то шорох, как будто там кто-то носится. Что это может быть, как думаешь?

— Белки, вероятно, — говорю я. — Они у нас тут такие рыжие. Вниз спускается Тобиас.

— Ты хорошо спала, Марта? Эта комната, куда тебя уложила Анна, — настоящий крысиный центр, — говорит он. — И будь осторожна в углу кухни: там стоит крысоловка.

Марта выразительно смотрит на меня, а затем вдруг, практически вопреки желанию, улыбается своей старой, такой знакомой улыбкой.

— В доме плохая энергетика, — говорит Лизи. — Даже когда я жила здесь одна, я ни разу не ночевала внутри. Уж лучше буду жить там, в морском контейнере.

Она выглядит такой важной и серьезной, что мы с Мартой переглядываемся, и я, вопреки своим переживаниям, едва сдерживаю усмешку. Мне жалко несчастную Лизи, но зато так приятно, что у меня снова появился человек, который может разделить со мной мои ощущения.

\* \* \*

После завтрака мы идем на рынок в Эг. На городок, словно стаи заморских птиц, налетели летние туристы, чтобы поворковать над экзотикой средневековых построек и колоритной скудостью быта местного *pausan*. Идет гонка, чтобы заработать на них, пока они не покинут долину в сентябре.

Владельцы торговых палаток на деревенском рынке отказались от своего зимнего ассортимента, состоящего из старых кастрюль и разных подержанных вещей, в пользу местных деликатесов: винтажных вин, козьего сыра, обкатанного в золе, сухих колбас, приправленных горными травами, каракатиц из Средиземного моря, душистого лугового меда и черных трюфелей из тайных мест, разбросанных в дубовых рощах. Не говоря уже о цветистых поделках народного промысла, изготовленных усердными хиппи длинными зимними месяцами.

Ивонн выставила под платанами столики, накрытые скатертями в белую и красную клетку. За одним из столиков сидит Людовик с повязанной вокруг шеи салфеткой и с аппетитом уплетает какую-то липкую еду.

— Хотите поесть? — спрашивает нас Ивонн. — Сегодня *plat de jour*<sup>1</sup> — свиные ножки с хлебом.

— Нет, спасибо, — поспешно говорит Марта.

На площади установлена большая открытая сцена. Я замечаю стоящего рядом с ней Жульена, но он меня не видит.

— В Эге в последний день месяца проводится празднество, — говорит Ивонн. — Вы должны прийти. Там будет лазерное диско-шоу и более тридцати профессиональных танцоров. Приедет оркестр, который будет играть *chan-*

---

<sup>1</sup> Блюдо дня (фр.).



sons<sup>1</sup>. А еще прямо из Тулузы приедет одна певица, очень похожая на Леди Гагу.

Людовик отрывается от еды и, глядя на нас, качает головой.

— Для Ивонн нормально идти на праздник в Эг, — важно говорит он, — потому что она сама из долины. Но вам следует отправиться на праздник в Рье. Вы ведь люди с гор.

\* \* \*

Марта тянет нас к прилавку, уставленному местными острыми зелеными оливками, которые называются *Lucques*. Пока мы стоим в очереди, маленький мальчик впереди нас опускает голову глубоко в миску с маслинами и противно сопит. Затем он сует туда обе руки и вытаскивает полные ладони ягод, чтобы их съесть.

Все покупатели, ожидающие в очереди, хором начинают неодобрительно роптать. Но родители мальчика, еще больше усугубляя неприятную ситуацию, упорно делают вид, что не замечают происходящего. Его старший брат смущенно ерзает на месте.

— *C'est juste pour goûter pas pour manger!*<sup>2</sup> — говорит он.

Мальчик снова сует кулак в миску, и в этот момент я — вместе со всеми остальными покупателями — замечаю, что у него болезнь Дауна.

Мгновенно вся очередь дружно отводит глаза в сторону — все, кроме меня. Я зачарованно слежу за ним: если доктора правы, этот мальчик гений, по сравнению с Фрейей. И еще у него дальновзоркость, как у нее.

Мальчик продолжает совать руки во все тарелки с оливками. Хозяин лавки улыбается, стараясь сгладить эту ситуацию.

— *Mais ce n'est qu'un enfant,* — говорит он брату мальчика. — *Ce n'est pas grave...*<sup>3</sup>

Толпа покупателей одобрительно гудит: теперь они находят его даже сообразительным.

---

<sup>1</sup> Песни (фр.).

<sup>2</sup> Это только чтобы попробовать, а не есть! (фр.).

<sup>3</sup> Но это всего лишь ребенок. Ничего страшного... (фр.)



Все точно так же начинают вести себя по отношению к Фрейе. Дети вообще славные, но когда люди понимают, что она с отклонениями, она для них превращается в самого очаровательного ребенка на свете. Если, конечно, им не удастся увильнуть, просто проигнорировав ее.

\* \* \*

В воздухе чувствуется тонкий дух разложения. А может быть, это просто тянет запахом со склона, где должен находиться септический отстойник. Сад полон переспевших фруктов. Их поедают осы и гигантские шершни. Они выедают мякоть слив изнутри, оставляя только шкурку — пустую оболочку в форме ягоды. Даже я уже вижу, что заготавливать что-то еще не имеет смысла.

Огород мой выглядит сдувшимся — лучшие времена для него явно миновали. Все на нем немножко, да не так. Желтые цукини становятся коричневыми. Помидоры подгнили на кончиках. Перец внутри черный. На капусте плесень. Фенхель зацвел. Я вовсе не уверена, что мы выкопаем больше картошки, чем посадили, а внутри каждого клубня уютно свернулся мягкий белый червяк. Морковка имеет сильный привкус, она крошечная и вся какая-то скрученная из-за невероятных усилий пробиться через каменистую почву.

Здесь целое нашествие жуков. Некоторые из них красные с черными полосками, другие коричневые, третьи похожи на марки «Грин шилд»<sup>1</sup>. Они очень медлительные, и все в них какое-то второсортное. Если к ним прикоснуться, от них исходит довольно мерзкий запах, похожий на дешевый лосьон после бритья времен 70-х. Жуки могут летать, если захотят, но они этим не озабочиваются. Они не убегают и не прячутся.

---

<sup>1</sup> Специальные марки с изображением зеленого щита, которые выпускаются компанией «Грин шилд трейдинг стамп компани» в целях привлечения покупателей; выдаются в продовольственных магазинах вместе с покупкой; за определенное количество марок можно приобрести недорогие промтовары в специальных магазинах фирмы.



Безопасность им обеспечивает несметное их количество. Они не убивают растения до конца, но высасывают из них сок, заражая их своей заурядностью. Все, к чему они прикасаются, имеет изнуренный, жеваный вид.

Если своими проблемами Фрейя обязана рецессивному гену, который доктора еще не выделили, существует один шанс из четырех, что ребенок, которого я ношу сейчас, тоже может родиться с тем же дефектом.

Я должна отбросить все эти мысли. Им также необходимо отправиться в черный ящик моего сознания. Я удивляюсь, какой этот ящик бесконечно вместительный. И думаю, не загниют ли, не испортятся ли там все эти нежелательные мысли, лишенные света и воздуха.

Колбасы Ивонн покрыты тонкой белой плесенью. Мы с Тобиасом и Лизи выступаем вперед, желая продегустировать их.

— Да они разлагаются, — с отвращением в голосе говорит Лизи. — Фу! Связка гноящихся свиных кишок.

— Не говори глупости, — быстро говорю я, боясь, что она задевает чувства Ивонн.

Но Ивонн совершенно невозмутима.

— О, разложение — это часть процесса, — говорит она.

С Ивонн я веду себя менее естественно, стараясь пощадить ее даже от воображаемой боли. Несмотря на то что ее отношения с Жульеном закончились, у меня такое чувство, будто я предала нашу с ней дружбу. Как бы Жульен об этом сейчас ни жалел, он все же был добровольным участником измены, да и Тобиас был виноват: он плохо вел себя по отношению ко мне; одна Ивонн была абсолютно невиновна: она всегда была со мной очень сердечной и искренней.

— Снаружи, под окном этой комнаты есть какой-то ящик, — говорит Тобиас. — Сливное отверстие раковины выходит именно в него. Нам интересно, для чего все это нужно.

Ивонн смотрит туда.

— Это для фуа-гра. Когда хотите откормить гуся, помещаете его в ящик, просовывая его голову через отверстие в каменную раковину. Вскоре он становится таким жирным, что

не может двигаться. Его печенка может стать в десять раз больше нормального размера. И тогда вы его забиваете. Так делала моя бабушка, но сейчас очень немногие делают такое дома.

Лизи бледнеет.

— Это просто ужасно по отношению к любому живому существу!

— О, ты и вправду так считаешь? — спрашивает Ивонн. — Кстати, а я бы хотела завести себе гусей для фуа-гра. Потому что я очень люблю животных.

— А как вы убиваете этих гусей? — спрашивает Тобиас.

— Это сложно. Говорят, что, если вы достаточно сильны, можно раскрутить его над головой, пока шея не хрустнет. Потом бьете его по затылку, чтобы перья ослабли и их было легче выщипывать.

— Это место зла, я чувствую себя здесь больной, — говорит Лизи.

— Глупости! — замечает Тобиас. — Здесь просто пахнет льняным семенем.

Лизи выглядит ошеломленной, как будто он дал ей пощечину, и быстро бросает взгляд в мою сторону. После нашего с ней разговора несколько дней назад, она, похоже, превратила меня в замену своей матери. Кажется, очень хочет мне угодить: даже прилагает кое-какие усилия к тому, чтобы научиться ухаживать за Фрейей. Я решила, что будет хорошей идеей поддержать ее в этом начинании, и провожу с ней больше времени, терпеливо присматривая за тем, как она тренируется кормить ребенка из бутылочки, и показывая ей снова и снова, как менять подгузники. Но я пока что не настолько ей поверила, чтобы полностью доверить Фрейю.

\* \* \*

Час ночи. Фрейя не может дышать. Ее грудь поднимается и опускается, и она в своей борьбе за глоток воздуха издает тревожные хрипящие звуки.

Я трясусь Тобиаса.



— М-м-м?

— Она задыхается: это не приступ. Она просто не может дышать. Я не знаю, что делать. Я вызываю скорую.

Впервые Тобиас не говорит мне, что я дергаюсь понапрасну.

— Господи, Анна, она ужасно хрипит! Черт! Такие звуки, как будто она может умереть. Поторопись!

Я набираю номер экстренной помощи, и оператор соединяет меня с доктором, который слушает, как она дышит, через телефонную трубку.

— Везите ее к дежурному врачу в Эг, — говорит он. — Я предупрежу их там, что вы едете.

Я спешно сую Фрейю в машину, и мы несемся вниз по холму. Я за рулем, а Тобиас старается держать ее так, чтобы был проход для воздуха.

Уже под самой дверью дежурного врача Фрейя мощно чихает. Ее дыхание и цвет лица мгновенно становятся нормальными.

Доктор приписывает весь этот прогресс себе. Он говорит, что легкие у нее чистые, но зато есть ушная инфекция. Он дает нам бутылочку с антибиотиками, просроченными на два года, выписывает длиннющий список лекарств, которые мы должны купить, когда откроется аптека, и берет за это семьдесят евро.

\* \* \*

Мы с Тобиасом проспали. Когда я открываю глаза, Фрейя спокойна, и наше ночное приключение забыто, как страшный сон.

— Я сбегаю куплю ей лекарства, — сонно говорю я. — Сегодня аптека там открыта только утром.

— Все в порядке, — говорит Тобиас. — Сегодня утром мы куда-нибудь свозим Марту. А лекарства купим по дороге.

Я оставляю его дремать, а сама спускаюсь на кухню, где за столом уже сидит Марта, готовая завтракать.

— Тост? — спрашиваю я.

Но тут выясняется, что крысы влезли в нашу хлебницу и проели в прекрасной буханке черного хлеба дырку величиной с крысу.





— Не беда, — говорю я, и Марта снова бросает на меня свой странный взгляд. — Почему бы мне не сделать для нас блинов? Мы можем купить хлеб, когда поедem в Эг чуть попозже. Мне все равно нужно туда, в аптеку.

К нам присоединяется Тобиас, а мы с Мартой хихикаем, болтаем и радостно уплетаем блины, как маленькие дети.

Лизи опаздывает к завтраку, волосы ее взъерошены.

— Эй, — говорит Тобиас, — только что проснулась? Это привидения так взлохматили тебе волосы?

Если он рассчитывал пошутить, то будет разочарован. Она не подхватила его веселый тон.

— Кто съел мою туфлю? — спрашивает Марта.

И действительно, в резиновой подошве ее вьетнамок, которые она на ночь оставила у дверей кухни, зияет аккуратная дыра размером с теннисный мячик.

— Анна, насчет этих крыс... — начинает она.

— Куда мы поедem сегодня? — вмешивается Тобиас. — Анна, тебе выбирать. Куда захочешь, туда и отправимся.

— Давайте поедem на *étang*<sup>1</sup>, — говорю я. — Там живут фламинго.

— А как насчет того, чтобы потом устроить пикник? — спрашивает Тобиас.

Я быстро смотрю на часы: почти полдень.

— Времени нет, — говорю я. — Мне нужно купить лекарства, прежде чем аптека закроется.

— Анна, я в отпуске, — говорит Марта. — А твои крысы слопали мою обувь, так что тебе по крайней мере придется подождать, пока я переоденусь.

— Давай, Анна, сооруди нам по-быстроу одно из твоих потрясающих блюд для пикников, — подлизывается Тобиас.

Я чувствую, как меня охватывает приступ какого-то сумасшествия. И я ловлю себя на том, что кричу уж слишком громко:

— Нет! Мы должны ехать *немедленно*!

Марта пристально смотрит на меня.

---

<sup>1</sup> Пруд, водоем (*фр.*).



— Ночью нам пришлось срочно везти Фрейю к врачу, — объясняю я. — Она не могла дышать. Аптека закрывается в двенадцать. Мне необходимо купить ей лекарства прямо сейчас.

Наступает неловкое молчание. Марта выглядит испуганной и немного обиженной.

— Анна, да что с тобой такое? Почему ты мне сразу не сказала? Ты взялась готовить завтрак! Шутила со мной! Предложила *увеселительную прогулку*! Мы не можем никуда ехать с больным ребенком на руках. И ты должна была сразу же ехать в аптеку, как только она открылась.

Она рассуждает совершенно разумно. Вдруг, ни с того ни с сего, Фрейя выстроила вокруг меня еще один барьер. Марта никогда не поймет, что мы с Тобиасом сделали такие вещи нормальными для себя, потому что должны были это сделать. Мы не говорим людям, что Фрейя больна, потому что Фрейя больна *всегда*. И мы всегда балансируем на грани экстренной ситуации.

Каждый момент времени отделен от любого другого, как будто кто-то завернул все индивидуальные сегменты в липкую ленту. Это напоминает мне самое раннее детство, когда меня дразнили в детском саду, а я никак не могла сказать об этом взрослым, потому что моменты, когда я набиралась решимости все им объяснить, были безнадежно оторваны от мгновений, когда надо мной издевались. Думаю, это как раз то, что представители «новой эры» вроде нашей Лизи называют «жить здесь и сейчас». Но я фактически сама придерживаюсь этого и не могу рекомендовать всем остальным.

\* \* \*

Температура на термометре продолжает расти. Такое ощущение, что вся природа вокруг сдерживает свое дыхание. Воздух становится все тяжелее; каждая отдельная молекула насыщается водой и рано или поздно должна лопнуть.

Теперь нам понятна вся ценность нашего *béal*: он позволяет нам обеспечивать постоянный поток воды из речки на наш огород. Он придал нашей удобренной конским навозом по-

чве насыщенный темно-коричневый цвет. Из всего этого разложения вырастают шикарные дыни и тыквы.

Людовик дает мне урок приготовления компоста.

— Здесь все так же, как в кулинарии, — говорит он. — Вам необходим правильный баланс ингредиентов, смешанных правильным образом, нагретых до правильной температуры за правильный промежуток времени. Подойдите поближе и посмотрите. Не обращайтесь внимания на запах.

Представив перемазанного в грязи Людовика у себя на кухне, я улыбаюсь, но он предельно серьезен.

— Разложение — явление естественное. И вы ему просто лишь немножко помогаете.

Как и все остальное на огороде Людовика, его компост находится под строгим контролем в трех аккуратных пластиковых чанах.

— Вы можете получить это бесплатно в *mairie*<sup>1</sup>, — говорит он. — Пластик намного лучше дерева. Он не гниет. А во всем остальном я делаю все точно так, как учил меня мой отец.

Он берет свои трезубые вилы и начинает перекладывать содержимое из одной пластиковой бадьи в другую.

— Принесите мне вон ту картофельную ботву. Положите вот здесь. Вам нужен баланс коричневых ингредиентов — мертвых растений, веток, растертых сухих листьев, соломы — и зеленых ингредиентов — скошенной травы, молодых сорняков, испорченных фруктов и обрезков овощей с кухни. Слишком много зелени — и он станет слизистым. Слишком много коричневого — и он не будет работать.

Людовик энергично размешивает пахучую смесь своими вилами.

— Если вы составите смесь неправильно и баланс в ней будет нарушен, она прокиснет.

— Она такая противная. И действительно воняет.

— Ничего не противная: она в процессе перехода. Гниение и есть гниение. Если вы подобрали состав правильно, то оно

---

<sup>1</sup> Мэрия (фр.).



является началом чего-то нового. Теперь разомните эту яичную скорлупу и бросьте сюда. Это будет способствовать размножению червей. Именно черви и полезные бактерии расщепят все это для вас.

Людовик переворачивает свой компост снова и снова.

— Нужно, чтобы через него проходил воздух. Переворачивайте его вилами регулярно: минимум два раза в месяц. Я делаю это каждую неделю. Чем чаще вы будете его переворачивать, тем быстрее он изменится.

Когда он удовлетворился результатами своего перемешивания, то накрыл все это шапкой соломы и посмотрел на ясное сияющее небо.

— И конечно же, вы должны доливать сюда правильное количество воды. Вы не должны давать ему слишком пересыхать, но если оставите его незакрытым во время грозы, он может излишне пропитаться водой. Вы должны поливать его аккуратно.

Уже уходя с огорода с горстью сорванного латука, я обращаюсь и вижу, что Людовик, расстегнув брюки, поливает свой компост на традиционный манер. Если он и испытывает какое-то неудобство в этой связи, то искусно прячет это, беззаботно пожимая плечами.

— Некоторые придерживаются всяких новомодных идей насчет компоста. Но для меня достаточно хорош и проверенный старомодный способ. Чтобы создать что-то новое, нужно разрушить старые составляющие. Я же говорил вам: все, как на кухне.

\* \* \*

Пища здесь становится все более и более странной. Я думала, что это может подвигнуть Лизи больше есть, если я попрошу ее саму что-то приготовить, но это обернулось катастрофой.

— О нет! — с тихим стоном шепчу я Тобиасу. — Только не снова эти тушеные гусеницы!

— Тушеная *цветная капуста*, — говорит он. — Не забывай, что она вегетарианка.

— Наверное, поэтому-то она сама к еде даже не притрагивается, — снова шепчу я, глядя на это приготовленное еще три дня назад блюдо и думая обо всех тех гусеницах, которых моя деморализованная рабочая сила так и не удосужилась отсюда удалить.

Лизи по-прежнему полна той сдерживаемой энергии, которую я все чаще наблюдаю в ней в последнее время. Она больше не смеется с Тобиасом, не флиртует с ним, а постоянно говорит о зле, которое присутствует в доме, особенно на кухне для дичи. Она перенесла сюда всю свою коллекцию магических кристаллов вместе с громадным количеством фигурок разных католических святых. Ивонн — *croyante*<sup>1</sup>, так что, в конечном счете, она рада разделить свою *laboratoire* с образами святых, но я, хоть убей, не могу понять, как все это укладывается в необычный и удивительный спектр других верований Лизи.

\* \* \*

Погода остается жаркой и гнетущей. Назревает мощная буря, но в данный момент мы от нее отрезаны. Все по-прежнему такое же иссушенное и безжизненное.

В самый разгар жары на первый план выходит Фрейя. Мы с Мартой купаем ее страдающее маленькое тельце с помощью ваты, смоченной в розовой воде, когда к нам приходит Тобиас.

— Давайте сходим к заводу с невидимым краем. Пожалуйста, — просит он. — Я должен поплавать.

— Скоро пойдет дождь — должен пойти, — говорю я.

— Ты же сама знаешь, что здесь бывает, когда идут дожди. Они могут лить неделями. И это может быть моей последней возможностью поплавать. К тому же мы еще не показывали заводь Марте.

— Я не могу, — говорю я. — Сейчас слишком жарко, чтобы брать Фрейю с собой, а Ивонн сегодня нет. Теперь, когда моя мама и Керим ехали, уход за ребенком — дело не такое простое, как это было раньше.

---

<sup>1</sup> Верующая (*фр.*).



— Тогда попроси Лизи, — говорит Тобиас.

— Думаю, что было бы неразумно просить ее присмотреть за ребенком, когда она останется здесь одна.

— Не говори глупости, — говорит он. — Лизи, может быть, и чокнутая немного, но к Фрейе она относится хорошо.

— Сейчас она уже намного лучше присматривает за ней, — говорит Марта. — Мне кажется, это будет очень полезно для ее самооценки, если ты доверишь ей одной ребенка на пару часов.

Когда я нахожу Лизи, заглянув в ее невероятно жаркий морской контейнер, меня поражает то, как болезненно она выглядит. Она ни на йоту не напоминает ту уверенную в себе энергичную девушку, какой была несколько недель назад. При упоминании о том, что нужно посидеть с ребенком, глаза ее загораются. Она с большим энтузиазмом отзывается на это предложение и кажется очень довольной.

Я думаю: Тобиас и Марта правы, Лизи не имеет в виду ничего плохого, и если мы возложим на нее ответственность, покажем, что доверяем ей, это, возможно, будет как раз то, что девушке сейчас необходимо. И еще я пытаюсь не замечать тихий голосок где-то в глубине сознания, который подсказывает мне, что теперь я могу позволить себе испытывать судьбу с Фрейей, поскольку под сердцем у меня растет другой ребенок.

Мы с Мартой и Тобиасом идем к заводу с невидимым краем. Тропа приводит нас вплотную к дереву с домом Жульена, и Тобиас настаивает на том, чтобы побежать вперед и поинтересоваться, не присоединится ли тот к нам. Он возвращается, качая головой, и я вновь задумываюсь, не избегает ли Жульен меня.

— Я пригласил его пообедать с нами на празднике в Рье в эту субботу, — говорит Тобиас. — С тем, что мы угощаем.

Чистая горная вода в заводе приносит восхитительное облегчение. Я погружаюсь в нее, как в купель при крещении, и думаю: я беременна, и теперь все по-другому. И конечно же, я чувствую, как смываются все мои тревоги и предубеждения, а моя обновленная сущность наполняется оптимизмом. От ледящего холода воды перехватывает дыхание, когда мы



плещемся под естественным водопадом, который бьет прямо из скалы. Плавая после этого в просто холодной воде заводи, чувствуешь такое расслабленное блаженство, словно погрузился в теплую ванну.

Деревенские ребяташки, которые также плавают в заводи, вдруг издают громкий крик и дружно бросаются заглянуть за каменный край природного бассейна. Мы следуем за ними и видим четырех молодых диких кабанов, которые пьют воду из реки как раз под нами. Они игнорируют нас со всем упрямством юности. Потом они бегут по мелководью, вытянув сзади свои хвостики и трясая на ходу рыльцами: дикие, доисторические и свободные.

Мы с Тобиасом с улыбкой переглядываемся. Поддавшись мгновенному импульсу, я наклоняюсь к нему, сжимаю его руку и шепчу:

— Я беременна.

От удивления он широко раскрывает свои голубые глаза. Затем он тянется ко мне, чтобы обнять, и мы тихо и счастливо смеемся, радуясь этому. Для меня наступает момент прозрения. Этот ребенок — дар. Я буду наслаждаться своей беременностью и верить в это.

Радостное настроение сохраняется и по дороге обратно. Тобиас говорит:

— Давайте отменим поход в Рьё и вернемся в Ле Ражон этой дорогой. А Марта получит возможность увидеть красивый вид на наш дом с расположенных ниже виноградников.

Виноградники Людовика буйно зеленеют сочными листьями и покрыты тяжелыми гроздьями уже начавших темнеть ягод, которые вызывают мысли о разгульных застольях.

— Неудивительно, что они у него лучше. Он же их поливает, — говорю я. — Смотрите, в междурядьях течет вода.

В это время года мы привыкли видеть у себя в канавках между лозами только пыльные сухие камни, а тут они блестят влагой.

— А как же он поднимает сюда воду? Ведь это выше, чем наш дом. К тому же полит не весь виноградник, а только не-



сколько рядов посредине, — говорит Тобиас и добавляет: — Это больше похоже на потоп.

Секунду мы смотрим друг на друга с чувством нарастающей тревоги.

— Наша цистерна... — говорит Тобиас.

— Фрейя, — шепчу я, и страх сдавливает мне горло.

Мы бросаемся бежать вверх по склону прямо через виноградник, следуя по следам потока воды.

Вскоре показывается Ле Ражон, но у нас нет времени наслаждаться его видом. Со двора до нас доносится какой-то звук, похожий на причитание.

Крышка цистерны открыта, являя собой страшную черную дыру, похожую на свежевыкопанную посреди нашего двора могилу. Рядом с ней стоит коляска Фрейи, завешенная кисеей. Безмолвная, как сама смерть.

Горло у меня так перехватило, что мне трудно дышать, — как в одном из тех ночных кошмаров, когда пытаешься что-то сказать, но это никак не получается.

— Фрейя! Фрейя! — удается выдать мне. — О господи, Фрейя, что я наделала?

Ноги мои плохо меня слушаются. Шатаюсь, я делаю шаг к коляске и сдергиваю ткань.

Там лежит Фрейя и мирно спит. Я выхватываю ее оттуда и крепко прижимаю к себе. Она просыпается и начинает молотить по сторонам руками и ногами, недовольная, что ее беспокоили.

Тобиас мрачно смотрит на цистерну.

— Она пуста, — говорит он. — Было открыто сливное отверстие.

— Тобиас, — тихим голосом говорит Марта, — там на балконе кто-то есть. Стоит на перилах.

Это Лизи, ее длинные черные волосы в беспорядке распущены по плечам. Она раскачивается, стоя на поручнях балкона, словно не решается прыгнуть вниз.

Тобиас ругается и бежит в дом.

— Он не успеет! — охает Марта.





Я бегу под балкон и смотрю на нее снизу вверх, такую маленькую и невероятно бледную, покачивающуюся на краю перил.

— Лизи! — кричу я. — Стой на месте! Не шевелись! Тобиас тебя сейчас снимет!

Лицо у нее мокрое от слез.

— Тобиас, — одними губами произносит она и, подняв две руки над головой, клонится еще больше в мою сторону.

В этот момент за ее спиной появляется Тобиас, его крепкие руки ловят девушку, и он сдергивает ее назад, на себя.

Когда мы подбегаем к ним, он прижимает ее к груди и укачивает, издавая какие-то тихие звуки, как будто успокаивает маленького ребенка. Лизи рыдает. Это первое проявление настоящих эмоций с ее стороны, которое я вижу в последнее время.

— Мне не удалось, — повторяет она. — У меня должно было хватить смелости, чтобы прыгнуть.

\* \* \*

Мне приходит в голову, что у нас с Тобиасом у каждого есть свои способы бегства от реальности. Они таковы.

Я: Борюсь с мышами. Готовлю еду. Сад-огород. Раскладываю что попало по банкам.

Тобиас: Уходит в свою студию звукозаписи. Пишет музыку. До последнего времени флиртует с Лизи.

Наши совместные пути отхода: Черный юмор. Делаем вид для самих себя, что с нашим ребенком все в порядке. Допускаем всякие безумства.

Я задумываюсь над тем, не являются ли приступы Фрейи тоже своего рода бегством. Я часто замечала, что они проходят тяжелее, когда она в стрессе или перегружена, — возможно, они срабатывают как некий предохранительный клапан, позволяющий ее мозгу отключаться тогда, когда он уже не держивает.



Этим летом во второй раз к нам приезжала скорая помощь на пожарной машине. На этот раз вызов был для Лизи. Сначала я переживала, что они не воспримут наш звонок всерьез. Но, поговорив с ней по телефону с целью оценить ее состояние, французская служба экстренной помощи снова сработала оперативно.

Вместе со спасателями приехал дежурный работник социальной службы — материнского вида женщина, с которой у Лизи, похоже, мгновенно установился контакт. Она сообщила нам, что состояние Лизи оценено как склонность к самоубийству и ей будет обеспечен соответствующий стационарный уход в специализированном учреждении при центральной больнице Монпелье.

В последний раз я увидела ее, когда она, укутанная в теплозащитное покрывало из фольги, прижимаясь к женщине из социальной службы, пытается объяснить, почему она опустошила цистерну. Объяснение это довольно бессвязное — что-то насчет принесения какой-то жертвы, — но все это, похоже, сводится просто к примитивному крику о помощи. У нее никогда не было ни малейшего намерения нанести вред Фрейе.

— У нее обязательно должен кто-то быть. Если не семья, то хотя бы друзья, — говорит всегда практичная Марта. — Анна, мы должны посмотреть ее вещи.

— Это выглядит как вторжение в частную жизнь, — говорю я.

Мы прожили рядом с Лизи несколько месяцев, но ничего о ней не знаем. Глядя в прошлое, я изумлена тем, что мы никогда не понимали, никогда не замечали за всем этим дымом и зеркалами ее чудаковатую, обманчиво прозрачную личность.

Итак, мы с Мартой виновато осматриваем ее морской контейнер, перебираем ароматические палочки, магические кристаллы, четки и пакетики с гималайской горной солью. Но ни одной семейной фотографии здесь нет, не говоря уже о каком-то адресе.

Тобиас лишь ненамного обошел нас, проверяя ее электронную почту: он нашел только одно письмо из агентства по



размещению детей в приемные семьи в США, где ее просили с ними связаться. После долгого обсуждения мы послали короткий ответ на него, указав больницу, в которую ее поместили.

— Мне следовало бы поехать с ней на скорой помощи, — говорю я. — А так это вроде как подтверждает ее мнение, что никому до нее нет дела.

— Даже не думай об этом, — говорит Марта. — Ты не можешь брать на себя ответственность за каждого беспризорного.

— По крайней мере, я должна хотя бы съездить навестить ее.

Но мысль о том, что нужно снова ехать в Монпелье и обратно, мне невыносима.

— Если быть до конца откровенной, проблем у тебя по жизни и так больше чем достаточно, — говорит Марта. — К тому же ты нужна Фрейе здесь.

\* \* \*

Невообразимо сложно выживать в этом месте в августе, не имея воды в кране. Марта как член нашей команды не ропщет: она носит грязную посуду мыть к речке и делает вид, что не обращает внимания на то, что не может как следует вымыть голову. Из-за беременности я боюсь поднимать тяжелое, так что задача наполнения двадцатипятилитровых канистр питьевой водой из коммунального крана в Рье тяжелым бременем ложится на Тобиаса. Мы все купаемся в реке каждый день, и я часто обтираю Фрейю губкой, смоченной драгоценной питьевой водой, опасаясь что в реке она может простудиться или у нее может расстроиться желудок. Мы доведены до крайности и с нетерпением ожидаем, когда придет дождь и мы вздохнем свободно.

\* \* \*

Сегодня в Рье праздник. Пока что это самый жаркий и самый тяжелый день в нынешнем году, невообразимо душный и почти невыносимый. Небо уже не голубое — оно иссушено и имеет злой белесый цвет. К нам идет гроза, но такое впечатление, что она не разразится никогда.



На огороде я не могу удержаться, чтобы не взглянуть на свой компост. Я осторожно поднимаю вилами соломенный покров, и на поверхности показываются тысячи и тысячи личинок. Из собранного Людовиком разлагающегося сырья уже зародилась новая жизнь, но вид ее мне совершенно не нравится.

Мы собираемся у передней двери дома как раз тогда, когда ласточки вылетают, чтобы начать ранним вечером охотиться на насекомых. Ласточки обожают всяких мошек, так что, думаю, мы обязаны за их авиационное шоу нашим многочисленным жукам.

Мы спускаемся туда, откуда виден приткнувшийся у подножия холма Рьё, и ненадолго останавливаемся, чтобы полюбоваться золотисто-красным сиянием его каменных домов, освещенных лучами садящегося солнца. Появившиеся в долине внизу длинные тени похожи на тянущиеся к ним черные пальцы.

Ко времени, когда мы добираемся до места, эти тени уже поглотили Рьё. Сейчас деревня освещена яркими цветными огнями. На площади аккордеонист в берете и повязанном вокруг шеи красном платке играет традиционные *chansons*. Под деревьями танцует несколько пар. Двое мужчин лопатой размешивают в громадном железном чане *moules*<sup>1</sup>, которые жарятся на открытом огне. На вертеле крутится целая свинья, а вокруг стоит толпа мужчин, которые, наблюдая за этим, прихлебывают анисовый ликер и дают разные советы.

Мы робко стоим возле барбекю.

— Странно. Что-то Жульена не видно, — говорит Тобиас. — Как и Людовика.

Я испытываю приступ разочарования. «Это не из-за Жульена», — говорю я себе.

Мы не видим никого из наших знакомых. Местные мужчины игнорируют нас, и мы чувствуем себя здесь туристами.

— Как думаешь, сюда можно только по приглашению? — спрашиваю я Тобиаса. — А Людовик вообще приглашал нас

---

<sup>1</sup> Мидии (*фр.*).



специально? Не уверена, что нам следует быть здесь: все это выглядит как мероприятие для очень близких друзей.

Я подхожу к трем взрослым людям и нахально обращаюсь к ним.

— А вы кто такие? — спрашивают они нас. — Откуда вы?

— Ле Ражон, — говорю я, после чего все собираются вокруг нас, чтобы поцеловать и поприветствовать — это, собственно, и есть специальное приглашение.

Затем появляется Людовик, в кои-то веки должным образом вымытый и в чистой одежде. Увидев нас тут, он сияет.

— Ах, значит, вы все-таки выбрали прийти сюда и быть с людьми с гор, — говорит он. — И не польстились на танцующих девушек из долины.

— Что-то я не вижу Жульена, — говорит Тобиас.

Людовик улыбается:

— Жульен праздновал свое в мае. Немногие из *soixante-huitards*<sup>1</sup> или их детей приходят на этот праздник — его организуют *paysans*, семьи, которые живут тут много поколений.

Мы занимаем свое место за большими, установленными на козлах столами рядом с горсткой других иностранцев. Блюда сменяются очень быстро и в таких громадных количествах, что мне кажется, будто на нас обращено особое внимание. Сначала они подкладывают и подкладывают в наши тарелки печеных мидий, пока мы уже чувствуем, что при виде хотя бы еще одной мидии просто умрем на месте. Потом они приносят большие ломти хлеба, на которых толстым слоем намазан *pâté*, после чего приходит очередь огромных кусков жареной свинины с белой фасолью, которая плавает в свином жиру.

Я сижу рядом с аккордеонистом, дружелюбным мужчиной средних лет с озорным огоньком в глазах, который оказывается немцем.

— Когда вы сюда переехали? — спрашиваю я.

---

<sup>1</sup> Участники и сторонники событий 1968 года, когда во Франции имел место социальный кризис, вылившийся в демонстрации, массовые беспорядки и всеобщую забастовку (*фр.*).



— О, — говорит он, — еще в семидесятых. Предполагалось, что это всего на месяц, но потом я влюбился в девушку и написал своему работодателю, что увольняюсь.

— А с девушкой что случилось?

— Она вышла замуж за банкира с севера, — говорит он.

Мы все смеемся, он корчит смешную гримасу и поднимает за нас тост. По другую сторону от меня молодая женщина, которая недавно переехала сюда из Голландии, начинает жаловаться мне на свою жизнь. У нее есть семилетняя дочка, и она чувствует себя связанной ею. Ей хочется в зимние месяцы уехать на Гоа, но девочка в это время ходит в школу. Я перевожу взгляд с ее капризного лица на бодрого немца, покинутого его девушкой, и удивляюсь тому, что люди иногда могут быть абсолютно неунывающими, а порой их так легко вывести из себя.

Мысли мои возвращаются к бедной Лизи, к ее словам насчет того, что жизнь никогда не обливала меня дерьмом. Я не знаю точно, что она имела в виду, возможно, что меня всегда любили, — моя мама любила, по крайней мере, если не кто-то другой. Такая любовь — это почва, удерживающая на месте наши корни. Без нее не остается ничего, что удержало бы нас от падения.

Начинается гроза, и небо прорезают стрелы молний. Но старые *paysans* предпочитают сидеть под проливным дождем и доедать свою еду, а не бежать в укрытие, потеряв без толку свои пятнадцать евро.

— Bay! — говорю я, глядя на дальние холмы, пока дождевая вода заливаает наши тарелки. — Эг немало заплатил за свой фейерверк.

— Как они могут себе все это позволить? — спрашивает Тобиас.

— Боже мой! — возмущаюсь я. — Это не фейерверк — это молнии.

Над холмами бушует гроза. В землю бьют разряды молний, а по небу проносятся какие-то огненные шары. Сигнал о том, что мы переходим в осень, откуда двинемся в зиму, и все то,

что так расточительно растет сейчас, снова умрет. Но за зимой приходит весна, а когда разлагается старое, на его месте вырастает новое.

Мы все пьем густой черный кофе и *digestifs*<sup>1</sup> под теплым летним дождем. Фрейя, которую я завернула в плащ, передается из одних рук с узловатыми пальцами в другие, вокруг нее воркуют и вообще всячески суетятся.

Всем интересно узнать о том случае, когда мы вызывали для нее скорую помощь. Все начинают вспоминать, где кто из них был, когда на наши холмы примчались *sapeurs-pompiers*<sup>2</sup> — точно так же, наверное, люди могли бы обсуждать убийство Джона Кеннеди. И я вдруг понимаю, что наша судьба поразительным образом начинает связываться с их судьбами — маленькие побег жизни, которые переплетаются, как виноградные лозы.

---

<sup>1</sup> Спиртные напитки в конце еды, способствующие пищеварению (фр.).

<sup>2</sup> Пожарные (фр.).

# Сентябрь



Гроза принесла с собой прохладную погоду. Искупительную прохладу, приглашающую нас подвести некоторый итог, продолжить нашу жизнь, унести от чистого безумия последних недель.

Этим утром я первым делом принимаюсь собирать тыквы, которые выросли на огороде. Дождь очень быстро накачал их до таких размеров и такого веса, что для их перевозки я пользуюсь тачкой.

Внезапно у меня начинается приступ тошноты. Я бегу в ванную, и там меня вырывает. Во рту я ощущаю странный металлический привкус, груди болят, я чувствую себя полностью разбитой. Но это совершенные пустяки по сравнению с моей предыдущей беременностью, когда мне казалось, что кто-то невидимой рукой поставил на максимум все регуляторы моих физических ощущений. Я опираюсь на край раковины и с беспокойством думаю, достаточно ли сильно меня тошнит.

Внутренность тыквы имеет насыщенный оранжевый цвет; когда разрезаешь ее, кажется, что режешь плоть какого-то животного. Нож погружается в ее внутренности, оттуда выступает сок, который оставляет пятна на лезвии. В нос бьет замечательный запах — что-то среднее между огурцом и дыней. Они будут кормить нас всю зиму, если только я найду способ, как их сохранить.

Стерилизация таких слабокислых овощей, как тыквы, мудренее, чем фруктов с высоким содержанием кислот, с которыми я имела дело до сих пор. Они таят в себе особую опас-



ность: в них может быть смертельный микроб ботулизма, способный размножаться в моих стеклянных банках без воздуха. Для полной безопасности консервов необходим автоклав с давлением — оборудование, которого во Франции нет.

Утро я провела на кухне, читая и размышляя. Два вида ботулизма погибают только при громадных температурах: более 121 градуса по Цельсию. Однако эти виды издают неприятный запах. Еще два вида, которые могут убить, не имеют вкуса и запаха, но сами гибнут при простом кипячении. Поэтому, если я нормально прокипячу свои банки для консервирования и выброшу все, что при разрезании плохо пахнет, опасность — теоретически — будет невелика.

Но когда вы беременны, все меняется. Вы не можете позволить себе рисковать. Меня приводит в ужас мысль, что в моих банках могут невидимо размножаться микробы. Я буду чувствовать себя в безопасности только в том случае, если буду точно знать, что они были полностью истреблены — все до единого.

Я говорю себе, что должна доверять природе. Если эмбрион хороший — природа сама защитит его. Если он нехороший — я с этим ничего поделать не смогу. При беременности, как и при консервировании, не может быть никаких гарантий.

Сегодня днем я обнаружила у себя капельку крови. Тест на беременность по-прежнему позитивный. С Фрейей у меня тоже показывалась кровь, но я не хочу рисковать. Я звоню доктору в Эг, которая относится ко мне с сочувствием и пониманием.

— Позитивный тест крайне редко бывает ошибочным. Вы чувствуете себя беременной? Ложитесь сейчас в постель, а я запишу вас на сканирование на завтра, во второй половине дня.

\* \* \*

Я просыпаюсь с мыслью о сканировании. Тобиас приносит мне кофе в постель.



— Я бы предпочла зеленый чай, там меньше кофеина, — говорю я.

— Не смеши меня.

У нас происходит неслабая перебранка. Я кричу ему:

— Почему я не могу пить то, что мне хочется?

Тобиас вопит мне в ответ:

— Так значит, нас ожидает еще девять чертовых месяцев всего этого безумия?

В конце концов я делаю глубокий вдох и говорю:

— Они никогда не исключали возможности того, что все дело в дефектном гене, возможными носителями которого являемся мы, и если это так, тогда один шанс из четырех, что этот ребенок родится таким же, как Фрейя. Тобиас, неужели ты не видишь, что я цепенею от страха?

Злость его рассеивается.

— Это не дефектный ген. Они не смогли его найти. А если бы и был, все равно существует семьдесят пять процентов вероятности, что ребенок будет здоров. Послушай, Анна, если происходит что-то ужасное, совершенно нормально попробовать разобраться в том, что было не так и почему. Но иногда нужно принять то, что случилось, просто так, без всяких причин, или то, что причину мы никогда не узнаем. Самое сложное — иметь дело с неопределенностью.

Все утро я провела за тем, что заканчивала писать свой официальный запрос на получение разрешения открыть в Ле Ражоне кулинарную школу местной кухни — впечатляюще толстое досье, которое несколько недель провалилось в наполовину заполненном состоянии на столе в гостиной. То, что я в конце концов закончила все это, было моей небольшой взяткой карме, чтобы сканирование прошло успешно.

Мы договорились, что возьмем Фрейю с собой на сканирование, чтобы не оставлять ее с Мартой, а по пути заедем в Эт пообедать.

— Я оставлю свой запрос в мэрии, пока они не закрылись на обеденный перерыв, — говорю я как раз, когда на площади к нам подходит Людовик.

В руках у него букет гвоздик. В походке его появилась новая упругость, он кажется чище, а его охотничья шляпа выглядит просто подозрительно: как будто ее чистили щеткой.

— Я иду в кафе к Ивонн, — говорит он. — Надеюсь, что она будет *gentille*<sup>1</sup>.

— Людовик... не хотите ли вы сказать, что...

— Я написал ей письмо. Может я и старый, но я солдат. Я знаю, как вести военные действия.

— Пойдем, — говорит мне Тобиас, — ты можешь отдать свое досье и позже. Прямо сейчас самое главное в нашей жизни — это, понятное дело, выяснить, что он написал в своем письме.

Мы идем за Людовиком в кафе Ивонн. Он с поклоном вручает ей свои гвоздики, а затем усаживается за бывший столик Жульена — самый ближний к барной стойке.

— Блюдо дня сегодня — *museau de porc*. Нос свиньи, — говорит Ивонн, которая выглядит очень уставшей.

Как раз в этот момент в кафе заходит Жульен. Он смотрит на меня и, похоже, колеблется, готовый тут же выйти. Но когда он замечает Людовика, то явно передумывает и садится как можно дальше от нас. Ивонн игнорирует его.

— Пожалуйста, Ивонн, — говорит Жульен, — не могла бы ты подойти сюда и обслужить меня?

— Я получила письмо от поклонника, — с вызовом говорит Ивонн, обращаясь, правда, к нам. — Я вам его прочту: «Ты прекрасно готовишь. Ты очень красивая. Мы с тобой оба одинокими. Я хочу предложить тебе выйти за меня замуж, а также мои виноградники и дом». — Людовик самодовольно ухмыляется и приподнимает край шляпы. — Что ж, — говорит Ивонн, — стиль, возможно, и не самый изысканный, но зато сразу переходит к делу. В отличие от некоторых.

За едой мы с Тобиасом снова начинаем ссориться. УЗИ нужно проходить в центральной больнице Монпелье, и, пока мы там будем, я хочу навестить Лизи.

---

<sup>1</sup> Добрая, благосклонная (фр.).



Я чувствую себя виноватой, что не сказала Тобиасу о страсти Лизи к нему раньше и что не сделала ничего, чтобы как-то помочь ей. Я считаю, что поддержать ее — это наш долг. Но, к моему огромному удивлению и раздражению, Тобиас против этого визита. Причины я понять не могу. Он ведет себя по отношению к ней как-то робко, как будто она чем-то держит его.

К тому времени, когда приносят наш кофе, мы уже допрекалились до точки и затихли. Я раздраженно смотрю в окно и вижу мэра, который шагает через площадь. Муниципалитет закрыт на обеденный перерыв, но если побегать, то я смогу передать ему свое досье лично в руки. Я догоняю его возле мемориала жертвам войны.

— А, англичанка, которая вдыхает в Ле Ражон новую жизнь, — говорит он мне. — Вам сейчас хватает воды?

Я киваю и смущенно улыбаюсь, а сама думаю, какие именно слухи докатились до него относительно событий в Ле Ражоне.

— Я слышал, что вы открываете кулинарную школу. Розе бы это очень понравилось. Она умела великолепно готовить. Я вздрагиваю.

— Вы знали... Розу?

— Конечно. Все люди моего возраста знали ее. Она была моей учительницей, когда я ходил в *maternelle*<sup>1</sup>.

Мы оба машинально смотрим на памятник. На нем также есть имя Розы. Оно записано отдельной строчкой, сразу под списком партизан, которые погибли при нападении немцев. «Роза Доннадье, герой Соппротивления. 1944».

— Вы не должны верить всем этим легендам про *маки*, — говорит мэр. — Конечно, через фильтр времени многие вещи идеализируются. Но, поскольку вы иностранка, вам я могу откровенно сказать, что в конце там появилось много грязи. В последнюю минуту к ним примкнули всякие подонки об-

---

<sup>1</sup> Детский сад (фр.).

щества, которые хотели доказать, что они во время войны были на правильной стороне баррикады. Там были информаторы, много доносов. Были инциденты...

— Инциденты?

— Там был один парень из Эга, немного *bavard*<sup>1</sup>. Он проболтался немцам, что в этом районе есть *маки*. Не думаю, что он сделал это умышленно, но кто-то его подслушал. *Маки* поймали его, отвели в лес и загнали под ногти бамбуковые щепки.

— О господи! Неужели и Роза имела к этому какое-то отношение?

Сама того не замечая, я затаила дыхание, пока он не ответил:

— О нет, вовсе нет! Она была необыкновенной женщиной, — и я слышу собственный облегченный выдох. — Лучшее, чем ее сын, — добавляет он.

— Но ведь Людовик тоже был героем Сопротивления, разве не так? По крайней мере, у него есть медали.

— Они получены тогда, когда мы пошли сражаться на север, уже в конце 1944-го. После того, как... — Мэр замолкает, и выражение его лица становится непроницаемым. — Но я не люблю говорить о таких неприятных вещах. Вокруг этого ходят всякие слухи. Когда увидите с ним в следующий раз, сами спросите у него, как умерла его мать.

Сколько я ни стараюсь, больше не могу вытянуть из него ни слова.

— Я принесла вам досье для открытия школы, — говорю я. — Но должна признать, я немного волнуюсь, что они могут не дать мне на это разрешение. Потому что у нас нет централизованного водопровода.

— Тут у нас, — говорит он, — мы стараемся не выносить сор из избы. Если плановый отдел не спросит про воду, вы не обязаны заострять на этом их внимание. От себя я добавлю

---

<sup>1</sup> Болтун (*фр.*).



сопроводительную записку, где будет сказано, что, как я считаю, кулинарная школа будет способствовать развитию туризма. Это будет хорошо для нашего региона.

\* \* \*

По дороге в Монпелье наш с Тобиасом спор насчет Лизи возобновляется. Он тянется без особого энтузиазма, по кругу, пока мы не доезжаем до шлагбаума при въезде на автостраду, где к нам подходит худая, слегка сутулящаяся молодая женщина. Я думаю, что она попрошайничает, но вместо этого она спрашивает:

— Могли бы вы подвезти меня до Монпелье?

— Конечно, — без колебаний отвечает Тобиас. — Мы с удовольствием подбросим вас. А с какой целью вы туда едете?

— Из-за бабушки. Она там в доме для престарелых. Хочу навестить ее.

С виду она очень нервничает. В ее поведении чувствуется некая странность, какая бывает у людей, которые пытаются раздобыть деньги на наркотики: они озабочены вовсе не тем, о чем они вам говорят. Но денег она у нас не попросила.

Я предлагаю ей сесть на переднее сиденье, тогда как сама, скрючившись, устраиваюсь сзади, рядом с Фрейей, на всякий случай взяв в руку винную бутылку в качестве оружия. Тобиас, напротив, спокоен и расслаблен; очень скоро он разговаривает ее настолько, что она рассказывает нам историю своей жизни.

— Я работаю в конторе для физически и умственно неполноценных людей, — говорит она. — По правде говоря, я и сама неполноценная. У меня есть проблемы. Все дело в моем мозге: он работает не так, как у других.

«Возможно, — размышляю я, — Франция — хорошее место для людей со всякими расстройствами. У этой девушки есть работа и своя жизнь. В Англии она вполне могла бы оказаться на улице».

Тобиас улыбается ей своей ободряющей улыбкой, и я чувствую, что его обаяние срабатывает. Она преображается прямо на глазах и раскрывается перед нами.

— Я уже говорила вам, что я вдова? Мой муж тоже был инвалидом. Мы познакомились с ним на работе. Он умер восемь недель назад.

Без всякого перехода она начинает плакать. Тобиас тянется к ней и похлопывает ее по руке.

Мы высаживаем ее перед домом для престарелых в центре Монпелье и смотрим, как ее сгорбленная фигурка неуверенной походкой идет к двери.

— Бедняжка, — говорю я.

— Послушай, — устало говорит Тобиас, — если ты хочешь после УЗИ навестить Лизи, давай. Ты права. Мы несем ответственность за нее. Но я думаю, что это не очень удачная мысль, чтобы я тоже пошел с тобой. Я, между прочим, думал и беспокоился насчет своего... поведения.

— Оно было ужасным, — обрываю я его. — О'кей, то, что она флиртowała с тобой — подумашь, большое дело. Она еще ребенок. Но вот ты ни в коем случае не должен был отвечать ей. Что на тебя нашло, черт поberi?

— Это трудно объяснить, — говорит он. — Вот когда ты готовишь, у тебя никогда не бывает такого чувства, что ты занимаешься делом, которое выполняешь лучше всех в мире? Что ты находишься на самой вершине и что все в твоих руках делается как бы само собой?

Я неохотно киваю.

— Я испытывал такое раньше, когда писал музыку, но в последнее время музыка моя застопорилась. Единственное, что я хорошо умею еще, — это нравиться людям; я только что сделал это с той женщиной. Я получил кайф оттого, что помог ей выбраться из своего панциря.

Я годами жила с последствиями этого непринужденного обаяния Тобиаса. В каком-то смысле, я его жертва. Но, похоже, он искренне потрясен своим опытом с Лизи.

— Я думал, что мы с Лизи просто дурачимся, но теперь, оглядываясь назад, становится понятно, что она была в ужасном состоянии. Я думал, что помогаю ей, но теперь у меня такое чувство, что я использовал эту бедную девочку. Я не был



для нее хорошим другом. — Следует секундная пауза. — Я боюсь увидиться с ней снова. Боюсь, что, если она увидит меня, это может снова подтолкнуть ее к самоубийству или к чему-то, столь же ужасному.

— Не говори глупости, — возражаю я.

Но он качает головой:

— Пойди к ней сама. Я позабочусь о Фрейе и подожду тебя в кафетерии.

\* \* \*

Доктор, который будет делать мне УЗИ, заинтересовывается Фрейей. Когда мы говорим ему, что ультразвуковое сканирование в Англии не выявило ее дефектов во время моей беременности, он хмурится.

— Я всегда замечал отсутствие мозолистого тела. Возможно, мне просто везло, — говорит он и показывает нам картинку на обложке своего учебника. — Вот так выглядит отсутствие мозолистого тела.

— А как мы можем быть уверены, что дело не в рецессивном гене? Что то же самое не случится с моим следующим ребенком?

— Боюсь, что мы не в состоянии точно определить это до поздних сроков беременности. Я направлю вас к генетику, и там вас очень тщательно просканируют. Вероятно, вам предложат пройти МРТ плода, где-то приблизительно на двадцать шестой неделе. Однако, учитывая тот факт, что не удалось выделить этот ген в Великобритании, представляется маловероятным, что это повторяющаяся проблема. От себя советую вам расслабиться и наслаждаться своей беременностью.

Затем наступает время сканирования. Он сразу же говорит:

— Вот! — И там действительно виден маленький шарик. Всего один, но зато в правильном месте. Мы видим какую-то пульсацию — еле заметную, трепетную, — а доктор довольно мычит и говорит: — Это бьется сердце.

— А какой... может быть максимальный срок зачатия? Просто на случай, если я его неправильно определила, — го-



ворю я как можно более небрежным тоном. — Может ведь такое быть, что это произошло менее пяти недель назад, а не семь недель...

— Ох, дорогая моя, — говорит Тобиас. — Все-то ты перепутала.

Я чувствую, как краснею; доктор смотрит на меня прищурившись, а может, это мне только кажется.

— На этой стадии срок можно определить очень точно, — говорит он. — Судя по сердцебиению, с момента зачатия прошло по крайней мере семь недель. Меньше этого быть просто не может.

Это ребенок Тобиаса. Я чувствую прилив беспричинной радости. В конце концов жизнь моя возвращается в привычную колею.

\* \* \*

Лизи находится в специальном отделении для молодых людей с психическими проблемами на территории центральной больницы Монпелье. Коридоры здесь увешаны громадными картинами с арктическими пейзажами. Я иду меж белых медведей и айсбергов. У каждого пациента здесь своя отдельная палата, а на двери висит табличка с именем в форме какого-нибудь животного. Для Лизи это пингвин. Я стучу и после минутного замешательства слышу приглушенный голос:

— *Entrez*<sup>1</sup>.

Она выглядит хуже, чем когда бы то ни было на моей памяти, и хуже, чем я могла себе представить: кожа да кости, на лице резко выступают скулы, под глазами черные круги. Ее дрожь превратилась в тремор, от которого сотрясается ее тело, голос, каждое движение.

В первый момент она, похоже, не узнает меня. А когда все же узнает, по впалым щекам ее начинают течь тихие слезы, а меня переполняет жалость к этой девочке, которой бы жить

---

<sup>1</sup> Войдите (фр.).



и цвести и с которой, как я теперь убеждена, мы обращались жестче, чем она того заслуживала.

— Анна, — отрывисто говорит она. — Вы пришли.

Ее похоже на палки руки тянутся ко мне, и я делаю движение ей навстречу, обнимаю ее, но осторожно, потому что опасуюсь, как бы у нее внутри что-нибудь не хрустнуло. Желудок у меня сжимается от мучений, боли и угрызений совести. Она ребенок. У нее абсолютно никого нет. Возможно, мы с Тобиасом и не выбирали этого, но мы у нее *in loco parentis*<sup>1</sup>. И никакие наши собственные страдания, никакие личные проблемы не могут быть оправданием того, что у нас не хватило доброты поддержать ее.

— Мне очень жаль, — говорю я. — Прости, Лизи. Я должна была приехать раньше.

Приглушенный голос эхом вторит мне.

— Мне очень жаль, простите... — Голос ее срывается, и только тихо текут слезы. Когда она заговаривает снова, ее речь так невнятна, что я едва могу разобрать слова: — Знаете, я не пыталась покончить с собой.

Я понятия не имею, правда это или нет.

— Молчи, — говорю я. — Я знаю.

— Мне просто... было необходимо, чтобы что-то *произошло*. Что-то, что изменило бы мою жизнь.

— Конечно, это было необходимо, дорогая.

Я ловлю себя на том, что копирую любимое словечко моей мамы. Образец взят из моего собственного детства: я сейчас так же, как мама, обнимаю ее, глажу по голове, произношу ничего не значащие слова и издаю успокаивающие звуки, предоставляю возможность поплакать, даю ей выговориться.

— Мне написали из агентства по подбору приемных семей, — говорит она. — Моя биологическая мать хочет со мной связаться, но... сейчас я слишком слаба. Так что это было бы плохой идеей.

— Твоя мама?

---

<sup>1</sup> Вместо родителей (лат.).

Вялость в ее голосе сменяется тяжелыми рыданиями.

— Ну почему она не могла оставить меня при себе? Неужели со мной что-то было настолько не так?

Если я отдам Фрейю в приют, она никогда в жизни не сможет такое выговорить. Она будет даже не способна об этом подумать — словами, по крайней мере. Но будет ли она в состоянии *почувствовать* это, испытать чувство, что ее бросили? Сломает ли это ее так же, как сломало бедную Лизи?

— Я уверена, что на то были свои причины, — компетентно говорю я. — Уверена, что у нее были очень серьезные причины, которые могли быть... несущественными, но в тот момент казались ей важными. Лизи, пожалуйста, свяжись со своей мамой. По крайней мере, хотя бы попытайся выяснить, что там произошло на самом деле.

— Но что, если все это было из-за *меня*? — В глазах ее не осталось ничего, напоминающего выдру: никакой веселости или жизнерадостности. Только выражение всепоглощающего неподдельного ужаса.

— Нет конечно же, к *тебе* это не имеет никакого отношения. Лизи, тебя любит столько разных людей. Мы... в смысле, я с Тобиасом... мы оба очень любим тебя.

— Правда? Вы оба?

— Конечно, оба, — говорю я. — И тебе будет лучше потопириться со своим выздоровлением, чтобы ты могла поскорее к нам вернуться. Знаешь, Фрейя по тебе тоже скучает.

— Правда, скучает?

— Ну конечно, скучает. И Тобиас тоже скучает. — Я делаю глубокий вдох. — Лизи, твоя мама, с тех пор как в последний раз видела тебя, каждый божий день скучала по тебе, думала о тебе и переживала, все ли у тебя в порядке.

— Вы действительно так думаете?

— Да, я это *знаю*. Свяжись с ней, и ты тоже будешь знать это наверняка.

— Как я могу так рисковать?

— Лизи, возможно, это твой шанс. Знаешь, как судьба или что-то в этом роде. Снова соединиться со своей матерью.



На мгновение кажется, что она колеблется в нерешительности. Ее тело-тростиночка покачивается. Затем она напрягается, и я понимаю, что снова потеряла ее.

— Нет у меня никакой матери, — говорит Лизи.

\* \* \*

Когда мы возвращаемся, Марта ждет меня. Глазами она выразительно косится на дверь. С тщательно продуманной небрежностью мы вроде бы случайно выскальзываем во двор, чтобы поговорить.

— Это ребенок Тобиаса, — говорю я.

Марта обнимает меня.

— Это больше, чем ты заслужила, грязная искательница приключений, — наполовину смеется, наполовину ворчит она.

И теперь, когда у меня есть все основания радоваться, я ловлю себя на том, что плачу. Потому что, каким бы расчудесным не оказался мой новый ребенок, у меня навсегда останется чувство потери. Потери Жульена, который больше никогда не будет относиться ко мне как к другу. Потери его ребенка, который никогда не родится. Потери Фрейи, которая никогда не будет человеком, каким она должна была стать.

— О боже, Марта, я была такой душой! — всхлипываю я. — Причинила боль людям, которых люблю. Чувствую себя ужасно.

Она обнимает меня, гладит по голове и приговаривает:

— Ну вот, ну вот...

И я наконец понимаю, что в состоянии смятения и потери мне каким-то образом удалось снова сблизиться со своей лучшей подругой.

— Ну, думаю, что эта новая Анна мне вполне по душе, — говорит Марта, когда мои всхлипывания затихают. — Она немного более чудная, чем старая, но зато гораздо более занимательная — не соскучишься.

— Ты хотела быть крестной? — спрашиваю я. — Моего нового ребенка?

— Спасибо, я буду крестной Фрейи, — говорит она. — Я с ней больше связана. С самого начала.

\* \* \*

Не могу поверить, что сегодня последний день визита Марты. Последние драгоценные часы его мы разбазарили, обсуждая с Тобиасом и Мартой, что делать с Лизи. Тобиас совершенно непреклонен в том, что не в ее интересах возвращаться сюда. Я столь же непреклонна, но в противоположном: у нас нет другого выбора, кроме как взять ее к себе. Марта поддерживает меня, потому что она моя подруга. Но я вижу, что на самом деле она считает, что мое собственное психическое состояние сейчас слишком неустойчиво, чтобы взваливать на себя еще одного нуждающегося в поддержке.

Мы соглашаемся, что дело это нужно отложить. Я накрываю стол под деревом во дворе для прощального обеда. Мы отмечаем ее отъезд свежим хлебом, горным сыром из молока лакаунских овец и салатом, сделанным из последних в этом сезоне мясистых — не хуже хорошего стейка — помидоров, сдабривая все это стаканчиком «Сен-Шиньона». Все это время Фрейя спит у меня на руках. Она такая славная, что я не могу удержаться и целую ее ручки; она просыпается и улыбается мне — счастливый ребенок, который радуется тому, что живет.

Я сжимаю руку Тобиаса, а сама думаю о нормальном ребенке, который сейчас растет в безопасности у меня внутри. Нормальный ребенок, который в конце концов даст мне возможность принять Фрейю такой, какая она есть.

После еды мы все едем на вокзал в Эг, и снова я прощально машу рукой человеку, которого люблю. Потом мы едем вверх по склону холма, чтобы вернуться в дом, где Тобиас, Фрейя и я впервые будем жить одни.

Разумеется, в течение дня по несколько раз приходит и уходит Ивонн. И где бы она ни была, за ней следуют ее беспокойные воздыхатели. В настоящее время вокруг нее постоянно отирается Людовик; остановить его я не могу, поскольку он



до конца года имеет право обрабатывать свою половину огорода. На нашей половине неустанно трудится Жульен, и они периодически бросают друг на друга испепеляющие взгляды.

*Pulvérisateur* с «раундапом» в руке Людовика дрогнул и полил грядку цукини, которую Жульен выхаживал после заражения мучнистой росой. Когда я иду нарвать латука к обеду, то вижу, как Жульен перебрасывает на сторону Людовика улиток.

Ивонн наблюдает за этим соперничеством с невинным видом.

\* \* \*

Я купила маленькую резиновую зубную щетку для появившегося у Фрейи зуба. Глупо, конечно, но я возбуждена, думая, как буду чистить ей зуб впервые в жизни. Я понятия не имею, понравится ли ей это и захочет ли она вообще открыть рот. Раньше я никогда не пробовала чистить зубы младенцам.

Я несу ее в спальню и укладываю на кровати на полотенце. Я выдавливаю на щетку крошечное количество пасты и вспениваю ее каплей воды. Потом осторожно подталкиваю все это к ее губам. Она улыбается, и ее рот доверчиво открывается. Похоже, вкус пасты ее заинтересовал. Я с удивлением думаю: сейчас она впервые в жизни попробовала на вкус мяту. Она сжимает резиновую щетку своими челюстями, жадно ее жует, и я понимаю, что у нее на подходе и другие зубы.

Родители нормальных маленьких деток всегда говорят, как это поразительно, когда каждый день замечаешь в развитии ребенка что-то новое. А у Фрейи сверхъестественным кажется то, что все остается, по сути, тем же самым. Мы настроились замечать мельчайшие намеки на изменения. Каждое такое новое открытие — это бесценный самородок, который нужно хранить как сокровище.

Я тщательно чищу ее единственный зубик, а потом вытаскиваю зубную щетку. Она широко улыбается мне своей беззубой улыбкой. На мгновение мы так и замираем, улыбаясь друг другу. Потом Фрейя стонет — такой звук она издает пе-



ред приступом. В привычном ритме начинаются подергивания и судорожные вдохи. Ее челюсти смыкаются, и язык падает под новый зуб. Начинает течь кровь.

Я пристально смотрю на нее. Челюсти сжаты. Я переворачиваю ее на бок, чтобы облегчить дыхание. Кровь изо рта капает на полотенце. Я подпираю ее на кровати подушкой. Она судорожно хватает воздух. На мгновение к ней возвращается сознание, и она стонет.

Ей больно, а я ничем не могу помочь.

Внезапно и очень отчетливо в голове проскакивает мысль: я не могу этого вынести.

Я выхожу из комнаты на крытый переход, тихо закрыв за собой дверь. Я иду и иду по этому мостику и ухожу в длинное строение, где находится амбар. Мне нужно быть уверенной, что я ушла достаточно далеко, чтобы не услышать, если она вдруг опять будет стонать.

Я в маленькой комнатке с соломой на полу, где мы видели сову-сипуху, когда впервые осматривали дом. Может быть, у той совы к этому времени есть уже свои детки. Двигаясь тихо, чтобы не потревожить гнездо, я заглядываю через небольшое отверстие в полумрак сарая. Будет ли он когда-нибудь доведен до состояния, чтобы быть нормальным, чтобы в нем было полно посетителей и смеха? Или же мы так и останемся чудаками, вечно живущими среди развалин?

Мне кажется очень важным сконцентрироваться в данный момент на каких-то деталях, настолько уйти с головой в мое физическое окружение, чтобы в сознании просто не осталось места ни для одной нежелательной мысли. Я изучаю какую-то деревяшку прямо перед собой. Это какая-то примитивная рукоятка, которая, должно быть, использовалась для перемещения тюков сена. В какой-то момент своего существования она явно треснула и была замотана куском грязной цветной ткани. Под слоем грязи я даже могу различить рисунок на ткани. Это роза.

Постепенно меня осеняет, что я рассматриваю обрывок любимого шейного платка Розы. Нашедшего другое применение



и использовавшегося для других целей людьми, которые не могли себе позволить поддаваться сентиментальности.

Неожиданно моя злость обращается на меня саму. Как я могла бросить мою Фрейю посреди приступа? Как я посмела решить, что на свете может быть что-то, касающееся моего ребенка, чего я не смогу вынести?

Я тороплюсь обратно в спальню, где Фрейя лежит в своем полубессознательном после приступа состоянии. Кровь из ее рта течет двумя длинными струйками на белый комбинезончик. На подбородке она уже начала засыхать. Когда я подхожу к ней поближе, она стонет. Я подхватываю ее на руки и прижимаю к своей груди. Она издает низкий дрожащий вопль. Я бережно несу ее вниз и укладываю на столе на ее коврик.

В том месте, где она прокусила язык своим зубом, остался аккуратный треугольный разрез. Меня переполняет сожаление об этом. Теперь у нее навсегда останется это шрам.

Успокоить меня может только Тобиас. Я снова подхватываю ее и ковыляю с ней — прямо в перепачканном кровью комбинезоне — в его звукозаписывающую студию.

Он сидит, поникнув над клавиатурой и схватившись руками за голову.

— Что происходит? — спрашиваю я.

— Только что отпал еще один потенциальный инвестор. Если мы не найдем того, кто заплатит по счетам в самое ближайшее время, они уволят меня — я знаю, они это сделают. У меня такое чувство, что голова сейчас разорвется. Я месяцами снова и снова просматривал эти чертовы сцены; стоило мне написать какую-то музыку, как они тут же все перетасовывали или вообще вырезали. С моей стороны было глупо поверить, что я смогу это сделать. Это мне не по зубам. Я подвожу Салли и всех остальных.

— Ты прекрасный композитор, — говорю я. — Ты просто потерял перспективу, вот и все. Ты выгораешь изнутри.

Он бросает на меня безнадежный взгляд.

— Анна, можно я тебе что-нибудь проиграю? Я хочу этого уже очень давно. Просто я боялся это сделать или еще что-то.



Я, чуть дыша, киваю, боясь вспугнуть его, чтобы он не передумал. Он возится со своим оборудованием, и крошечную студию заполняет музыка.

Я всегда знала, что Тобиас хорошо умеет вызывать определенное настроение. Именно за это его так любят режиссеры-документалисты. Он может взять самый банальный фрагмент и написать к нему что-то такое, что сделает его каким угодно — от устрашающего до комичного.

Но могу сказать, что в этом отрывке чувствуется нечто большее. Мелодия полна острой тоски, и я знаю, что она идет у него изнутри.

— Это самая печальная вещь, какую я когда-либо слышала, — говорю я.

— Я говорил тебе, что мое ощущение удушья просочилось и в мою музыку, — говорит Тобиас.

— Еще ты говорил, твоя музыка могла бы помочь твоему бегству, — напоминаю я ему.

— Знаешь, когда Фрейя была совсем маленькой, — говорит он, — я усаживал ее в перевязь и представлял себе, что она нормальная. Теперь, когда она становится старше, в голове моей по-прежнему есть параллель с ребенком, который развивается нормально и делает вещи, которое должен был бы делать. Большую часть времени я вроде как накладываю эти два образа друг на друга и фантазирую. Ситуация у реальной Фрейи та же самая: она не ходит и нет абсолютно никакой надежды на ее нормальность или хотя бы на прогресс в обычном смысле этого слова. Изменились только мои чувства. И в результате мне кажется нереальной уже вся моя жизнь.

Я протягиваю руку и сжимаю его ладонь.

— У нас будет другой ребенок, — говорю я. — Этот будет уже нормальным. Я это чувствую. Он спасет нас.

— Ох, Анна, как ты не понимаешь? Я смотрю в ее глаза и думаю: «Не существует ничего, абсолютно ничего, чего бы я ни сделал ради тебя». И не имеет никакого значения, черт побери, будет следующий ребенок нормальным или нет. Никто не сможет нас спасти. Мы пропали.



\* \* \*

Тобиас кладет Фрейю в перевязь, и мы отправляемся на долгую прогулку. Сегодня день охоты, но мы уже знаем охотников. Мы выучили их правила.

На холмах лежат теплые и густые облака. От этого чувствуешь себя уютно в ограниченном пространстве.

— Мы как будто в лесу из облаков, — замечаю я.

— Или попали в британское лето, — говорит Тобиас.

Мы идем по хребту дракона, с удовольствием рассматривая у себя под ногами всякие мелкие детали, которые раньше никогда не замечали: обычно в этом месте внимание привлекает открывающийся отсюда вид дикой природы.

— Я читал, что эта дорога относится еще ко временам неолита, — говорит Тобиас. — В средние века она была забита груженными мулами, вдоль нее стояли лавки, где люди обменивались своими товарами.

— Волшебное место, — говорю я и спохватываюсь, не напоминаю ли сейчас Лизи с ее высказываниями.

Облака движутся, позволяя нам ненадолго увидеть прячущееся за ними синее небо. Мы наслаждаемся то появляющимся, то исчезающим видом гор, находим потаенные места, где растут громадные грибы-зонтики и полевые грибы, расположенные причудливыми кольцами. Река очень красива в это время года: быстрая, широкая и с очень прозрачной водой. Мы обнимаем друг друга и вспоминаем, зачем мы здесь.

По дороге обратно Тобиас говорит:

— Иди взгляни на это.

Я иду за ним, ожидая увидеть какую-то новую прелесть. Но это полумертвый, лежащий на боку дикий кабан, еще молоденький, вдвое меньше взрослого, но уже потерявший свою детскую пятнистую шкурку. Я смотрю на полуприкрытый остекленевший глаз, на медленно поднимающийся и опадающий бок. У него во рту и вокруг глаз уже начинают собираться мухи.

Тобиас толкает его палкой; бедное животное с трудом поднимается на дрожащих ногах и медленно идет, шатаясь. В этой



походке есть что-то омерзительное. Его рыло волочится по земле — очевидно, что у него нет сил поднять его, и, когда он продвигается вперед, вокруг его пяточка собирается нелепый пучок сухой травы. Он все время сильно кренится, как будто вот-вот снова упадет. Все это выглядит ужасно уныло и безнадёжно, и я чувствую, что меня тошнит.

— У него сломана челюсть, — говорит Тобиас.

И тогда я замечаю неестественный угол, под которым слишком уж широко открыт его словно зевающий рот.

— Бедняга, должно быть, мучается в агонии.

— Он очень худой, — говорит Тобиас. — Возможно, он вот так шатается уже несколько дней. Нам нужно найти кого-нибудь, кто его прикончит.

— Пойду разыщу Жульена, — говорю я. — Мы сейчас не подалеку от его дома.

Жульен у себя в саду. Я испытываю приступ замешательства. Его взгляд соскальзывает с меня в сторону; у него такой вид, как будто он жалеет, что и сам не может последовать за своим взглядом.

— Жульен! Вы нужны нам, это срочно: там умирающий кабан. Он жутко страдает. Нужен кто-нибудь, кто может убить его.

— Анна, убивать — это вообще-то не по мне.

— Но что мы можем сделать в этой ситуации? Нельзя оставлять его так страдать.

— Раненый кабан. Он может быть опасен. Лучше оставьте его в покое. Никогда не вмешивайтесь в дела природы. — И он отворачивается, пожалуй, даже слишком резко.

Неожиданно я прихожу в ярость. Я инстинктивно чувствую, что мы должны вмешаться. Ему просто не хватает духу сделать это; ему даже не хватает смелости посмотреть мне в глаза.

— Я должна тебе кое-что сказать, — язвительно говорю я. — Я беременна.

Он поворачивается ко мне вполоборота, и его худые плечи слегка наклоняются вперед, как будто он борется с сильным порывом ветра.



— Ну, не молчи. Скажи хотя бы что-нибудь!

И снова его глаза ускользают от моих.

— Знаешь, Анна, — говорит он, — сейчас не время для выяснения отношений. В данный момент мне нужно пространство для самого себя. Надеюсь, ты меня понимаешь.

Я смотрю, как его худощавая фигура отворачивается от меня. Как я могла считать, что он лучше или умнее, чем кто-либо еще? Как я могла воображать себе, что у него могут быть какие-то ответы на мои вопросы? С моей абсурдной страстью покончено.

Я слышу вдалеке звуки *chasse*. Я торопливо иду в этом направлении, пока не встречаю Людовика с охотничьим ружьем.

— Там кабан, он ранен! Он страдает!

Мне кажется, что после всех тех человеческих несчастий, которые ему довелось увидеть, страдания какого-то кабана он серьезно не воспримет. Но как только Людовик понимает, о чем речь, он торопливо идет вместе со мной.

— Не волнуйтесь, Анна. Я положу конец его мучениям.

Несколько секунд мы молчим.

Как только доходим до кабана, Людовик единым привычным движением, без всяких пауз приставляет ружье к голове животного и стреляет. Задние ноги кабана в последний раз конвульсивно поджимаются вперед, все тело содрогается, после чего он замирает.

— Молодой самец, — говорит Людовик. — Должно быть, в него неудачно попал кто-то из охотников. Не все у нас прекрасные стрелки.

— Людовик, — вдруг выпаливаю я, — а как все-таки умерла Роза?

— *La drôle de guerre*<sup>1</sup>, — говорит он и пожимает плечами.

Я не собираюсь снова позволить ему просто так отделаться от меня, как он это уже однажды проделал на День Победы возле мемориала.

---

<sup>1</sup> Странная война (фр.).

— Что конкретно это означает?

Мгновение мы пристально смотрим друг другу в глаза. Наконец он говорит:

— Она пошла предупредить мужчин о нападении немцев на лагерь партизан. Но было уже слишком поздно. Она не смогла пройти через кордон. Снайпер снял ее, когда она уже направлялась домой. Вот я и говорю: *La drôle de guerre*.

Я представляю, как Роза отважно пробирается вперед, чтобы предупредить мужчин, как она теряет жизнь из-за глупой случайности, когда оказалась не в то время не в том месте, как умирала, понимая, что не сумела никого спасти своим героизмом.

На долю мгновения Людовик медлит. Когда он говорит снова, тон его меняется:

— Я не должен был отпускать ее туда. Я жил с чувством... вины... более шестидесяти лет. И много лет я убеждал себя, что бедный Томас был мне наказанием.

Я начинаю качать головой, но он останавливает меня.

— С тех пор как умерла Тереза, я стал по-другому смотреть на многие вещи. Мы думали, что у нас вообще никогда не будет ребенка. Наверное, Томас не был наказанием. Наверное, мы все-таки сделали достаточно добра, чтобы заработать себе чудо — *небольшое* чудо.

Пасть кабана по-прежнему широко раскрыта. Я вижу, что внутри начали прорезаться длинные зубы, которые в зрелом возрасте превратились бы в большие клыки — предмет его гордости. А пока виден всего только кончик одного зуба.

— А может быть, с вашей *la petite* то же самое? — спрашивает Людовик. — Может быть, она тоже чудо, только *маленькое*?

\* \* \*

Мое хорошее настроение улетучилось. В висках пульсирует боль, ломит все кости. Я чувствую себя изможденной и подавленной.

— Тобиас, притормози. Я очень устала и выбилась из сил.



— Тогда присядь, а мне нужно немного пройтись. Я вернусь за тобой.

Я сажусь на ковер из вереска. Когда-то здесь было поле. Сейчас природа забирает его обратно — в точности, как предупреждал Людовик. Сначала появляется вереск, ракитник и ежевика. Они душат более мелкие растения и образуют непроницаемые заросли. Сквозь них не могут пробраться даже животные. Молодые деревца получают шанс прорасти. Через несколько лет здесь уже стоят высокие тонкие деревья, которые, в свою очередь, заглушают ежевику. Через тридцать-сорок лет имеем уже новый неконтролируемый лес. Там, где почва для этого слишком бедна, получаем заросли кустарника, которые на глинистом сланце называются *taquis*, а на известняках — *garrigue*.

Я опускаю глаза. На лиловом вереске видны капли красной крови. Моей крови.

Все, что живет, душит этим что-нибудь другое. Все, что умирает, дает этим дорогу новой жизни.

У этого ребенка еще может быть какой-то шанс выжить. Я знаю, что должна сидеть неподвижно, должна дожидаться Тобиаса, должна успокоиться и думать о хорошем. Но я не могу: мне необходимо, чтобы он был рядом со мной.

Я встаю и бегу.

— Тобиас!

Он оборачивается и машет мне рукой, снова очень бодро.

Я кричу ему:

— У меня кровь!

Сначала он не понимает. А потом широким шагом направляется ко мне с Фрейей, которая подпрыгивает в своей перевязи у него на груди.

— Уже случилось слишком много плохого, — плачу я. — Я этого не переживу.

Не говоря ни слова, он обнимает меня, как будто может просто силой своих рук удержать от того, чтобы я не развалилась на части. Затем он начинает действовать: отводит нас обратно домой, упаковывает противосудорожные лекарства

для Фрейи и ее коляску, грузит нас обоих в машину и везет в отделение скорой помощи в Монпелье.

Даже при максимальной скорости на это уходит полтора часа. Я вижу вспененное море, которое совсем не похоже на Средиземное. Кровь сочится, как из подтекающего крана. Я чувствую, как руки мои колют невидимые иголки. И лениво думаю, за сколько времени может вытечь вся моя кровь.

\* \* \*

Припарковавшись перед больницей, Тобиас бросается внутрь, возвращается с креслом-каталкой, на руках переносит меня в него, а потом еще как-то умудряется толкать его вперед и везти коляску с Фрейей.

В отделении скорой помощи любезная медсестра ставит нас в очередь за агрессивно настроенной женщиной и ее дочерью — причем обе они пришли на своих ногах и, соответственно, чувствуют себя лучше, чем я.

Когда же медсестра наконец замечает громадное кровавое пятно, которое образуется подо мной, ее заметно передергивает. Она сама хватается мою каталку и толкает мимо людей, которые лежат на носилках в коридорах. Ее паника передается и мне.

Первый врач, которого она находит, даже не взглянув на меня, отфутболивает нас со словами:

— Я уже закончил дежурство.

Молоденькая девушка-интерн, бросив на меня беглый взгляд, второпях бросает:

— Извините, — и бежит догонять доктора, который только что отослал нас.

Мир вокруг начинает выглядеть странно и расплывается перед моими глазами. Появляется бригада реаниматоров, которая подключает меня к целой куче своих приборов.

Я слышу, как врач говорит коллеге:

— Эта женщина приехала в отделение, а они даже не взяли анализ крови и не уложили ее под капельницу.

Затем меня отвозят в операционную и усыпляют.



\* \* \*

Когда я просыпаюсь, на меня сверху вниз смотрит Тобиас и улыбается. Я по-прежнему подключена к двум проводам и трясусь от холода под своим одеялом. Тобиас кладет Фрейю рядом со мной на койку, и я ощущаю тепло ее тела, которое, словно печка, прогоняет холод. Тобиас поднимает хромированные перила кровати, и она пристально, не отрываясь, смотрит на них. Через несколько минут она протягивает руку и пытается потрогать блестящий металл пальцами.

Очень скоро им пора уходить. Когда Тобиас хочет поднять Фрейю, та начинает реветь.

Я смотрю на ее разгневанное, сморщенное личико и сама захожусь слезами.

— Фрейя, — всхлипываю я, — ты разбила мне сердце.

Тобиас поднимает ее с моей кровати, и когда тепло ее маленького тела оставляет меня, тут же опять резко накатывает холод.



# Октябрь



Меня одолевает жуткая тоска. Приехав сюда, мы совершили ужасную ошибку. Я рвалась к сверкающему синему морю, цитрусовым рощам, к безветренной погоде и интересным беззаботным местным жителям, а не к этим строптивым французам с их жуткой бюрократией и невежественным убеждением, что их путь является единственно правильным. А еще я испытываю чувство вины из-за Лизи. Я так и не навестила ее еще раз и молчаливо опустила вопрос о том, чтобы она вернулась к нам, когда выйдет из больницы.

Сегодня утром я испытываю кратковременный всплеск энергии и, одевшись, занимаюсь перестановкой мебели в гостиной. Я делаю это сама, потому что знаю: Тобиас будет возражать против любых перемен, но ему будет лень что-то предпринять, чтобы этому воспрепятствовать. Для перестановки нужно двигать тяжеленный буфет и другие массивные вещи. У меня болит живот. Но мой ребенок мертв, так что какой вред это может нанести ему теперь?

На огороде не осталось ничего, кроме цветной капусты. Я приношу одну головку на кухню и еще полчаса выбираю маленьких гусениц, которые забрались в щели между соцветьями. Их там больше пятидесяти. Чтобы извлечь всех, мне пришлось разломать головку на мелкие кусочки. После этой с любовью выполненной работы я готовлю суфле из цветной капусты.

Тобиаса не видно. Откуда-то снаружи доносится какой-то стук.

— Иди кушать, еда готова! — кричу я в открытую дверь. — Это суфле.



— Конечно, иду, — откликается он и, разумеется, никуда не идет.

— Иди есть, негодяй! — неожиданно для себя ору я. — Иди сюда НЕМЕДЛЕННО!

На этот раз ответа нет вообще. Я стою, смотрю, как оседает мое суфле, и представляю себе, какой получится беспорядок, если я сейчас швырну все это об стенку.

Проходит добрых пять минут, прежде чем появляется Тобиас. Я тут же набрасываюсь на него:

— Тебе что, совершенно наплевать на то, что я говорю?

И только теперь я замечаю, что Тобиас очень бледный, и из руки его течет кровь.

— Где ты вообще был?

— На лестнице. Пытался починить желоб на крыше. Как ты меня просила два дня назад. Я тебе утром говорил, что сделаю это. — Он не может удержаться и едко добавляет: — Но ты, очевидно, меня не слушала.

Это злит меня еще больше, поскольку я чувствую, что он выбил у меня из-под ног почву и получил моральное преимущество.

— Возможно, это потому, что ты вечно откладываешь выполнение своих обязанностей, — ворчу я.

— Ты просто все время готова наговаривать на меня, — грустно говорит Тобиас. — Что бы это была за жизнь, если бы я дергался каждый раз, когда ты мне что-то сказала? Сколько времени прошло бы, прежде чем ты наелась бы этим по уши?

На короткий миг я вижу себя его глазами: досаждаю и придираюсь к нему, все больше и больше сходя с ума.

Чуть позже Тобиас приходит на кухню, где я мою посуду, и я говорю:

— Прости, прости, прости. Я тебя очень люблю.

И он, разумеется, говорит, что все в порядке. Но сама я знаю, что на самом деле ничего не в порядке, и моя злость вскоре вскипит снова. И в конце концов это погубит нас.

Раньше, когда кто-то вел себя ужасно по отношению ко мне, а я не могла ничего с этим поделать, я говорила себе: «Ладно,

по крайней мере я не должна быть таким человеком». Но сейчас я такого уже не говорю. Потому что я таки *стала* таким человеком. Я попала в западню внутри ужасного человека, и это какой-то ад.

\* \* \*

Растянув свое пребывание вместе с Керимом и Густавом почти на месяц, моя мама снова живет у себя дома одна. И снова начала бомбить меня своими нелепыми телефонными звонками.

— Дорогая!

— Да, мама.

— По-моему, есть такая организация, которая называется «Орган надзора за телевидением». Это верно?

— Ну да, есть такое.

— Это хорошо. Послушай, дорогая, не могла бы ты позвонить им и сказать, что у меня картинка становится размытой?

— Лучше бы ты вызвала мастера. Должно быть, дело в твоём телеке.

— Нет, не в нём. Я уже вызывала тут одного, так он сказал, что с ящиком моим все в порядке. Я считаю, что это просто неуважение.

Я швыряю телефонную трубку.

— Я по горло сыта всем этим её сумасшедшим бредом, — бушую я. — Она преднамеренно и преступно тянет на себя внимание. Она абсолютно ни о ком не думает, кроме себя самой.

— А ты сама думаешь? — спрашивает Тобиас.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Раньше ты такой не была: ты не была настолько поглощена своим несчастьем, чтобы ни во что не ставить окружающих тебя людей. Ты послушай, что она тебе *не сказала*.

— Например? Что это ты вдруг стал таким сопереживающим?

— Ну, для начала: «Я в ужасе оттого, что ты живешь во Франции с ребенком-инвалидом». Не говоря уже о «Мне



нужно найти подход к тебе, но я слишком горда, чтобы о чем-то просить».

В глубине души я, конечно, понимаю, что он прав: она хочет получить от меня какой-то эмоциональный отклик. Но те годы, которые мы провели, не разговаривая друг с другом, напоминают промерзшую пустошь. Я не могу перейти через нее. И даже не хочу пробовать.

Сегодня утром через щель в двери на пол падает толстый белый конверт. Распечатав его, я узнаю, что теперь я официально имею право открыть в своем помещении кулинарную школу местной кухни.

Мне впору кричать «ура». Я смотрю на Фрейю, которая лежит на своем детском коврикe, и вместо этого заливаюсь слезами.

Я много месяцев с нетерпением ждала этого дня. Планировала его. Надеялась, что он станет переломным моментом. Каждый раз, когда в голову ко мне закрадывалась мысль, что я не справлюсь, я говорила себе, что, когда получу это письмо, жизнь наша каким-то образом станет лучше. И теперь, когда оно наконец пришло, я понимаю, что ничего не изменится. Не может измениться.

Я продолжаю ставить перед собой маленькие цели, но всякий раз, когда я достигаю одной из них, я сталкиваюсь с тем фактом, что ничего не изменилось. То, что было неправильно — неправильным и осталось, и будет таким всегда. Но смириться с этим очень тяжело, и поэтому все, что я могу сделать — это выбрать новую цель и все начать сначала.

\* \* \*

Каштановые деревья за окном стали золотыми. Их колючие плоды раскрылись, и начался еще один изобильный пир. Спелые каштаны блестящие, гладенькие, густого темно-шоколадного цвета и привлекательные, как настоящее сокровище.

Во времена Розы каштаны представляли собой главный урожай года, определявший: сытой будет зима или голодной. Людовик объяснил мне, как *paysans* раньше сушили их в *seccadous* — специальных каменных зданиях, которые до сих пор

разбросаны по деревенской местности. Каштаны были той единственной причиной, по которой вообще существовала далекая горная деревушка, где жила Роза. Она писала:

*Земля здесь слишком скудна для пшеницы. Чтобы выжить, люди рассчитывают на каштаны. Каждый вечер после сбора урожая они сортируют их при свете свечи, снимают с них кожуру и перемалывают в муку.*

Нам следовало бы их собрать. Я должна приготовить *marrons glacés*<sup>1</sup> и *purée de châtaigne*<sup>2</sup>. Но весеннее предсказание Жульена сбывается: я измотала себя.

Даже кормление ребенка — изнуряющее дело для меня. Зачастую я слишком деморализована, чтобы хотя бы попробовать кормить ее грудью. Каждая бутылочка дается с боем. Частенько Фрейя не доедает свою порцию, а если и доедает, то тут же срыгивает. Я всякий раз вскакиваю, когда замечаю какие-то признаки того, что она проголодалась, но обычно ко времени, когда я готовлю ей смесь в бутылочке или показываю грудь, она снова засыпает. Два часа на бутылочку, четыре бутылочки в день. Это восемь часов, которые ежедневно уходят на ее кормление. Это не считая времени, которое нужно, чтобы убрать после того, как ее вырвало.

Каштанам придется подождать. У меня больше нет сил на заготовки. Даже если бы мне удалось убедить Тобиаса помочь мне их собрать.

Сейчас установились дни, когда погода одна из самых лучших в году. Идущие порой дожди чудесным образом из выжженной бурой земли вызвали к жизни полевые цветы и мягкую изумрудную травку. Я предпочитаю это нежное очарование тому бурному росту, который бывает весной: оно более сдержанное, как будто природа уже ведет учет, взвешивая свой следующий шаг.

В обед я кормлю Фрейю слишком быстро. Она срыгивает прямо на меня. Я читала, что ребенку ее возраста необходимо

---

<sup>1</sup> Засахаренные, глазированные каштаны (фр.).

<sup>2</sup> Пюре из каштанов (фр.).



тысячу триста калорий в день. Если нам удастся давать ей семьсот, это уже большая удача. Она худеет. Я думаю, что в данный момент ничего страшного, но больше терять в весе ей нельзя.

Все животные, собирающиеся пережить зиму, делают запасы еды. Высоко на ореховом дереве я замечаю рыжих белок, которые начали собирать грецкие орехи за день до нас. На чердаке полно маленьких тайников с каштанами — крысы тоже запасают их.

На улице еще достаточно тепло, чтобы было приятно находиться на свежем воздухе, но чувствуется, что для замечательной погоды уже наступает *fin de siècle*<sup>1</sup>. И половина мира окружающей нас дикой природы протаптывает тропу к нашей незапирающейся двери в поисках места, где можно было бы перезимовать.

Громадный шершень, покачивая брюшком в каком-то своем странном танце, с жужжанием садится рядом с Фрейей. Я слишком напугана, чтобы попробовать прогнать его — боюсь, чтобы он не ужалил ребенка.

— Тобиас! — зову я. — Тобиас, не мог бы ты помочь мне с этим шершнем?

Но он снова сидит в своем привычном положении в гостиной: склонился над компьютером и не слышит, что бы я ему ни говорила.

На улице кружат еще четыре или пять шершней; наш шершень — это король, который пытается убедить их последовать за ним внутрь дома. Я беру веник и смахиваю его. Он дико жужжит и улетает в открытую дверь.

Вечером Фрейя тоже вырвала всю свою бутылочку. Ночью снова полно ночных бабочек, а цикады в шкафах поют свои прощальные песни.

\* \* \*

— О, здравствуй, дорогая, я просто подумала: позвоню-ка я тебе.

---

<sup>1</sup> Конец века (фр.).



— Мама, у тебя все в порядке? Сейчас пять часов.

— Правда? А мне казалось, что еще не так поздно. Должно быть, я снова задремала.

— Пять часов *утра*.

— Да, дорогая. Я слышу. Я не глухая. Чем занимаешься?

— Я спала. Мама, что вообще происходит? Ты что, не спишь?

— Конечно нет! Я только что с прогулки. Там такая замечательная луна.

— Ты гуляла?

— Ну да, я всегда гуляю после обеда.

— Когда же ты тогда обедаешь?

— В полночь, дорогая.

— Но... не хочешь ли ты сказать, что ты целый день обходишься без обеда?

— О, не говори глупости, дорогая, это же был *завтрашний* обед.

— Мама, прошу тебя, пусть только все это не означает, что я должна буду заботиться еще и о тебе.

— Все в порядке, дорогая. Все предельно просто. Я решила, что главный прием пищи у меня будет в обед. Когда живешь одна, вечер — это действительно пренеприятный момент. А если главный прием пищи происходит в середине дня, получается чуть менее неприятно.

— В середине ночи, ты хотела сказать.

— День, ночь, — говорит моя мама, — они у меня как-то все перемешались.

После ее звонка уснуть я не могу. Фрейя рядом со мной беспокойно ерзает и начинает икать.

Я расталкиваю Тобиаса. Он что-то бормочет, проснувшись только наполовину.

— Мне нужно принести бутылочку, — говорю я. — Не дай ей заснуть, пока я пойду и все приготовлю, хорошо?

На кухне, оставшись наедине с собой, я наслаждаюсь моментом покоя. Может быть, именно поэтому моя мама стала полуночницей? Есть какое-то тонкое счастье в ощущении, что некие тривиальные вещи находятся под твоим контролем



и идут так, как и должны идти. Ритмичное тиканье кухонных часов. Урчание холодильника. Сверкающая чистота каменных плит на полу кухни. Мои стеклянные банки, выстроившиеся рядами на полках.

Готовя бутылочку, я размышляю над вопросом, который крутится у меня в голове с момента рождения Фрейи. Что делает меня матерью? То, что я спускаюсь на кухню и готовлю ей бутылочку, когда она в этом нуждается? Что я всегда маниакально помню названия ее лекарств? Или что удовлетворяю ее потребности, какой бы уставшей и обиженной себя ни чувствовала?

Когда я снова поднимаюсь наверх, Тобиас и Фрейя крепко спят, обхватив друг друга руками. Я осторожно извлекаю ее из его объятий и пытаюсь подсунуть ей бутылочку. Она ее не берет. Вместо этого дугой выгибается назад и прижимает язык к верхнему нёбу, как делала, когда только родилась. Когда взгляд ее падает на меня, ее лицо кривится с выражением укора, она открывает рот и кричит.

Тобиас снова просыпается.

— Дай ее мне, — говорит он. — Тебе нужно срыгнуть? Рыгги-рыг...

Фрейя, как папина дочка, тут же перестает верещать и улыбается ему.

— А знаешь, Анна, — говорит он, — я бы не променял этот опыт ни на что другое. Мы не хотим эту глупую бутылку, правда, Фрейя? Попробуй опять дать ей грудь.

Ее губы щиплют кончик моего соска, и я чувствую, как она едва заметно тянет. Ощущение для меня замечательное, и я догадываюсь, что для нее тоже. Но этого недостаточно, чтобы привязать ее к жизни.

В эти дни Тобиас разговаривает с Фрейей во время ее приступов:

— О, солнышко, нет! Нет! Пожалуйста, не нужно...

Кажется, что к этому он никогда не привыкнет, все время реагируя так, как будто это с ней в первый раз, как будто искренне верит, что, если ему удастся найти правильные слова,



он сможет предотвратить приступ до его начала. Не знаю, помогают ли ей эти разговоры, но похоже, что помогают. Тобиас всегда держит ее на руках и утверждает, что это тоже помогает, но только Богу известно, так ли оно на самом деле.

При виде ее бьющегося в конвульсиях тела эти мысли разбегаются. Есть множество других вещей, о которых нужно переживать. Например, что будет, если крысы начнут бегать по полкам и сбросят мои стеклянные банки на пол?

Завтра поеду в Эг и куплю деревянные шипы. Я воткну их по краям полок, и они не дадут банкам упасть. И тогда моя система будет завершена.

\* \* \*

Единственное, что делает мою жизнь терпимой, — это мысль о двойне. Иногда это девочка и мальчик, иногда — две девочки. Большую часть времени они выглядят совсем как Фрейя. Энергичные, жизнерадостные подобию Фрейи. В отличие от нее, они развиваются. Я сама решаю, какими будут их первые слова и что они предпочитают есть. Я даю им имена, придуываю меню и стараюсь представить себе, что буду чувствовать, когда на руках у меня будет нормальный ребенок, с правильным мышечным тонусом.

Мне представляется необходимым точно установить людей, которых я люблю больше всего на свете.

— Тобиас, я тут подумала. Кого бы ты хотел увидеть у себя в кровати?

Лицо Тобиаса медленно расплывается в улыбке.

— Анна, это ты так пристаешь ко мне?

— Я не это имела в виду. Представь себе идеальное воскресное утро. Тебе уже подали в постель чай в серебряном чайнике, тост из отрубей с домашним вареньем и газеты. Если бы ты мог пригласить побездельничать с собой всех, кого ты понастоящему любишь, кого бы ты хотел увидеть рядом с собой на этой кровати?

— Ну, тебя и Фрейю, конечно, а еще... это ведь для компании, верно? Ну, тогда, думаю, моих друзей из Лондона. И всех,



с кем мы познакомились здесь — Ивонн, Жульена и Керима, даже в бедняге Людовике есть масса хорошего. Лизи, вероятно, нет, хотя я считаю, что тебе определенно нужно в ближайшее время снова съездить навестить ее. И еще моих приятелей из колледжа — некоторых из них я не видел уже очень давно. И конечно, мою семью. Досадно, что моя мама живет так далеко. Эй, пожалуй, и твою маму тоже.

И как раз в этом заключается фундаментальная разница между нами. Тобиас хотел бы позвать с собой на кровать весь мир. А когда в твой внутренний круг входит весь мир, там есть место — безусловно, там есть место — и для одного маленького ущербного ребенка.

А вот я... Я хочу только его и моих идеально нормальных двойняшек.

\* \* \*

— Ты не позвонила поздравить меня с днем рождения.

Моя мама почти плачет в телефонную трубку.

— О боже, прости меня, — говорю я.

— Я ждала целый день. Ты меня уже совсем не любишь?

— Прости меня, я забыла — у нас тут столько всяческих проблем.

— Какого рода проблем? Что там может быть настолько важным, что ты забыла обо мне?

Из-за боли от свеженанесенной раны голос ее звучит как у маленькой девочки. Я уже давно привыкла к тому, что она требует к себе моего внимания всевозможными опосредованными способами, но на этот раз я просто обезоружена искренностью ее страданий.

Выйдя из периода юности, я выработала для себя жесткое и строгое правило: я не пускаю свою мать в мой внутренний мир. Но как бы она ни провоцировала меня к этому, я в ответ не обижаю ее своими рассказами о том, что при этом чувствую.

Я делаю глубокий вдох.

— У меня был выкидыш пару недель тому назад, — говорю я. — Похоже... при этом пострадало что-то из жизненно-

важных органов. Это сильно повлияло на меня, и не в лучшую сторону.

Так у нас происходит нормальный разговор, и, разумеется, она не очень обижается, ведь, по моим словам, я скрыла от нее правду из желания защитить ее от этого, хотя на самом деле я молчала, чтобы защитить себя, а ее наказать.

\* \* \*

Сегодня великолепный день. Я выхожу из двери и оглядываю наш двор. Иногда я даже нахожу усеянную цветами травку и нашу эксцентричную коллекцию каменных строений довольно живописными. Но сегодня я вижу лишь, что отвалился новый большой кусок штукатурки, что валяется груда мусора, который необходимо выбросить на свалку, и что в дворовых пристройках есть тысячи крысиных нор, ведущих прямо в дом. И нам никогда, даже за миллион жизней, не удастся уберечь наш дом от этих крыс.

Я думаю: мой мир вышел из-под контроля. Я не могу управлять собственным мужем или провести грандиозный строительный ремонт, который нам требуется. Я даже не знаю, как долго я буду в состоянии ухаживать за своим ребенком.

Эта мысль отсылает меня в тот крошечный уголок моей жизни, где я неизменно побеждаю в битве с хаосом: на мою кухню.

Мои стеклянные банки надежно закреплены с помощью деревянных шипов. Мне нет никакого дела, что крысы могут бегать между ними и паяться на их содержимое. Отныне все в такой же безопасности, как экспозиция Британского музея. Мне нравится картинка мира, где я отсекала всю неопрятность, грязь и беспорядок. Это превращает меня в хранителя порядка.

Пришедший на кухню Тобиас взирает на мое ручное творчество с отвращением, которое кажется мне непонятным: в конце концов, весьма разумно иметь здесь свою систему борьбы с крысами.

— Опять ты со своими стеклянными банками! — язвит он. — У меня такое чувство, что скоро ты и *меня* засунешь в какую-нибудь банку.



Стоя у раковины и соскребая с кастрюли засохший желток, я представляю себе, как благожелательно рассматриваю через стекло прекрасные экземпляры Тобиаса и Фрейи, надежно закупоренных в одной из моих банок.

Фрейя сегодня почти ничего не ест. Я забываю о своих принципах и высыпаю в ее бутылочку ложку сахара. Сначала она принимается жадно глотать, но очень скоро начинает извиваться и плакать, а через полчаса срыгивает все съеденное. Предположительно, вместе со всеми своими лекарствами.

Если она выбрасывает вместе с рвотой лекарства, есть опасность сильного приступа. Но если я дам ей лекарство дополнительно, может быть передозировка.

Я беру бутылочку и начинаю снова кормить ее. На это уходит два часа. Затем я даю ей половинную дозу лекарства и укладываю спать.

Четыре часа утра. Я проснулась с тревожным чувством. В последние дни Тобиас все больше и больше игнорирует меня. Он глух ко мне, и я боюсь наступления долгой зимы, его такой глухоты и моих криков и воплей, которые должны будут становиться все громче, чтобы он услышал меня. Мне снятся кошмары: он сидит с наушниками на голове в какой-то пещере, такой глубокой, что, как я ни кричу, голос мой туда не проникает. Он уходит навсегда, а я не в состоянии дотянуться до него.

Не желая валяться без сна, я встаю. Я нахожу Фрейю спящей в своей кроватке; она мокрая, потому что всю ночь пролежала в луже собственной рвоты. Должно быть, она вырвала и большую часть второй бутылочки, которую я ей скормила.

Я вытираю ее и привожу в порядок, стараясь не разбудить. Потом я прибираю в студии Тобиаса, складываю его бумаги и оставляю все в аккуратной стопке у него на клавиатуре. Я провожу подсчет наших финансов и прикидываю, сколько примерно дней мы еще можем позволить себе продержаться тут.

Когда Фрейя просыпается, я с исключительной аккуратностью кормлю ее. Где-то через полчаса она все вырывает.

\* \* \*

Фрейя непрерывно кричала в течение восьми часов. Кричала всю ночь. В семь утра я уже сама кричу в истерике — это один из тяжелых случаев, когда слышишь, что срывается с твоих губ, но не уверен, действительно ли ты говоришь такое или нет.

— Я не вынесу этого! Я не вынесу такой жизни. Лучше бы я умерла. Пожалуйста, пожалуйста, пусть у меня будет рак, чтобы я умерла. Я так бесконечно несчастна!

Это все адресуется Тобиасу, но он продолжает спать: в ушах у него беруши.

В восемь он начинает ворочаться и слабым голосом говорит из постели:

— Дорогая, ты не могла бы сделать мне кофе?

На дверце холодильника висит фотография Фрейи, сделанная три месяца назад. Я смотрю на нее, пока включаю электрический чайник. Я в шоке от того, как она похудела.

Я ставлю кружку, насыпаю в нее кофейный порошок, наливаю молока, жду, пока чайник закипит, после чего заливаю все это кипятком.

— Готово! — ору я.

— О, отлично! Не могла бы ты принести мне сюда?

— Нет, блин, ты прекрасно можешь сам спуститься. Я готовлю завтрак.

Тобиас появляется через добрые минут десять, сонно протирая глаза.

Я грохаю перед ним его кружкой. Он отхлебывает кофе и укоризненно смотрит на меня:

— Растворимый? Ох, Анна...

— Если я приготовлю бутылочку, покормишь ребенка?

— Прослушай, Анна, прости, но мне нужно отослать несколько имейлов. Это насчет моей музыки. Возможно, что на этот раз финансирование действительно поступит. У меня есть шанс выпить настоящего кофе?

Я сую хлеб в тостер, накрываю стол для завтрака, ставлю грязные после ужина тарелки в раковину и мою посуду. Потом



протираю все рабочие поверхности, выдраиваю раковину и начищаю краны. Смешиваю лекарства для ребенка, добавляю туда ложку меда и втягиваю все это в шприц. Достаю поднос иставляю на него лекарства и прибор для измерения давления. Готовлю бутылочку детской смеси и также ставлю ее на поднос.

Я уже готова отправиться в гостиную для еще одной неблагодарной попытки накормить Фрейю, когда на кухне появляется Тобиас и бросает свою кружку из-под кофе в раковину.

— А как насчет того, чтобы помыть за собой чашку?

— Прости.

Он оставляет чашку в раковине, идет к тостеру, достает оттуда холодный тост и кривится. Тогда он инспектирует мои стеклянные банки и снимает с полки одну из них. После этого он откручивает крышку и встряхивает банку так, что мое домашнее печенье вываливается на кухонную стойку. Он берет несколько штук и снова направляется к двери, бросив открытую банку лежащей на боку рядом с горкой выпавшего печенья.

— Тобиас! — Мой голос звучит достаточно жестко, чтобы зацепить его внимание.

— М-м-м?

— Мне осторчертело, что ты и пальцем не шевелишь, чтобы выполнить свою часть домашней работы. Ты готов развлекаться, но не биться часами, чтобы накормить Фрейю. Ты никогда не смешиваешь для нее лекарства и не следишь, чтобы она приняла их вовремя. Ты никогда не делишь со мной тяжелую рутинную работу. Каждое утро я заставляю себя встать и пробую, пробую, пробую делать все сама, но не получаю поддержки; ты похож на зыбучие пески, хотя на самом деле также напоминаешь бетонную плиту — в любом случае, ты не тот надежный утес, в котором я нуждаюсь. Мне надоело, что я никогда не могу на тебя положиться. Мне до чертиков надоела эта жизнь. Я не хочу уходить от тебя — просто не думаю, что смогу остаться здесь, не сойдя при этом с ума.

Наступает выход Тобиаса, где он должен обнять и успокоить меня.

Вместо этого он хватает с полки чашку — я замечаю, что это шербатая чашка, — и швыряет ее в стенку.

— Анна! Хватит с меня твоих придинок! Ты на себя посмотри! Откуда появилась вся эта тяжелая рутинная работа? Ты посвятила ей свою жизнь, ты сама ее создаешь. А потом еще обвиняешь в этом меня, потому что не получаешь от нее удовольствия.

Я издаю страшный вопль, который вырывается из вечно сдерживаемого источника ярости, о котором я вряд ли подозревала. Как будто я стою в стороне и наблюдаю, как из меня наружу рвется что-то неуправляемое.

Я кричу и кричу. Иногда это слова, иногда — нет. Слышать-то я их слышу, но контролировать не могу.

— Тогда иди и посиди на скале со своими друзьями-ящерицами — мне нет до этого никакого дела. Я умываю руки. Я больше не хочу ничего этого делать!

Я начинаю бить все, что попадает под руку. Я фантазировала на эту тему много месяцев, но реальность намного привлекательнее. Это продолжается некоторое время; я вижу, как Тобиас из фазы сдержанности переходит к изумлению, а потом уже почти пугается. Это очень приятное ощущение. Я отдаюсь ему и какое-то время голошу без слов.

Тобиас пытается встать между мною и теми вещами, которые я крушу. Но я для него слишком шустрая. Я постоянно уворачиваюсь от его рук.

— Ради бога, Анна! Ты что, с ума сошла?

Я оглядываюсь по сторонам, что бы еще расколотить. Посуда уже закончилась. Я начинаю стаскивать свои драгоценные банки и грохать ими об пол. Они падают на каменную плитку и, разбиваясь вдребезги, превращаются в хаос из осколков битого стекла, итальянской муки 00, неочищенного тростникового сахара, чечевицы пюи, лепестков бланшированного миндаля и какао «Вальрона».



То, что эта внутренняя сила все же отделилась от меня, пугает. В сокровенных глубинах моей сущности есть бездонный колодец злости. Озеро бурлящей лавы, способное взорваться и разрушить все, что я построила.

— Я ухожу! — кричу я.

— Нет, это я ухожу, ты не можешь уйти — ты не можешь бросить ребенка одного, — язвительно огрызается Тобиас.

И вдруг я понимаю, что я и вправду могу уйти — еще как могу!

— Я больше не в состоянии заботиться об этом проклятом ребенке. Надеюсь, что он умрет!

Я выхожу из комнаты, даже не оглянувшись.

\* \* \*

На улице весь мир затих, как бывает, когда приближается настоящая буря. Кажется, будто из него высосан весь воздух, но есть ощущение готовности к тому, что он снова будет надут, и максимально быстро.

Я на автопилоте иду по хребту дракона на соседнюю гору. Сегодня склоны ее оголены, и я вижу, что состоят они из другого камня, чем все остальные холмы. Более твердого. Река за миллионы лет вымыла себе русло, но только не здесь. Интересно, можно ли было много лет назад каким-то образом определить, какая из горных пород разрушится под давлением, а какая выстоит?

Я прохожу мимо памятника партизанам *маки*, мимо укрытий охотников. Иногда я плачу, иногда успокаиваюсь. Мне кажется, что иду я много часов.

Поднимается ветер. Я стою на вершине холма и смотрю, как он приближается, обрушиваясь на деревья в лесу. Он ревет совсем рядом и колотит меня. Потом он уходит. Порыв за порывом проносятся мимо меня.

Потом начинается дождь, и я прячусь от него под сосной. Как могли выносить это люди из *маки*, которые годами жили в этом холоде и сырости? Приходила ли сюда Роза и в непогоду тоже? Я могу представить себе, как она идет в гору, провор-





ная и бесстрашная, волосы туго повязаны платком с узором из роз, под мышкой — буханка хлеба, в корзинке лежит кусок деревенского масла, завернутый в вощеную бумагу.

Я вспоминаю: Господи, сегодня утром я забыла дать Фрейе ее лекарство!

Может быть, Тобиас сделал это. Но вероятнее всего, оно по-прежнему лежит на подносе на кухне, там, где я его оставила.

Я говорю себе, что должна идти домой. То, что Фрейю рвет, означает, что она получает меньше лекарств, чем ей нужно на день. Если она сейчас пропустит прием полной дозы, у нее может случиться сильнейший приступ. Но я не могу идти: мои ноги не несут меня туда.

Фрейя по-прежнему является частью меня, но такое чувство, что она — это какой-то струп, корка, прилипшая к моей коже. Край этой корки уже задрался. Если я оторву ее, будет жутко больно, но она все-таки уйдет.

Дождь прекратился, но поднимается ветер. Над головой гудят сосны. Я съеживаюсь за стволом дерева, стараясь найти там укрытие, которого не существует. Такой ветер, как этот, может ломать сосны, как спички. Как только он стихает, я начинаю двигаться дальше.

На лесной поляне группа охотников спряталась под брезентовым тентом и обсмаливает шерсть с туши кабана зажигалками. Я совсем забыла, что сегодня день охоты. Людовик машет мне, чтобы я к ним присоединилась, но я не хочу, чтобы они видели меня в таком состоянии. Я качаю головой и иду — почти бегу — дальше.

— Анна, в чем дело? — Он идет за мной. — Вы плачете. Что случилось?

Я не могу ему ответить, только качаю головой. Он обнимает меня за плечи. Ветер снова резко усиливается; Людовик меня почти не слышит. Этот рев как бы предоставляет мне свободу высказать все, что я хочу.

— Ох, Людовик! Это мучает меня, — прорывает меня. — Я какая-то неестественная? Как мать? А что сделала бы Роза?



Я не жду от него ответа — на самом деле это мои мысли вслух. Наконец мои ноги несут меня в направлении дома. Сначала мы боремся со встречным ветром, а потом заходим под прикрытие нашей горы, и его рев становится тише.

Людовик смотрит на меня особенно пристально.

— Анна, я думаю, что до вас доходили какие-то слухи... Я знаю, что люди говорят, но самому мне трудно...

Я безучастно смотрю ему в глаза.

— Я был совсем ребенком — мне было пятнадцать. Я не мог удержаться, чтобы не похвастаться. Я гордился партизанами. А случайно проболтаться очень легко. Короче говоря, немцы прослышали о существовании лагеря *маки* рядом с каштановой деревушкой. И сразу же была проведена боевая операция. Роза знала, что когда *маки* поймут, что это я сделал, они... в общем, времена были жестокие. Случались всякие плохие вещи. Именно поэтому она и не пустила меня предупредить их. Именно поэтому она и пошла вместо меня. Именно поэтому она умерла, и поэтому, когда моих друзей убивали в бою, я прятался там, где она меня оставила — на кухне для дичи.

Мы достигаем вершины холма над нашим домом и ступаем на *col des treize vents*. Ветер набрасывается на нас, как зверь, огромный и невидимый; мы видим раскачивающиеся на склонах деревья, его рев приближается. Затем порыв пронесется мимо нас и разворачивается, и в резком изменении направления ветра, в его скорости чувствуется какая-то сверхъестественная энергия. Вдруг возникает звук, какого я никогда раньше не слышала: трехмерный вой, исходящий, кажется, из ниоткуда — из самих скал, из земли и неба.

— Я не слышал такого с тех пор, как был еще мальчишкой, — говорит Людовик. — Говорят, что это знамение.

Холодный ужас хватается меня своими когтями.

— Лекарства Фрейи, — говорю я. — Людовик, я сделала большую глупость. Я должна быстро вернуться.

Мы бежим вниз по склону холма. Вой преследует нас, как будто ветер нашел свой голос, который превратился в горестные стенания.

Я вижу сигнал скорой помощи на пожарной машине, которая мчится под нами вверх по склону. На крыше вспыхивает синяя мигалка; сирена теряется в вое ветра. Автомобиль останавливается возле дома, а мы еще прибавляем ходу, крича, чтобы они не уезжали без меня. Но ветер заглушает нас, как бы громко мы ни кричали. Скорая помощь разворачивается и мчится назад вниз по склону.

\* \* \*

Когда я в конце концов добираюсь до больницы и нахожу Фрейю, она лежит в кроватке, а ее очаровательные кудряшки все перепачканы липкой слизью. На нее надет розовый пластиковый чепчик с сотней прикрепленных к нему электродов. От них тянутся провода, подсоединенные к монитору. На экране записываются замысловатые графики волн ее мозга. Это шифр. Если бы мне удалось найти ключ к нему, я могла бы попасть внутрь ее мира. Но я никогда не смогу. Вход туда мне заказан.

Тобиас сидит рядом с ее койкой. Он не встает. Мы не обнимаемся.

— Это моя вина, — говорю я. — Я забыла про лекарства.

Он кивает и снова склоняется над Фрейей. Теперь я знаю, что он винит во всем меня.

Некоторое время мы сидим молча, прислушиваясь к дыханию Фрейи, которое булькает у нее в горле.

— Я вымотался, — говорит Тобиас. — Побудь с ней. Мне нужно сделать перерыв.

Пока он выходит, из глубины легких Фрейи раздается страшный задыхающийся хрип. Начинает тревожно мигать лампочка датчика насыщения кислородом. Приходит медсестра и выключает ее.

— Я пришлю физиотерапевта, чтобы отсосать жидкость из ее легких, — говорит она.

— А вы можете что-то сказать о волнах ее мозга? — спрашиваю я. — С этого прибора?

Она смотрит на график.



— Он показывает, что у нее не вырабатываются аномальные альфа-волны.

Как то, что у нее не вырабатываются аномальные альфа-волны, выражается в *ощущениях*? Эта концепция слишком странная для меня. Я не могу ее себе представить.

Фрейя просыпается и смотрит на меня почти настороженно. Затем глаза ее закатываются. Головка откидывается назад. Из уголка рта течет струйка слюны. Картинка умственно неполноценного, от которой я раньше — до ее рождения — виновато шархалась.

Где заканчивается любовь? Если я люблю Фрейю, когда глаза ее открыты и, как мне кажется, смотрят на меня, могу ли я перестать ее любить, потому что эти самые глаза закатились и потеряли фокусировку? Если я люблю ее, когда ее рот закрыт, перестану ли я любить ее из-за того, что челюсть ее отвисла и оттуда течет слюна? Похожа ли любовь на минерал, который нужно обтесывать с каждой новой проблемой или пороком? Проводим ли мы внутри себя какой-то расчет, когда именно ребенок перестает быть делом хорошим?

В палату входит физиотерапевт.

— Я собираюсь вставить ей в нос трубку, чтобы отсосать жидкость из ее легких, — говорит она. — Вам стоит посмотреть, как это делается, чтобы в следующий раз вы могли сделать это сами.

Я инстинктивно делаю протестующий жест.

— Вы должны учиться.

— Почему?

— Потому что Фрейя — ваша дочь. Я не буду все время рядом, чтобы делать это за вас.

— Тогда я не хочу такую дочь.

Физиотерапевт качает у меня перед носом указательным пальцем, который похож на метроном, и недовольно цокает языком. Жест раздраженной француженки, означающий упрек.

— Вам хорошо рассуждать, — говорю я. — Подозреваю, что у вас дети нормальные.

— Жизнь вашей дочери представляет собой такую же ценность, как жизнь любого другого ребенка. Смотрите, это просто, вставляете трубочку вот сюда.

— Нет, я не буду учиться. *Je refuse! Je refuse!*<sup>1</sup>

Физиотерапевт злится. Она резко тычет трубку Фрейе в нос. Та издает слабый булькающий крик боли. Я думаю, она специально сделала ей больно, потому что сердится. Она ничем не лучше меня.

\* \* \*

Тобиас то приходит, то уходит. Ночью с Фрейей может оставаться только один из родителей. Никто у нас не спрашивает, кто именно это будет. Это право и долг матери — автоматически.

Фрейю отключили от энцефалографа, но они продолжают отслеживать ее сердце, дыхание и насыщение крови кислородом. В волосах ее по-прежнему полно слизи.

Медсестры ведут себя недружелюбно. Вероятно, физиотерапевт рассказала им о моем противоестественном отношении к ребенку.

— Ей лучше, когда она знает, что вы рядом, — говорит одна из них.

А мне хочется заорать: «Да НЕ ЗНАЕТ она ничего! И для нее нет никакой разницы, есть я тут или нет!»

Но на самом деле я боюсь — хотя одновременно и надеюсь на это, — что разница для нее все же есть. Что между нами существует реальная связь, что это будет самым светлым событием в моей жизни и что я останусь пленником этого, прикованная к ней цепью навсегда.

Нянечка передает ее мне на руки для кормления. Пока я держу ее на руках, она снова становится реальной. Моя маленькая Фрейя под всеми этими проводочками и трубочками.

— Ваш муж сказал, что у нее были трудности с кормлением. Это верно?

---

<sup>1</sup> Я отказываюсь! Я отказываюсь! (*фр.*).



— Ну да. Ее всегда было сложно кормить, но сейчас стало намного хуже. За последние пару недель.

— Чем вы ее обычно кормите? Она у вас уже ест какую-то твердую пищу?

— О нет! Она даже не знает, что делать с ложкой. Мы даем ей обогащенные детские смеси, и еще я кормлю ее грудью.

— В данный момент мы собираемся ввести ей в нос трубку, подсоединенную к пакету с питанием, чтобы она совсем не ослабела. Не волнуйтесь, мы будем давать вам возможность попробовать кормить ее.

Я пытаюсь поспать, но безуспешно, поскольку срабатывает сигнал тревоги на датчике насыщения крови кислородом. Также гудит и сигнал контроля за потоком питания. Как я догадываюсь, это означает, что еда в пакете закончилась, поэтому я отключаю аппарат. Через некоторое время со своим фонариком приходит ночная нянечка.

— Вы выключили сигнализацию? Зачем?

Спросонья я, запинаясь, пытаюсь что-то объяснить ей по-французски.

— Там ничего не закончилось. Мы и так отстаем с ее питанием из-за этих... попыток заставить ее сосать.

Она раздраженно возится с пластиковым пакетом и уходит, хлопнув дверью.

Я начинаю чувствовать глубокое беспокойство.

Наконец мне все же удастся задремать под мерцающими мониторами. Мне снится, что в это место снова вернулись фашисты. Они стоняют всех детей. Потом они спрашивают нас, кого из них мы хотели бы выбрать из группы, чтобы принести в жертву. Нянечки, врачи и социальные работники убеждают меня, что, очевидно, следует выбрать в качестве жертвы Фрейю, чтобы спасти их нормальных детей. В моем сне мне кажется очень важным противостоять им.

— Это мой ребенок! — кричу я. — Вы говорили мне, что ее жизнь стоит столько же, сколько жизнь любого другого ребенка. Вы сами говорили мне это!

\* \* \*

Наступает утро, и из своей кровати на меня смотрит вполне проснувшаяся Фрейя. Я говорю ей «привет». Сладостный момент, который касается только нас с ней.

Дверь палаты распахивается. Приносят ванночку, и, очевидно, требуется пара помощников, чтобы присматривать за мной, пока я буду ее наполнять.

Я раздеваю Фрейю, стараясь воспользоваться спокойной обстановкой, пока они суетятся в палате со своей уборкой. Я снимаю электроды — три штуки у нее на груди для измерения ритма сердца и еще один на ноге для контроля за насыщением крови кислородом. Когда я купаю ее, я должна держать трубку из ее носика у нее над головой. Она несколько раз дрыгает ногами и открывает глаза. Затем я натираю ее маслом и одеваю. Ассистентка ставит электроды на место.

Обход начинается раньше, чем приходит Тобиас. Я снова вижу доктора Дюпон, и это обнадеживает.

— Как Фрейя вела себя ночью? — спрашивает она.

— Сегодня утром она более бодрая, — говорю я. — Не такая недовольная.

Она перебивает меня:

— Она уже сосала?

— Нет, пока нет.

— И только последние пару недель вы замечали, что у нее появились проблемы с сосанием?

Я упоминала об этом только медсестре и то мимоходом, но это было уже передано специалисту. Это явно важно. Мое беспокойство растет.

— Она слишком сонная, чтобы сосать, — говорю я.

— Несомненно. Частично ее сонливость может быть обусловлена лекарствами, — говорит доктор Дюпон. — При поступлении сюда мы дали ей большую дозу фенobarбитона, а сейчас перевели ее на сабрил — другой препарат, который тоже вызывает сонливость. На то, чтобы установился какой-то



баланс, может уйти до двух недель. Так что пока нам не о чем беспокоиться.

— Пока?

— Я должна быть с вами откровенной. У нее был тяжелый припадок. Ее мозг длительное время испытывал кислородное голодание. Нам необходимо выяснить, насколько значительными были полученные повреждения.

Приезжает Тобиас, и мы идем завтракать. Мы не разговариваем, соглашаемся только, что в такой момент не можем еще и навещать Лизи.

Когда я вернулась, Фрейе стало хуже. Она слабо сосет мой палец, но не делает никаких попыток проглотить свою слюну, от которой задыхается. Нянечка говорит, что физиотерапевт только что отсасывала ей жидкость из легких.

— Вы имеете в виду, что она собирается отсасывать жидкость?

— Нет, это уже было сделано, и сразу же должно быть сделано опять.

На этот раз приходит практикант. Казалось, проходит целая вечность. Я не смотрю на это. В голове кружится фраза *Je n'accepte pas de faire ça*<sup>1</sup>.

Если она не может глотать, вероятнее всего она вдохнет свою слюну и заработает легочную инфекцию. Если она не может сосать, ее будет необходимо кормить через трубку.

Для себя я решила: что бы ни произошло, я не буду помогать отсасывать ей жидкость из легких; и еще я сдержу свое обещание Тобиасу и скажу им, что мы не заберем ее из больницы домой, если должны будем откачивать жидкость из легких или кормить ее через трубку. И то и другое ужасно.

\* \* \*

Просто поразительно, как быстро снова втягиваешься в больницу рутину! Дверь распаивается в 6 часов утра. Чашка растворимого кофе и черствый круассан. Шум восьмичасово-

---

<sup>1</sup> Я не соглашусь делать это (фр.).



го обхода в коридоре. Тобиас, появляющийся небритым и запыхавшимся за пять минут до врачей. Профессионально встревоженная доктор Дюпон в белом халате и модных туфлях. Два интерна с планшетами для ведения записей. Три или четыре медсестры и другой младший персонал.

Обычно доктор Дюпон начинает с вопросов ко мне. Как прошла ночь? Сколько приступов было у Фрейи?

Но только не сегодня. Она хмуро смотрит на карту Фрейи и начинает говорить так быстро, что я пропускаю ее первые слова, прежде чем осознаю, что это важно.

— ...Гарантировать нельзя, но я сомневаюсь, что это происходит из-за припадка. Младенцы утрачивают рефлекс выталкивания языка при кормлении грудью примерно в шесть месяцев. Это происходит, когда они начинают сознательно контролировать свое питание и учатся жевать и глотать.

— Простите, что вы сказали?

— Вставить в желудок трубку — это пустяковая операция. Совсем незначительная.

— *Je refuse.*

— Очень хорошо. Некоторые родители и слушать не хотят о «желудочной трубке». Это нормально. Мы можем сделать и иначе. Если вы отказываетесь от желудочного зонда, мы можем вставить ей назогастральный зонд, чтобы кормить ее через нос.

Я смотрю на Тобиаса. До сих пор, если нужно было сказать что-то неприятное о Фрейе, это делал он. Но поймав его взгляд, я вижу, что на этот раз он собирается уклониться.

— Когда ее можно будет забрать домой? — спрашивает он.

— В данный момент не следует питать надежду на скорую выписку. Нам необходимо выяснить, какие еще функции она потеряла. Но со временем, я думаю, все образуется, если мы все-таки начнем давать вам уроки кормления через трубку.

Я делаю глубокий вдох.

— Мы уже обсуждали это в нашей семье, — говорю я. — Мы приняли решение, и будет неправильно пытаться его изменить. Мы провели черту на песке. Мы решили, что не



в состоянии справиться с кормлением через трубку. Мы хотим, чтобы ее прямо сейчас забрали в приют, пока она не достигнет такого возраста, когда ее можно будет определить в приемную семью.

Наступает тягостное молчание.

— Я не возражаю против кормления через трубку, — неожиданно говорит Тобиас.

Я смотрю на него, не веря своим ушам. В этот момент боль от его предательства такая сильная, будто меня с размаху ударили в живот. У меня перехватывает дыхание.

— Но... мы же договаривались, — шепотом выдавливаю я.

Тобиас в ярости поворачивается ко мне:

— Ты не понимаешь. Я не такой, как ты. Я не могу взять и отказаться от своей любви... по прихоти. Я не хотел любить ее, а теперь я ее люблю, я попался, я в западне.

Мир, мой мир уже где-то очень далеко...

— Это удобный момент оставить ее, — слышу я со стороны свой голос.

Но Тобиас ничего не слышит. Он уже поглощен обсуждением с персоналом насчет трубок для кормления.

Он даже не провожает меня. Я выхожу из вестибюля больницы, иду по территории в направлении остановки автобуса на аэропорт. Свежий ветерок вливает в меня силы. Боль ушла. Я вырвалась на свободу. Я чувствую себя независимой. Независимой наконец и отделенной.

# Ноябрь



Я почти жду, что Тобиас появится здесь, в аэропорту, чтобы остановить меня. Он должен догадаться, куда я направляюсь. В конце концов, у него есть машина — он мог меня опередить.

Я не знаю, что буду делать, если он там. Мое сознание не воспринимает такой вариант. Но знакомой высокой фигуры не видно: меня никто не ждет.

Мне больно, но ненадолго. Я снова охвачена оцепенением, меня автоматически подталкивает вперед, без каких-то альтернатив.

Я покупаю билет, но, когда добираюсь до стойки регистрации, посадка уже закончена. Я как бы со стороны наблюдаю, как упрашиваю неприветливую ассистентку пропустить меня. Вероятно, она меня не пустит — обычно они не пускают. Тогда я буду вынуждена остановиться и подумать. И если я это сделаю, то вернусь назад. То, что я делаю в данный момент, можно проделать только бессознательно.

Я слышу собственные всхлипывания:

— *Mon bébé, l'hôpital*<sup>1</sup>...

Слезы мои настоящие. Ассистентка дает мне дорогу, что-то скороговоркой передав по рации. Короткий бросок по бетонным плитам аэродрома к самолету. Я последняя поднимаюсь на борт.

Свободное место есть в середине первого ряда кресел. Я падаю на него. Самолет вырывается на взлетную полосу. Теперь

---

<sup>1</sup> Мой ребенок, больница... (фр.).



мне уже не сойти, даже если я этого сильно захочу. Дело сделано.

— Вы успели в самую последнюю минуту, — говорит мой сосед.

— Это точно, — запыхавшись, отвечаю я.

Самолет начинает разгоняться. Мимо проносятся пыльные поля — и вот мы уже в воздухе. Я наклоняюсь к иллюминатору через своего соседа, чтобы посмотреть, как исчезает позади моя старая жизнь. Сосед — пожилой мужчина, родившийся в век рыцарства. Вместо того чтобы рассердиться, он улыбается и отклоняется назад, чтобы мне было лучше видно. По мере того как рельеф земли становится круче, гладкая мозаика равнины делается морщинистой и собирается складками. Я ненадолго ловлю взглядом свои холмы: где-то там, внизу, лежит Ле Ражон, и все в нем живут своей жизнью, без меня.

Еще долго после того, как он исчез, я продолжаю сидеть, наклонившись над соседом и глядя на то, как под нами уплывает земля. Затем мы входим в облачность, и смотреть больше не на что.

— Вы живете там? — спрашивает мой сосед.

— Я... э-э-э... — Я не имею ни малейшего понятия, как ответить на этот вопрос. — Вроде того.

— Ага, вы как раз в процессе переезда, да?

— Да, можно так сказать.

— У меня на это тоже ушло много времени. Мы с женой приезжали сюда в отпуск, но никак не могли решить, будем ли жить здесь все время. Думаю, ей бы этого хотелось. Но это кажется таким серьезным шагом. А потом, когда она умерла, совершенно неожиданно стало вполне естественным. Действительно парадоксально. Где вы живете?

— Мы только что пролетали над этим местом. Это в Аван-Мон.

— У вас есть семья?

— Маленькая дочка.

— Ваша первая? Сколько ей?



— Уже почти год.

— Мы с Аннабель, моей женой, ездили на первый день рождения нашего внука как раз перед ее смертью. И он сделал свои первые шаги прямо там, вокруг чайного столика, на глазах всех своих дедушек и бабушек. Это был восхитительный момент!

Лицо у него морщинистое и доброе, коричневое от загара. Он выглядит идеальным дедушкой, достаточно активным для подвижных игр и сочувствующим сбитым коленкам. Я вспоминаю своего отца: мне не хватает его. Я жалею, что его здесь нет, чтобы видеть Фрейю. Чтобы любить ее и направлять меня.

— Все пролетает так быстро, — говорит он. — Казалось, еще вчера я носил на руках его мать — мою младшую дочку. Мы делали это долго: у нее при рождении не было тазобедренного сустава. Ей пришлось делать операцию, а после этого она еще четырнадцать месяцев была в гипсе. Я везде таскал ее с собой в ранце за спиной. Мы ходили с ней гулять по выходным и все такое. А потом в один прекрасный день ей сняли гипс, и не успели мы опомниться, как она уже ходила на своих ногах, а я почувствовал себя покинутым.

Я не отвечаю ему.

— А ваша дочка уже ходит?

— Нет, пока еще нет.

— Она еще наверстает это.

— Ну... э-э-э... нет.

— О, не волнуйтесь на этот счет. У некоторых деток на это уходит больше времени, но в конце концов все справляются.

Он обнадеживающе улыбается мне. Я открываю рот, а когда начинаю говорить, остановиться уже невозможно.

— Боюсь, она не справится. Она родилась с обширными отклонениями. Мы обнаружили это сразу после ее рождения. В начале первой недели доктора сказали, что у нее может быть небольшая дальность зрения, а к концу этой недели они уже попросили нас написать в ее бумагах «не реанимировать».

— А как она чувствует себя сейчас? Какая она?



— Что ж, она славная. Она не может держать головку, или перекатываться, или говорить, но зато она улыбается, и еще она... В общем, тело у нее совсем мягкое, и это делает ее очень приятной на ощупь, и если взять ее на руки, она как бы повторяет контур вашего тела и кладет головку вам на плечо, а по ночам подплывает к вам и прижимается. Она любит людей, она любит... Ну, она просто любит любить и быть любимой. Это все, что она на самом деле умеет. Будущее ее пугающее. Ее будущее — это вентиляция легких, кормление через трубку и механические подъемники. Некоторое время мне удавалось не заглядывать в ее будущее, но сейчас мы уже сталкиваемся с ним. Врачи считают, что она забыла, как есть самостоятельно. И я боюсь, что это только предвестник грядущих несчастий. Потому что я не переживу того дня, когда я улыбнусь ей, а она забудет, как улыбнуться мне в ответ. И если бы мы просто оставили ее сразу в больнице, когда она только родилась, было бы намного легче, потому что, понимаете, мы ее теперь лучше знаем.

Он улыбается.

— Знаете, я всегда больше любил свою младшую дочку, потому что мне пришлось четырнадцать месяцев таскать ее на себе. И ее беспомощность научила меня любви. У вас будут еще дети, я в этом уверен, но вы всегда в глубине души будете любить ее больше всех. Потому что вам пришлось сделать для нее намного больше, чем для других. У вас есть с собой ее фотография?

Я лезу в бумажник и достаю оттуда снимок Фрейи на руках у Тобиаса.

— Она очаровательна, — говорит он. — Идеальный ребенок.

Мы прощаемся с ним в аэропорту назначения. Адресами не обмениваемся.

\* \* \*

Своей базы в Лондоне у меня больше нет. Я звоню матери и спрашиваю, можно ли мне приехать и пожить у нее в Севе-ноуксе. Я не объясняю, почему.

— О, дорогая, но дом не готов! Твоя комната не проветрена. И я даже не сделала покупок в гастрономе.

— Я сама схожу за продуктами. Все в порядке.

Голос ее звучит суетливо. Я понимаю, что она стареет и начинает притормаживать.

— Послушай, — говорит она, — почему бы тебе не подождать, по крайней мере, до уикенда? Проведи несколько дней в Лондоне и побудь с Мартой.

Я не могу встречаться с Мартой или с кем-то из своих друзей с их нормальной, хорошо отлаженной жизнью. Я останавливаюсь в гостинице.

Номер у меня крошечный. В нем жильцам предоставляет миниатюрный пластмассовый электрочайник, толстая фарфоровая кружка, одноразовые упаковочки сухого молока и бумажные пакетики с нитками залежалого чая. Фен прикован к стене цепью. Это микроскопическое пристанище стоит мне кучу денег.

Делать мне абсолютно нечего.

Просто поразительно, как мало я скучаю по Фрейе. Она уже отступила куда-то в тень. Может быть, так оно и было бы, если бы я отказалась от нее? Или же это самообман, потому что я знаю, что она в безопасности с Тобиасом, и если я захочу, то могу в любой момент дать ее похожим на листочки папоротника ручкам обвиться вокруг моей шеи и снова притянуть меня к себе?

В комнате постоянно стоит приглушенный гул уличного движения. Люди в Лондоне — пешеходы, а не человеческие существа. Они постоянно спешат со своими зонтиками в руках. Они ловят такси или ждут на остановках автобус.

Я долго сижу, прижавшись носом к двойному оконному стеклу, и смотрю, как по нему скатываются капли дождя. Иногда они прокладывают свои извилистые тропинки в одиночку, а иногда вдруг необъяснимо сворачивают в сторону и присоединяются к другим каплям. И все заканчивают свой путь внизу, на оконной раме.



Оцепенение ослабевает, и начинает обратно просачиваться страдание. Я поднимаю телефонную трубку и принимаюсь назначать встречи. Я не могу сделать себя счастливой, но я, по крайней мере, могу попробовать все организовать.

\* \* \*

В 9 часов утра я выхожу на дождливую улицу и останавливаю черное такси.

Мы направляемся в центральный Лондон, мимо блестящих от дождя парков, мокрых голубей и викторианских статуй. Я выхожу возле высокого здания времен Регентства с черными коваными перилами и скромной латунной табличкой.

Вчера я договорилась о встрече с юристом по семейному праву. У нее строгий костюм, строгий взгляд, и она очень деловая. Думаю, что за триста фунтов в час нельзя позволять себе не уделять внимание даже мелочам.

— Ваш брак разрушен, и вы не можете ухаживать за своим ребенком-инвалидом? Что именно вы хотели бы, чтобы мы для вас сделали?

— Я определенно не могу оставить ее. Но я... я не хочу потерять ее след. В нашей системе. Мне нужно знать, какие у меня есть родительские права по закону.

— Отдать своего ребенка на попечение — это очень серьезный шаг, — говорит она. — С самого начала будет найдена приемная семья. Однако воспитание ребенка в приемной семье не рассматривается как перманентное решение вопроса. Социальные службы будут прилагать все усилия, чтобы воссоединить вас с вашим ребенком, но, когда будет решено, что отношения ваши безвозвратно разорваны, они начнут предлагать ее на удочерение.

Я начинаю тихо плакать. Она пододвигает мне коробку с бумажными салфетками и продолжает:

— Это рассматривается как более стабильное окружение, и, кроме всего прочего, здесь присутствует простой прагматизм: приемной семье власти платят, а усыновление бесплат-



ное. Если ей будет найдена семья для удочерения, вы уже больше не будете для своей дочери законным родителем. Хотя у вас будет право навещать ее, вы должны понимать, что ребенка могут направить в стране куда угодно.

— Здесь должно быть что-то еще. Она очень больна. Ей необходим уход специалистов. Профессионалов, — говорю я.

Она качает головой.

— Если вы говорите о попечении по месту жительства, я должна вам сказать, что в настоящее время в Британии существует очень мало приютов для детей и еще меньше для младенцев. Они обычно не считаются лучшим выходом с точки зрения интересов ребенка.

— Ладно, а как я могу отвечать ее лучшим интересам? Мы не могли справиться с ней, когда были вместе, и я точно не смогу справиться с ней сама. Кроме того, мне необходимо работать. Я шеф-повар. Работаю сама на себя.

— Такую печальную картину мы наблюдаем довольно часто. Отец уходит, а мать остается, чтобы поднимать семью сама. А где сейчас находится ваш ребенок?

Я медлю с ответом.

— Она со своим отцом. Во Франции. Впрочем, я не могу себе представить, что он может захотеть оставить ее у себя.

Адвокат бросает на меня проницательный взгляд.

— Но если она в данный момент не на вашем попечении и даже вне пределов страны, я не думаю, что мы можем что-то сделать. Вы должны привезти ее сюда, должны жить с ней здесь, и тогда мы можем еще раз рассмотреть вашу ситуацию.

А я-то полагала, что как только вернусь в Англию, смогу решить все вопросы. Но тут все оборачивается еще хуже.

Адвокат смягчается.

— Послушайте, что я скажу вам не как юрист: мне кажется, что вы в смятении и очень устали. И это ужасный момент для того, чтобы принимать долгосрочные решения насчет будущего вашей дочери. Если хотите, я могу позвонить в местный хоспис. Загляните туда, чтобы понять, какую помощь они



могут вам предоставить. Потом поговорите с мужем и спросите у него, что он собирается делать, — он может вас удивить.

\* \* \*

Хоспис расположен всего в нескольких кварталах отсюда. Я иду туда пешком, неотрывно глядя на мокрые плитки тротуара, как делала, когда была маленькой девочкой. Тогда это было связано с тем, что я боялась наступать на трещины. Сейчас же я просто не вижу смысла смотреть куда-то выше.

Нянечка, открывая мне дверь, приветливо здоровается со мной. Вероятно, они здесь уже привыкли к готовым расплакаться родителям, которые обращаются к ним со своими бессвязными просьбами.

— Мы являемся центром для детей в состоянии, которое угрожает их жизни или ограничивает их возможности. Из того, что я слышала о Фрейе, она могла бы попасть к нам, если бы вы жили в районе, который обслуживается нашим учреждением. Послушайте, я понимаю, сейчас обстоятельства могли привести вас в растерянность. Мы для того, чтобы помогать людям. Давайте я вам все здесь покажу.

Мы входим в светлую комнату, полную игрушек. Тут находится всего один ребенок, который сидит в кресле-каталке. Возраст его определить невозможно: он совершенно лысый и иссохший, словно восьмидесятилетний старик. Нянечка подбегает его поиграть легко смываемыми красками для рисования пальцами. Он с сомнением смотрит на открытые цветные баночки. Она берет его тонкую руку и осторожно окунает ее в ярко-синюю краску. Он сжимает пальцы в щепотку и мгновение внимательно смотрит на них. Внезапно он делает стремительное движение в ее сторону, мазнув ее краской по носу. Она смотрит ему в глаза. Оба смеются. Его рот и зубы кажутся непомерно большими на его высохшем лице.

Мне снова хочется плакать.

— Здесь так спокойно, — говорю я.



— Да, сейчас просто учебный семестр. У нас тут нет учебных заведений, так что нам не разрешают держать детей школьного возраста во время семестра. Если они только не смертельно больны, конечно.

— А много у вас тут смертельно больных?

— Есть несколько человек. Но большинство детей такие, как Фрейя: у них очень сложные потребности. Например, они могут питаться только через трубку, а трубка эта работает от насоса. Или у них может быть кислородный баллончик. Обычно они передвигаются на каталках. И разумеется, все они на коктейлях из разных лекарств. Первое, что мы должны сделать, — это узнать от родителей, как выполнять их повседневный режим.

Перед глазами возникает мимолетное видение будущего Фрейи.

— Это так утомительно, — говорю я. — А как справляются их семьи?

— Все они реагируют по-разному. Мы, конечно, видим, что некоторые настолько в отчаянии, что готовы отделаться от своих детей и сбежать. Но другим трудно выносить разлуку со своими неполноценными детьми даже по праздникам. У нас тут есть комнаты, где можно остановиться; мы делаем всю тяжелую работу, в то время как они просто расслабляются для смены обстановки. В этом смысле мы очень гибкие.

— Так вы могли бы взять Фрейю? Насовсем? — Я не ожидала, что мой вопрос прозвучит так резко.

Следует секундная пауза.

— Я не уверена, что вы меня правильно поняли, — говорит она. — Мы ухаживаем за детьми только как подмена родителей. Чтобы семьи могли взять выходной.

— А есть где-нибудь такое место, куда ее могли бы взять на все время?

— Самое лучшее место для ребенка на все время — это его семья, — назидательно говорит она, как будто читает текст из инструкции.



— Но я мать-одиночка.

— Как и очень многие из наших клиентов. И обычно у них несколько детей, за которыми нужно присматривать.

Я какое-то время беспомощно смотрю на нее. Она смягчается и улыбается мне.

— Но всем время от времени требуется передышка, — говорит она. — Фрейе мог бы быть предоставлен уход у нас на две недели в год.

\* \* \*

Последняя моя встреча должна состояться на Харли-стрит. Я понятия не имею, как я смогу это себе позволить, но я не могу вынести разлуку с Фрейей без какой-то замены. Мне нужны мои близнецы. Я должна превратить их в реальность.

Я пыталась забеременеть естественным путем, и это обернулось катастрофой.

В итоге я пришла к убеждению, что проблемы Фрейи и мой выкидыш были обусловлены дефектным геном, носителем которого является кто-то из нас с Тобиасом.

Я уговариваю себя, что пришла сюда, потому что у меня нет шанса вернуться к Тобиасу, но на самом деле это из-за того, что я не доверяю природе. На этот раз мне необходимо, чтобы все было регулируемо и находилось под контролем.

Еще одно здание времен Регентства. Еще одна латунная табличка. Я поднимаюсь по ступенькам к внушительным парадным дверям и звоню в частную клинику экстракорпорального оплодотворения — ЭКО.

Пациентки в зале ожидания все женщины: профессионального вида, хорошо одетые, чуть старше того возраста, которого можно было ожидать от матери. Из оправленных в рамочки коллажей со стен на нас взирают тысячи младенцев, зачатых в этой клинике. Мы все сидим под взглядами этих деток в полной, ничем не нарушаемой тишине, какая бывает в библиотеках. Я оглядываюсь по сторонам в поисках доброжелательного лица. Но никто мне в ответ не улыбается.

Я ожидаю со стороны мужчины-консультанта скрытого морального осуждения, в особенности потому, что в заполненном мной формуляре в графе «статус отношений» я указала, что одинокая и без партнера. Но похоже, что ЭКО в большей степени коммерческое мероприятие, чем медицинское.

— Мы можем поставить вас в очередь на донорскую сперму, — говорит он. — Использование другого партнера, разумеется, виртуально исключает любой риск, если состояние вашей дочери было связано с рецессивным геном, присутствовавшим у вас или вашего бывшего мужа. По закону вам необходимо пройти диагностический тест на ВИЧ и гепатит С. Вероятно, было бы неплохо пройти начальное обследование на уровень фолликулостимулирующего гормона — это даст нам информацию, насколько хорошо у вас проходит овуляция. Если позволяет резерв яичников, я предложил бы начать с ВМО — внутриматочного оплодотворения. Мы просто введем сперму вам в матку. Это дешевле и менее инвазивно. Если это не сработает, следующим шагом будет полное оплодотворение *in vitro* — в пробирке. И, конечно же, если будут какие-то сомнения насчет того, что на ваш выкидыш могло повлиять качество вашей яйцеклетки, мы можем рассмотреть вопрос с донорской яйцеклеткой. — Он смотрит на тонкие золотые часы у себя на руке. — Вы можете сдать анализ крови прямо сейчас. Медсестры дадут вам формуляры для заполнения. Через несколько дней мы вам позвоним и сообщим о результатах.

\* \* \*

В конце концов я не выдерживаю и звоню Марте. У нее очередная запарка, но она готова сбежать и встретиться со мной в «Шордиче»<sup>1</sup>, возле архитектурного бюро, где она работает.

Официантка усаживает меня рядом с двумя молоденькими девушками в модных нарядах. Восьмидесятые возвращаются

---

<sup>1</sup> Отель в центре Лондона с рестораном и баром. (Примеч. ред.)



или, может быть, это просто прихоть молодежи. Девушки едва вышли из подросткового возраста. Возможно, они вместе учились в школе, как мы с Мартой, а теперь впервые вновь встречаются в большом городе.

Так все это и начинается: следят за тем, как они одеты, как выглядят, их переполняет неуверенность в себе и одолевают мелкие проблемы. Затем жизнь крепко бьет их разок-другой, и некоторые из друзей отсеиваются, но некоторые остаются, чтобы пройти через невзгоды вместе. Пока не станут потрепанными, помятыми, в морщинах и шрамах, как физических, так и метафорических. Пока не перестанут притворяться. У меня есть друзья, которых я знаю почти все свои тридцать девять лет, и если я дотяну до восьмидесяти, то, надеюсь, будут у меня друзья, которых я буду знать почти восемьдесят лет.

Появляется Марта и обнимает меня.

— Ты так изящно выглядишь, — говорю я. — У тебя такая челка. Тебе идет.

Помимо новой стрижки, на ней розовое шерстяное платье, черные кожаные ботинки и черная кожаная куртка, как у байкера. Городской прикид.

— Увидеться с тобой здесь — это какой-то фантастический сюрприз, — говорит она. — Ты приехала прошвырнуться по магазинам или что-то еще? Как твоя жизнь?

— Давай сначала ты.

Марта, если того требуют обстоятельства, иногда может быть тактичной.

— Слишком много работы, как обычно, — медленно говорит она. — Видела парочку хороших фильмов. Так пока и не встретила перспективного партнера для совместной жизни. Ходила на пару свиданий, которые казались мне многообещающими, но не повезло. Мужчины вокруг все какие-то... эгоистичные, что ли. Сосредоточенные на себе. В Лондоне слишком много классных женщин, которые крутятся вокруг слишком небольшого количества нормальных

мужиков. И это делает их самодовольными. Мужиков, я имею в виду. Честно говоря, послушала сейчас себя и поняла, что жизнь моя могла бы быть и поинтереснее. Теперь твоя очередь.

Я стараюсь поддержать такой же небрежный тон, каким говорила она.

— В общем... мне наконец-то стало ясно, что мы больше не можем держать Фрейю у нас дома. Но Тобиас, похоже, в настоящий момент с этим не согласен. Вот я и приехала сюда, чтобы отдать ее в приют. И провести ЭКО, чтобы у меня были мои близняшки. От другого партнера, понятное дело. Банк спермы.

Марта бросает на меня один из своих пронзительных взглядов.

— Когда я говорила, что хотела более интересной жизни, — говорит она, — я не имела в виду, что она должна быть настолько уж интересной, как *твоя*. — Она выдерживает секундную паузу. — Анна, ты что, совсем спятила, окончательно и бесповоротно?

— Вовсе нет. Все это — чистая правда. Тобиас не хочет оставлять ее. Поэтому я оставила их обоих. Все это к лучшему, правда. Теперь я в этом просто уверена.

— Ты разыгрываешь меня? Ты бросила своего ребенка?!

— Марта, это должно было когда-то случиться — рано или поздно. Я слишком долго прятала голову в песок. Не имеет смысла прикидываться, что все еще будет в порядке. Потому что в порядке не будет. Для меня внезапно прошла проверка реального положения вещей. И слава Богу, что это произошло. Потому что и так уже слишком поздно.

— А как же твой муж? Как Тобиас?

— Честно говоря, Марта, наши отношения уже несколько месяцев как зашли в тупик.

— Теперь я и вправду вижу, что ты их потеряла. Если хочешь знать, вы с Тобиасом, видимо, были главной причиной того, что я не встретила своего мистера Правильного Мужчину.



Я не могла согласиться на что-то менее... страстное, веселое и заботливое, чем у вас. Не говоря уже обо всех тех невозможных вещах, которые вы с ним вдвоем делали, совершенно не прилагая никаких усилий.

— О, как раз без усилий ничего не было. Я наконец-то получила разрешение открыть свою кулинарную школу, но тут, кажется, все одновременно встало на моем пути: и ребенок, и Тобиас, и пересыхающая земля, и рушащийся дом, и портящиеся фрукты, которые нужно консервировать, и все это поместье, переполненное крысами. Не говоря уже о погоде: ураганоподобные ветры, то засуха, то наводнение, минусовая температура или жара, в которой можно спечься. И целая куча разных эксцентричных персонажей, которые ведут себя совершенно неконтролируемо. И этот беспорядок... Я не могу ничего добиться. Слишком много отвлекающих факторов. Мне просто мешает сама жизнь.

— Знаешь, Анна, — медленно говорит Марта, — у меня замечательная работа. Моя карьера, которая удерживает меня занятой все время. Любой может работать, пока не умрет. Но я хочу жизни.

\* \* \*

Со смерти своего отца я избегала возвращаться в дом, где выросла. Он остался в точности таким же. Короткая дорожка через сад. Аккуратно покрашенная передняя дверь, латунное дверное кольцо. Стойка для зонтиков и запах восковой мастики в прихожей. меховые пальто моей матери и шерстяные пальто моего отца, висящие каждое на своих крючках. Гостиная с эркерным окном и удобными креслами, накрытыми той же тканью «либерти», из которой сделаны шторы. Дубовые журнальные столики. Элегантная белая с синим ваза, полная свежих цветов. Гравюры в рамках с изображением лошадей. Все эти вещи знакомы мне так же, как мое собственное лицо. И каждый из этих предметов вызывает какое-то свое воспоминание из детства.



Всего одиннадцать утра, но моя мать встречает меня в дверях в блестящем черном платье, при полном макияже, с жемчужным ожерельем на шее. Волосы аккуратно уложены, мне не верится, что все это ради меня.

— Должно быть, ты проголодалась, дорогая. Присаживайся в гостиной. У нас с тобой будет ранний ленч.

— Я пойду помогу тебе.

Холодильник ее забит совершенно несуразным количеством продуктов.

— Мама, ты не должна была этого делать. Я даже не знаю, сколько я у тебя пробуду.

— Я так хотела, чтобы твой визит прошел успешно, — говорит она с душераздирающей искренностью в голосе. — С точки зрения еды, по крайней мере.

Едим мы на кухне. На обед у нас очень вкусный мамин овощной суп, копченый лосось с черным перцем и ломтиками лимона, свежий черный хлеб и салат.

— Я подумала, что мы могли бы с тобой немного прогуляться, — говорит она.

Мы с ней десять минут идем вверх по улице до продуваемого всеми ветрами угла, откуда открывается вид на раскинувшиеся вокруг поля графства Кент.

— Когда мы вернемся домой, я должна тебе что-то сказать, — говорит моя мама. Так что, разумеется, мы поворачиваем назад.

— Я не хочу никаких споров по этому поводу, — говорит она. — В прошлом ноябре — перед тем, как родилась моя внучка, — я вдруг поняла, что после смерти твоего отца я тратила деньги маниакально. Поэтому я начала экономить и без всякого напряжения копить. Мне нужна была цель, нужна была причина экономить, поэтому, когда родилась Фрейя, я начала откладывать деньги для нее. Теперь я хочу открыть для внучки соответствующий трастовый фонд, и для этого мне нужно разрешение ее родителей.

— Это не обязательно.



Мама набрасывается на меня с ожесточением, необычным для нее.

— Знаешь, она ведь не только *твоя*, она принадлежит всем нам — Тобиасу, твоему отцу, Марте, даже Кериму с Густавом и той радостной девочке, которая все время слонялась там без дела. И я не хочу, чтобы ты проявляла в отношении нее собственные настроения.

— Я очень тронута, — говорю я, — но...

— Она тронута! Тронута? Да как ты *смеешь* быть тронутой! — кричит моя мама. — Мы ведь семья!

\* \* \*

Дом моего детства остался не настолько неизменившимся, как мне это показалось вначале. Постепенно я начинаю замечать, что, хотя снаружи все выглядит безукоризненно, чуть глубже под поверхность царит беспорядок. Ножи и вилки свалены в выдвижные ящики на кухне кое-как, шкаф для белья забит до отказа. Я открываю буфет и обнаруживаю, что моя супер-аккуратная мама хранит там старые газеты.

— Зачем они тебе нужны? — спрашиваю я.

Она обиженно смотрит на меня.

— Просто нужны, вот и все.

В комод у меня в спальне полно моли, которая медленно ползает по моим детским вещам. И лопают накладки моих шерстяных колготок.

Я вытаскиваю всю эту кипу, стираю то, что еще можно спасти, и укладываю все вещи в герметично закрывающиеся пластиковые пакеты. Каждый новый день я перехожу к следующему шкафу в этом доме.

На дне гардероба в маминей спальне я обнаруживаю портфолио с ее старыми рисунками, еще со школы.

— Мама, они замечательные, — говорю я.

— Это я готовилась поступать в колледж искусств, — говорит она. — Школа Слейд. Знаешь, и меня ведь взяли туда.

— Почему ты мне об этом никогда не рассказывала? Что произошло?

— От меня ожидалось, что я хорошо устроюсь, выйду замуж и заведу детей. Мои родители считали, что для меня гораздо больше подойдет домоводство. Ну и конечно, к тому времени я уже встретила твоего отца.

— Но почему ты никогда не занималась живописью после этого? Просто так, для своего удовольствия, я имею в виду.

— Думаю, это был страх, дорогая. Как только ты что-то наносишь на бумагу, тебя уже можно отнести к какой-то категории. А до тех пор ты можешь быть просто непризнанным гением. Я долгие годы думала, что вот, наступит день, и я продемонстрирую всему миру, какой я великий художник, а потом однажды я стала старой и поняла, что этого никогда не произойдет.

Она аккуратно складывает свои рисунки обратно в портфолио.

— А знаешь, я горжусь тем, что ты сделала карьеру. Я хорошо готовлю, но ты — ты профессионал. В каком-то смысле ты — художник, которым я так никогда и не стала.

Поэтому я сегодня готовлю для нее.

Я накрываю кухонный стол белой льняной скатертью иставляю ее лучшую посуду и столовые приборы. Она протестует, но вяло. На самом деле ей все это нравится.

Я делаю филе-миньон под соусом с черным перцем — любимое блюдо отца. И несмотря на ее возражения, открываю бутылку очень хорошего бургундского.

— Когда я впервые стала матерью, — говорит она, — я боялась, что буду не в состоянии справиться с этим. Твой отец для помощи мне нанял одну из акушерок. Это был сплошной кошмар: она постоянно уносила от меня моего ребенка. Говорила, что приносить его нужно по расписанию. Не одобряла кормление грудью. О, я много часов провела в слезах, потому что за стенкой кричит от голода мой ребенок, а меня к нему не пускают. Наконец я не смогла больше этого вынести и побралась туда. Сестра По крепко спала и похрапывала. Я незаметно перенесла младенца к себе на кровать. Я дала ему свою грудь, и он долго сосал и сосал. Именно в этот момент



я влюбилась в тебя. Твои глазки были просто очаровательны — как озера, в которые можно погрузиться. Совсем как у Фрейи. Я никогда в жизни не испытывала такой любви. И уже не испытаю. На следующий день я набралась храбрости и уволила эту нянечку.

Мы чокаемся своими бокалами.

— Ты была моей единственной, — говорит она. — Я знала о тебе все на свете. Поэтому я и хотела, чтобы ты узнала, как замечательно быть матерью.

— О, мама, — говорю я, — ничего замечательного в этом нет. Я — плохая мать, а попытки быть хорошей разрушают мою жизнь. Я сыта этим по горло, я злюсь, и я... обижена. Кажется, что все вокруг примирились с тем, что произошло с Фрейей, — все, кроме меня. Даже Тобиас. Но я не могу. Я вижу на улице маленьких девочек с их мамами и чувствую... такую тоску, которую просто не могу описать. У меня забрали кого-то, кого я даже не успела узнать. Это хуже, чем тяжкая утрата: у меня даже нет никаких воспоминаний. Она не такая, какой должна была бы стать, и никогда такой не будет. И лучше не будет — я точно знаю, что не будет. Потому что мы с ней связаны. Я буду страдать так же, как будет страдать она. Она уже никогда не отпустит меня. Но она неполноценная.

Моя мама обнимает меня и держит так же крепко, как делала это, когда я была маленькой. А я так же неконтролируемо плачу, судорожно хватая ртом воздух. Каждое слово дается мне с трудом.

— От деток ожидают, что они будут маленькими... капсулами... с надеждами и мечтами. Смотришь на них и представляешь себе... как будто перескакиваешь во времени... первый день в школе, поступление в колледж, свадьба. Эти мысли поддерживают тебя всю ночь. Смотришь на плачущее личико и видишь... будущего премьер-министра или просто счастливого человека и думаешь, что жизнь у них будет лучше, чем твоя. Это помогает переносить ночи без сна, тревоги и страха, боль в спине и в сердце, потому что дети — это надежда,

это будущее. Фрейя очень славная, но она просто подарок. Она никуда не идет — разве что, может быть, куда-то назад. Не думаю, что я настоящая мать. Я даже не думаю, что люблю ее.

— А теперь послушай меня, мой смешной ребенок. Об этом как раз не беспокойся. — Руки моей мамы сжимают меня, как в тисках. — Твоя любовь к этому ребенку светится во всем, что ты говоришь и что делаешь. Я очень горжусь тобой за то, что ты сделала для нее. Знаешь, от ребенка получаешь только то, что вкладываешь в него. Это и называется быть матерью: не делать все время только правильные вещи и не быть какой-то ужасно святой.

Она отодвигает меня и, держа за плечи на вытянутых руках, внимательно вглядывается мне в глаза.

— Знаешь, я думаю, что тоже была не такой плохой в этом смысле.

Словно в старом крупнозернистом кинофильме я уношусь в детские воспоминания. Я сижу за этим же кухонным столом. Моя мама, только в молодой и красивой своей версии, стоит перед плитой, на которой сковородка с ручкой.

— О нет, только не рыбные котлеты... — хнычу я. — Я их не люблю.

— Ладно. Ты можешь получить свои деньги обратно на входе.

Я озадачена.

— Но... я ведь ничего не *платила*!

Моя мама триумфально подбрасывает в воздух свою кулинарную лопатку и через два оборота ловко ловит ее.

— *Именно это*, дорогая моя, я и хотела сказать. А теперь забирай то, что ты внесла в это дело, и закрой рот.

В какой момент мы с моей мамой стали такими разными? Что она мне такого сделала, что я на нее все время обижена? Она любила меня клаустрофобно. Кричала только изредка. Делала, что могла. Ничего похожего на то, что задумала я: бросить своего ребенка. Если бы существовал утешительный



приз самой плохой матери в истории, я точно должна была бы стать одним из кандидатов на его получение. Вот я какая с моей дочкой, которую всегда хотела, а теперь на входе хочу получить назад мои денежки.

Тобиас самостоятельно даже не в состоянии сварить себе яйцо. А что говорить о моей маленькой Фрейе, которая одна в больнице? Только Богу известно, каким тяжелым может быть ее состояние к этому моменту.

— Я должна вернуться, — говорю я.

\* \* \*

Я в аэропорту, жду своего самолета обратно на Монпелье. Я обошла стороной бар с гамбургерами и пью кофе в заведении, которое входит в сеть новомодных ресторанчиков. На стенах развешены плакаты со звездами музыки, а столики сделаны из формованной пластмассы в стиле «ретро».

Вокруг себя я вижу таких же хорошо одетых деловых женщин, с которыми накануне столкнулась в клинике ЭКО, только эти пичкают из ложечки маленьких детей, скармливая им пюре домашнего приготовления, или пытаются утомонить своих трехлетних сорванцов, которые бешено носятся по всему залу. Если бы Фрейя оказалась такой, я могла бы быть одной из них.

Даже в этот ранний час эти женщины модно одеты и накрашены. Они по-прежнему переживают о том, что о них подумают люди. Они никогда не испытывали ударов судьбы, потрясших их до основания или доставших до глубины души, до самой сути, пока жизнь не заставит их понять, из чего она у них сделана, эта суть.

Я сижу и наблюдаю за женщинами, которые прихлебывают капучино и болтают о пустяках, дожидаясь своих рейсов, чтобы улететь на выходные. Их жизнь кажется поверхностной и скучной, а их нормальные здоровые дети — гротескными и неуклюжими.

Мой ребенок и моя жизнь экстраординарны, оба.

Звонит мой мобильный. Это из клиники ЭКО.

— Результаты ваших тестов проходят, — говорит медсестра. — Вы можете подъехать завтра, чтобы обсудить дальнейшие действия.

— Все это хорошо, спасибо, — говорю я. — Но, в конечном счете, ребенок мне не нужен. Я выяснила, что один у меня уже есть.

\* \* \*

Вестибюль центральной больницы Монпелье. Условный рефлекс — совсем по Павлову — на предчувствие беды, как в первый день в школе. Я очень хорошо знаю дорогу в детское отделение. Здесь направо и в лифт, наверх. Но в каком состоянии будет Фрейя? Без сознания, вероятно. Полная тишина, только чавканье насоса, поддерживающего ее жизнь. И Тобиас, злой и по-прежнему обвиняющий во всем меня.

В последний момент до меня доходит, что я вновь собираюсь отказаться от намеченного. И ненавижу себя за это.

Я разворачиваюсь и выхожу из больницы.

Мне невыносимо страшно сталкиваться с тем, с чем я должна буду столкнуться, что бы это ни было. Но заставить себя уехать я тоже не могу.

Некоторое время я брожу по ухоженному саду, мимо лужаек с грубой, стойкой к засухе травой, обсаженных слишком яркими сочными цветами.

Как-то само собой я подхожу ко входу в психиатрическое отделение, где лежит Лизи. За свой прошлый приезд мне удавалось пару раз навещать ее. Похоже, что ей тогда стало немного лучше; она упоминала, что хотела бы сходить к Фрейе.

Я поднимаюсь по трем ступенькам, ведущим к двери в отделение, и иду по арктическим коридорам. Робко постучав, я слышу знакомый голос Лизи:

— Войдите.

Когда я вхожу, мимо меня к выходу идет невысокая женщина с черными с проседью волосами. Лизи сидит на стуле у окна. Мы долго обнимаемся. Она бледна, но в остальном выглядит окрепшей. Я сажусь напротив нее и беру ее за руку.



— Лизи, ты выглядишь намного лучше, — говорю я.

Она застенчиво улыбается мне.

— Я должна сказать вам что-то важное, — говорит она. — Во-первых, я понимаю, что то, что я сделала, было глупо. По крайней мере все постоянно мне об этом говорят.

— А сама что ты думаешь об этом? — спрашиваю я.

— Я думаю... у меня такое чувство, будто то, что случилось со мной, произошло *для чего-то*. Как только я поняла и приняла это, вокруг меня стали происходить всякие забавные вещи.

Несмотря на все мои опасения, возвращение к жизни той, прежней Лизи вызывает у меня улыбку.

— Это не шутка, Анна, — убедительным тоном говорит она. — Мне в конце концов разрешили навестить Фрейю, и пока я была там, она взяла бутылочку и начала сосать. Это было какое-то чудо.

— Фрейя... Так ее не нужно кормить через трубку?!

— Нет-нет, об этом я вам и толкую. Это было первое чудо.

— Лизи, ты в этом уверена? Это очень важно для меня.

— Ну конечно, но это было *маленькое* чудо. А вот *большое* чудо в том, что я связалась со своей мамой.

— Правда? — Ее светящееся лицо придало мне уверенности, и я добавила: — А я думала, что у тебя нет матери.

— О Анна, мать есть *у каждого*. Я думала, что моя ненавидит меня. Но каким-то образом я все-таки смогла позвонить ей. Жизнь ее теперь складывается намного лучше.

Будто нарочно дверь распаивается, и в палату возвращается темноволосая женщина с двумя чашками травяного чая.

— Привет, — говорит она, обнажая в широкой улыбке великолепные калифорнийские зубы. — Я Барби. А вы, должно быть, Анна. Лизи рассказывала мне про вас.

— Моя мама сразу же приехала во Францию, — восторженно говорит Лизи. — Прямо сюда. На самолете. Ради меня.

Я перевожу взгляд с бледного сияющего лица Лизи на слишком уж идеальные зубы Барби, и меня мучает дурное



предчувствие. Лизи такая ужасно хрупкая. Если ее еще раз бросят, это будет для нее концом.

— На этот раз я буду поблизости, — обращаясь ко мне, говорит Барби, словно прочитав сомнение на моем лице. — Я думала, что все безнадежно испортила. Думала, что потеряла свою дочь навсегда. И я ни при каких обстоятельствах не допущу, чтобы это произошло снова.

На какое-то мгновение наши взгляды встречаются, и ее круглые пыльные глаза смотрят прямо мне в душу. Затем идеальная улыбка возвращается, и маска вновь на своем месте.

— Когда мы выберемся отсюда, — бодро говорит она, — мы собираемся присоединиться к обществу естественного времени 13/28.

— Естественного времени? — переспрашиваю я.

Лизи коротко хихикает.

— Ох, Анна! Время нелинейно. Оно фрактально<sup>1</sup> и многомерно. А наш календарь совершенно неестественный.

Барби кивает.

— Во всех духовных системах 12 — это число совершенства, завершенности, а 13 относится к числам Фибоначчи<sup>2</sup>, и оно переносит вас в новое измерение. Кроме того, большинство осознанных сообществ берут плату за то, чтобы стать их членом, но эти люди пустят вас к себе бесплатно.

— Я должна идти, — говорю я. — Я просто заглянула сюда по пути в отделение педиатрической неврологии, чтобы увидеть Фрейю. Кстати, а Тобиас сегодня с ней?

Лизи и ее мать молча смотрят на меня.

Наконец Лизи говорит:

---

<sup>1</sup> Фрактальный (от лат. *fractus* — дорбленный, разбитый) — составленный из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре. (*Примеч. ред.*)

<sup>2</sup> Ряд Фибоначчи (ок. 1175—1250) — числовая последовательность, в которой первые два числа равны 1, а все последующие равны сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. (*Примеч. ред.*)



— Об этом я вам и говорила. Это просто чудо. Тобиас уехал. Фрейю выписали.

\* \* \*

Я подозревала Тобиаса в том, что он завел роман, но на самом деле это я ему изменила.

Я обвиняла его в том, что он не посвящал себя Фрейе, но ушла от нее я.

У меня такое чувство, что мы были в разлуке месяцы и годы, а не какую-то неделю. Перед новой встречей с ним я нервничаю, в животе порхают бабочки, как на первом свидании.

В Монпелье я сажусь на автобус. Я не звоню ему заранее, опасаясь, что он скажет, чтобы я не приезжала.

Он сидит в гостиной рядом с печкой. Фрейя спит у него на груди, возле них стоит пустая бутылочка из-под детского питания. Он выглядит более серьезным, чем мне запомнился. Вокруг глаз у него по-прежнему есть смешливые морщинки, но появились и другие морщины — следы грусти и тревоги. Он, конечно же, утомлен, но это больше, чем просто усталость. Что-то сместилось в его лице. Он взял на себя ответственность.

— Привет.

При виде меня он улыбается, и на мгновение возвращается прежний беззаботный Тобиас.

— Значит, ты все-таки вернулась.

— Я была в больнице, чтобы навестить Лизи. Подумала, заеду, посмотрю, как вы тут.

Лицо его снова закрывается.

— О, да ты же меня знаешь! Как видишь, сижу себе на скалах, греюсь на солнышке с ящерицами.

На какой-то миг все зыбко раскачивается, мы опять на самом краю нового замкнутого круга обид, новых недоразумений. И я осознаю, что это наш последний шанс. Прямо здесь и сейчас наша любовь может сорваться в пропасть и рассыпаться на мелкие кусочки, которые никогда уже не сложить вместе, если только я не нырну и не спасу ее. И в тот же самый

миг я вдруг понимаю, что моя любовь к Тобиасу и моей дочери — это самое дорогое, что у меня есть. Она выше гордости, выше счастья, выше надежд и страхов. В моей жизни ее ни с чем сравнить нельзя. Она превосходит все.

И я ныряю. Слова сами срываются с моих губ:

— Но я приехала не поэтому. Я не могу находиться где-то в другом месте. Моя семья здесь. Я была... неправа... когда уехала. Прости меня. Я была в смятении...

После того как я начала говорить, становится легче.

— Я скучала по тебе. Я очень скучала по вам обоим. Это было так, как будто я умерла и оцепенела и была вообще неспособна что-то чувствовать. Я хочу сказать... *Я так думала*, что долгое время была здесь в оцепенении, пока не уехала, но когда я на самом деле оторвалась от вас обоих, то поняла, что солнце светило мне, хотя и невидимым светом, но я закрыла его для себя раз и навсегда, повернувшись к нему спиной. Я не могла этого вынести. Я не хочу другого ребенка. Я хочу только ее и тебя.

Очень осторожно, потому что продолжает держать на руках Фрейю, Тобиас встает и подходит ко мне. Не опуская ее, он неловко, одной рукой обнимает меня. Я тоже одной рукой обхватываю его, а другой — ее. Мы стоим так втроем очень долго, как мне кажется, пока я не чувствую, что дыхания наши слились в одно.

— Ты не должна извиняться, — шепчет он. — Мы с тобой оба вели себя довольно отвратительно. Перестали разговаривать друг с другом. Мы с тобой оба были в отдельных оболочках собственного несчастья и думали только о себе.

— Я была хуже. Я сбежала от своей собственной дочери. Все время я думала, что следую высоким моральным принципам, и обвиняла тебя в том, что ты не выполняешь свою часть работы, а в конце концов оказалось, что сплеховала именно я.

Тобиас говорит:

— Ничего ты не сплеховала. Ты держала нас на своих плечах недели и месяцы напролет, а я ничего не делал, чтобы



поддержать тебя. Так что неудивительно, что в итоге ты выдохлась.

Он осторожно освобождается от меня и передает Фрейю мне на руки. Я сжимаю дочь так крепко, что лицо у нее краснеет, а в том месте, где она касается моего плеча, появляется пятно. Она уютно прислоняется к моему телу, и я слышу, как она посапывает. Когда я немного отклоняю назад свою голову, то вижу полуразмытую картину ее уха и приоткрытого рта.

— По ощущениям она кажется мне самой реальной вещью на всем белом свете.

— Вначале я боялся любить ее, чтобы потом не было больно, — говорит Тобиас. — Но самое забавное в том, что не любить ее было еще хуже. А сейчас я люблю ее так сильно, что это почти невыносимо, потому что я знаю, что однажды она разобьет нам сердца. Но именно это заставляет меня чувствовать связь с жизнью. Это нелегко, но оно того стоит.

— Я люблю тебя, — говорю я. — Мне так повезло, что у меня есть вы оба. Я едва не потеряла тебя. И теперь не собираюсь никуда отпускать.

— Знаешь что, — говорит он, — а ведь «Мадам Бовари» в конце концов все-таки получила финансирование. Функционеры Салли убеждены, что это моя музыка помогла сдвинуть дело с мертвой точки, так что теперь я их «золотой мальчик». Я собираюсь дождаться окончательного монтажа картины, прежде чем даже начну думать о том, чтобы продолжать писать дальше. Но теперь все должно пойти относительно быстро — я должен быть готов вылететь в Лондон в следующем месяце на запись, а потом мне заплатят.

Он ухмыляется. Прежний Тобиас снова на месте; он никуда не исчезал за всеми этими тревогами.

— Готова поспорить, что ты ни разу не удосуужился что-то себе приготовить, пока меня не было, — говорю я. — Поэтому я собираюсь приготовить тебе что-нибудь вкусное прямо сейчас.

— Ох, — говорит Тобиас, — собственно говоря, Анна, не могла бы ты просто...

Но слишком поздно. Я уже вошла на кухню. Причем достаточно быстро, чтобы заметить три-четыре знакомых тени, метнувшихся по углам.

— Прости, Анна, я ведь только-только вернулся... ну ладно, вернулся пару дней назад. Но у меня все равно не было времени тут убрать.

Разбитые банки валяются там же, где я их оставила. Моя кухня представляет собой безрадостный хаос из битого стекла, керамической фасоли для выпечки, кукурузной муки, спагетти с чернилами кальмара, меда чайного дерева.

Крысы несколько дней топтались по всей этой разрухе, гадили повсюду, строили свои гнезда из обрывков картона. Одна из крыс захватила себе в собственность банку с «Нутеллой». Вместо того чтобы убежать вместе со всеми, она поднялась на задние лапки и скалит на меня свои зубы. Я застыла на месте, не в состоянии пошевелиться или что-то сказать.

Тобиас начинает бессвязно оправдываться:

— Анна, я знаю, что должен был все убрать. Мне правда искренне жаль, и ты можешь мне не верить, но я действительно очень хорошо справлялся с Фрейей самостоятельно. Она получала все свои бутылочки вовремя. И свои лекарства тоже. Я ничего не путал. Просто руки не дошли убрать... Но мы можем все восстановить. Я привезу еще стеклянных банок, и мы сможем все переделать. Твоя система работает. Через стекло они пробраться не могут. Пожалуйста, не уходи опять.

Крыса, охраняющая «Нутеллу», задирает нос вверх и издаст серию резких озлобленных писков.

На моих глазах снова выступают слезы. Я сгибаюсь пополам, не в силах удержаться от хохота.

— Да все в порядке, — говорю я. — Сдаюсь. Просто придумаем им имена и будем содержать как домашних любимцев.

Тобиас тоже начинает хохотать. Полагаю, что от облегчения.

— Эй, — сквозь смех говорит он, — если нам не удастся завести еще детей, пусть у нас будет вместо них зверинец.

Мы начинаем двигаться по кухне, разгребая мусор.



— Знаешь, Анна, ты совершенно ненормальная, но ты сотворила какое-то волшебство, — говорит он. — Которое не дает нам сдаться и погибнуть. Которое привело нас сюда. Сделало нашу жизнь такой сложной, такой... ну, богатой, что ли — думаю, можно так сказать.

— Это не я, — говорю я, — все это место. Я заметила это, когда вернулась обратно в Лондон. Люди здесь более... однородные. Здесь каждый человек — личность. Здесь больше пространства для эксцентричности, в том или ином ее проявлении. И ребенок-инвалид просто отходит на второй план.

Бросая осколки битого стекла в картонную коробку, которую передо мной держит Тобиас, я думаю: у нас были свои взлеты и падения, но в итоге мы помогли выявить друг в друге самое лучшее — мы все-таки чертовски хорошая команда!

Может, мы окажемся способны справиться с Фрейей, может, нет, но мы продолжаем идти своей дорогой, и мне лучше просто покрепче держаться за руку Тобиаса и не заглядывать далеко вперед.



Мы с Тобиасом, держась за руки, идем по хребту дракона мимо заводи с невидимым краем, направляясь к дому Жульена на дереве; Фрейя, как обычно, висит в перевязи у меня на груди.

Когда мы подходим поближе, слышим слабый стук молотка, раздающийся откуда-то сверху.

— Ох, — ошеломленно выдыхаю я.

Дом выглядит совершенно по-другому. На окнах льняные занавески в красную и белую клетку, появились ветряная турбина, генератор и панели солнечных батарей, развешанных по разным веткам.

— *Bonjour!* — восторженно кричит женский голос. — Анна! Как я рада снова видеть вас вместе с нами!

— Ивонн! — отзываюсь я. — Так вы живете на дереве?

Она высовывается из окна и показывает нам блестящее обручальное кольцо.

— Скажем так: мы пришли к соглашению. Поднимайтесь! Жульен трудится над другими усовершенствованиями.

На деревянной веранде сохнет белье. Над входной дверью установлена спутниковая тарелка, рядом стоят микроволновка и холодильник, ожидая, когда их занесут в дом.

— Когда Жульен закончит с водопроводом и проводкой, — говорит Ивонн, — мы хотим сделать тут парапёт. Бетонный, конечно, будет слишком тяжел, но я нашла из стекловолокна, который выглядит совсем как настоящий.

Внутри Жульен устанавливает душ.



— Анна. — Он улыбается мне своей обезоруживающей улыбкой. — Все-таки вернулась. Ты сделала правильный выбор.

— Как и ты, — говорю я. — Ты сделал то, что должен был, чтобы получить эту девушку.

Он смеется с таким выражением, которое у любого другого я бы приняла за смущение.

— Кто-то должен был пойти на компромисс, — говорит он. — Кстати, у меня для тебя кое-что есть. Решение твоей проблемы с крысами. Я говорил тебе, что подумаю над этим, — мне просто нужно было некоторое время.

Он идет в угол и начинает рыться в картонной коробке.

— Вот. Крысоловка. Безотказная.

На руку мне он кладет котенка: дымчато-серая шерсть его торчит в разные стороны, но при этом он мурчит громко, как ракетный двигатель.

— Лучший во всем помете, — говорит он. — И если я что-то понимаю в характере, этот будет отличным охотником.

— О, Жульен, что же ты мне раньше не сказал? Вся эта бесполовая суета с ловушками и стеклянными банками...

— Я хотел сделать тебе сюрприз. Я знаю, что он был тебе нужен раньше, Анна, но природу нельзя подгонять.

\* \* \*

Я звоню Кериму и рассказываю ему все наши новости: про бегство и возвращение домой, про то, что Фрейе лучше, про разбитые банки и крыс, про то, что Жульен с Ивонн живут на дереве, про котенка и про то, что Лизи нашла свою мать.

— А как там Амелия? — спрашивает он.

— Честно говоря, я переживаю за нее. Она совсем перепутала день с ночью. Думаю, что жизнь в одиночестве совсем ей не подходит.

— Анна, — говорит он, — если вам нужно избавиться от крыс, заведите кота. Если хотите, чтобы кто-то приглядывал ночью за ребенком, позовите человека, страдающего бессонницей.



Поэтому Керим предлагает, чтобы они с Густавом упаковали мамины вещи, перевезли ее к нам и оборудовали ей «бабушкину квартирку» в бывшей его комнате рядом с винокурней.

Она по-прежнему продолжает меня поучать и все время перебивает, не давая договорить. Но я пришла к пониманию того, что, когда она требует от меня сказать Би-би-си, чтобы они передавали больше зарубежных новостей, или попросить тех, кто заведует пенсиями, увеличить дотации на отопление зимой, она хочет сказать сама и услышать от меня что-то еще. Что она любит меня, и что я люблю ее.

Думаю, я наконец-таки поняла, что делает тебя матерью. Это не имеет никакого отношения к тому, вырос ли твой ребенок, уехал ли, делит ли он твои гены, ненавидит ли тебя или, может быть, даже не знает твоего имени. Все дело в связи, установившейся с ним.

Я вынуждена любить Фрейю сегодня, потому что завтра у нас с ней может и не быть. Но сейчас, в нашем настоящем, у нас все о'кей. Когда мы лежим с ней здесь — мы вдвоем, и это даже более интимно, чем лежать с любовником.

Итак, кого бы я хотела увидеть на своей кровати ленивым воскресным утром? Моего мужа, конечно, и Фрейю — подростку сейчас, но все такую же приятную, — которая безмятежно лежит между нами и молотит нас обоих своими кулачками. Сверху на нас растянулся наш кот, дымчато-серый и янтарно-глазый Крысобой. Ладно уж, в хороший день мне, пожалуй, нужно еще, чтобы где-то неподалеку была моя мама — не прямо в кровати, но хотя бы просто заглядывающая в дверь нашей спальни и раздающая свои указания.

И еще, подозреваю, даже та странная мышь...

# Примечания и благодарности



Написание этой книги пришлось на время, когда я почти не спала. Это постепенно превратилось в какой-то параллельный мир, в котором я пряталась от реальной жизни, казавшейся порой просто невыносимой.

Никто из описанных здесь персонажей не имеет ни малейшего сходства с кем-то из ныне живущих людей. Однако, поскольку некоторые — очень немногие — элементы этой книги все же базируются на моем личном опыте, вероятно, было бы полезно указать, какие именно.

Медицинские симптомы и прогнозы, появляющиеся в начале повествования и встречающиеся в тексте все время, взяты у моей дочери Аилсы. Она много раз была госпитализирована по разным поводам как в Великобритании, так и во Франции, включая и скорую помощь, хотя все это никогда не было так драматично, как с Фрейей. Стоит ли говорить, что действия моего партнера и мои ни в малейшей степени не напоминали то, что делали Анна и Тобиас, которые очень скоро начали сбивать меня с толку, зажив своей собственной жизнью и ведя себя самым возмутительным образом, какой только можно себе вообразить.

Природный заповедник на территории Верхнего Лангедока во Франции действительно существует, и нам посчастливилось провести там немало времени. Я пыталась правдиво передать дух этого замечательного места, но Ле Ражон, деревня Рьё и река, равно как и центральная больница Монпелье, являются чистым вымыслом.

В отместку за те вольности, которые природа позволяет себе в отношении нас в реальной жизни, я время от времени проделывала то же самое: иногда позволяла растениям плодоносить и цвести несколько раньше или позже нормальных сроков. Моя задача состояла в том, чтобы не допустить чего-то *в принципе невозможного*, хотя те, кто глубоко знаком с садоводством Средиземноморья, могут развлекаться выяснением вопросов типа: «Возможно ли, если горные фиалки еще цветут в конце апреля, инжиру действительно созреть в июне?» Специально для таких экспертов: не забывайте, пожалуйста, что повествование касается местности, расположенной на тридцать миль вглубь материка и на высоте от двухсот до тысячи метров над уровнем моря, и будьте снисходительны!

После всех этих оговорок, пояснений и извинений переходим к благодарностям.

Многие мои великодушные друзья постарались освободить пространство — как буквально, так и метафорически — для моей работы над этой книгой. Я должна горячо поблагодарить Алекса Мак-Гилливри, Лилли Мэтсон, Меган и Альбу за то, что они предоставили мне свой очаровательный дом и за то, что не возражали, когда я дремала у них в гостиной, вместо того чтобы работать. Я также должна передать свою сердечную благодарность Берни Крамеру за то, что появился однажды и тихо построил для меня навес.

Кри Чентофанти без устали оберегал нас от французской бюрократии и периодически заботился о нас: проводил генеральную уборку дома, пропалывал наш сад и готовил обильную еду. Моя сестра Сафия, брат Тахир и многочисленные друзья, которые знают, кем для меня являются, проявляли свою любовь и предлагали практическую помощь лично, через электронную почту и по телефону.

Фредерик Бофюме стал не только оазисом любви и покоя для Аилсы, но также корректором моего французского языка в рукописи, указывая вдобавок еще и на грамматические ошибки в английском.



Чарли Моул своим критическим взглядом просматривал мои дикие измышления относительно жизни композитора-фрилансера, и его понимание вопроса — будем надеяться — помогло сделать работу Тобиаса и зарабатывание им денег более правдоподобным. В этом ему содействовали мои друзья-музыканты Мэтью Прист и Дэн Эдж.

Мой замечательный агент Патрик Уолш и вся его команда заслуживают отдельной благодарности за их самоотдачу, энтузиазм и напряженный труд, не говоря уже о хорошо подготовленных веселых вечеринках.

Моя особая благодарность адресована легендарной Ребекке Картер, ранее работавшей в издательстве «Харвилл Секер», а ныне перебравшейся в «Янклов и Несбит», за то, что поверила в меня, приняла первый черновой вариант, а также за ее блестящие редакторские комментарии, порой напоминавшие «курс молодого бойца» в написании романов.

Спасибо также Лиз Фоли, Мишель Шевит и всем остальным из «Харвилл Секер» за то, что опубликовали эту книгу в Великобритании, а также Эмили Бестлер за то же самое, только в США. Их редакторский вклад помог мне сделать книгу такой, какой она стала.

Все ошибки, противоречия и разный идиотизм, разумеется, мои собственные.

Я надеюсь, что посвящения в начале книги объясняют мои три самых больших долга по жизни.

Первый — это долг перед моей матерью: за счет силы ее неукротимого желания я была более или менее востребована, что помогло пережить различные испытания, которые уготовила мне жизнь. Она не обладает сходством ни с одной из матерей в этой книге, но признаюсь, что иногда я все-таки использовала ее острые словечки.

Второй долг — это долг перед моим партнером, Скоттом, который, не жалуясь, безропотно готовил очень вкусную еду и героически брал на себя уход за ребенком, чтобы дать мне возможность написать про женщину, которая все свое время проводит, готовя на кухне и выполняя тяжелую рутинную до-



машинную работу для своего мужа и ребенка. Его поддержка, любовь и ободрение никогда не иссякали.

Третий, и самый большой долг — это, конечно, долг перед нашей прекрасной дочерью Аилсой, которая является для нас источником радости. Это она позволила мне узнать, что означает быть матерью.

Літературно-художнє видання

ШАХ Сайра

**Мишоловка**

Роман

(російською мовою)

Головний редактор С. С. Скляр

Завідувач редакції К. В. Шаповалова

Відповідальний за випуск О. В. Трефілова

Редактор В. В. Якубова

Художній редактор Н. В. Переходенко

Технічний редактор А. Г. Верьовкін

Коректор Л. Ю. Єрдякова

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»

Св. № ДК65 від 26.05.2000

61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а

E-mail: cop@bookclub.ua

Литературно-художественное издание

ШАХ Сайра  
**Мышеловка**  
Роман

Главный редактор С. С. Скляр  
Заведующий редакцией Е. В. Шаповалова  
Ответственный за выпуск Е. В. Трефилова  
Редактор В. В. Якубова  
Художественный редактор Н. В. Переходенко  
Технический редактор А. Г. Вережкин  
Корректор Л. Ю. Ердякова

**Издательство Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»**  
**www.trade.bookclub.ua**

---

**ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КНИГАМИ ИЗДАТЕЛЬСТВА**

**МОСКВА**

**Бертельсманн Медиа Москау АО**

129110, г. Москва, пр. Мира, 68, стр. 1-А  
тел. +7 (495) 688-52-29  
+7 (495) 984-35-23  
e-mail: office@bmm.ru  
www.bmm.ru

**ХАРЬКОВ**

**ДП с иностранными инвестициями**

**«Книжный Клуб**

**«Клуб Семейного Досуга»»**

61140, г. Харьков-140,  
пр. Гагарина, 20-А  
тел./факс +38 (057) 703-44-57  
e-mail: trade@bookclub.ua  
www.trade.bookclub.ua

**ДОНЕЦК**

**ООО «ПКФ «Универсальный бизнес»»**

83096, г. Донецк, ул. Куйбышева, 131-Г  
Тел.: +38 (062) 345-63-08, +38 (062) 348-37-92, +38 (062) 348-37-86  
e-mail: ksd@kredo.net.ua

**ЗАПОРОЖЬЕ**

**ФЛП Савчук Ю. Д.**

69057, г. Запорожье, ул. Новостроек, 3  
Тел: +38 (050) 347-05-68  
e-mail: vega\_center@i.ua

**Одесское  
подразделение**

65017, г. Одесса, ул. Малиновского, 16-А, комн. 109  
тел. +38 (067) 572-44-28  
e-mail: odessa@bookclub.ua

---

**Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»**

**УКРАИНА**

**служба работы с клиентами:**

тел. +38 (057) 783-88-88  
e-mail: support@bookclub.ua  
Интернет-магазин: www.bookclub.ua  
«Книжный клуб», а/я 84, Харьков, 61001

**РОССИЯ**

**служба работы с клиентами:**

тел. +7 (4722) 78-25-25  
e-mail: order@flc-bookclub.ru  
Интернет-магазин: www.ksdbook.ru  
«Книжный клуб», а/я 4, Белгород, 308961

---

Анна і Тобіас довгі роки планували дитину. І от, коли вони стали батьками, було ухвалено рішення переїхати з дощового Лондона на південь Франції, де вони зможуть виховувати немовля в ідеальних умовах. Але молода родина опиняється в напівзруйнованому, населеному гризунами будинку, і кожна неприємність тягне за собою іншу. Анна має намір повернути своє життя в звичне русло чи бодай вигнати з кухні мишей, що влаштувалися там. Але що більше вона намагається змінити ситуацію, то більше та виходить з-під контролю...

**Шах С.**

ИШ31 Мышеловка / Сайра Шах ; пер. с англ. И. Толока ; предисл. А. Чвиковой. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2013. — 368 с.

ISBN 978-966-14-5989-1 (PDF)

Анна и Тобиас долгие годы планировали ребенка. И вот, став родителями, они приняли решение переехать из дождливого Лондона на юг Франции и воспитывать младенца в идеальных условиях. Но молодая семья оказывается в полуразваленном, населенном гризунами доме, и неприятности следуют одна за другой. Анна намерена вернуть свою жизнь в привычное русло или хотя бы выгнать из кухни обосновавшихся там мышей. Но чем больше она старается изменить ситуацию, тем больше та выходит из-под контроля...

УДК 821.111  
ББК 84.4ВЕЛ